

*НОВЫЙ
Журнал*

92

*THE NEW
REVIEW*

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать седьмой год издания

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, September 1968
Quarterly, No. 92
2700 Broadway, New York, N. Y. 10025
Subscription Price \$10. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
<i>Р. Гуль и В. Тривас</i> — Товарищ Иван, пьеса	5
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	62
<i>Н. Ульянов</i> — Сириус	64
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	90
<i>Г. Газданов</i> — Отрывки из романа	93
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	103
<i>А. Белинков</i> — Печальная и трогательная поэма о взаимоотношениях Скорпиона и Жабы	105
<i>Я. Бергер</i> — Стихи	116
<i>В. В. Розанов</i> — Мимолетное	119
<i>А. Величковский</i> — Стихи	133
<i>И. Чиннов</i> — Смотрите — стихи	135
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	148
<i>Р. Плетнев</i> — О «Мастере и Маргарите»	150
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	161
<i>В. Террас</i> — «Грифельная Ода» О. Мандельштама	163

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Б. Зайцев</i> — Другая Вера	172
<i>Письма К. Федина к Е. Замятину</i> (публик. Г. Ермолаева и А. Шейна)	188
<i>З. Гиппиус</i> — Дневник 1933 г. (публик. Т. Пахмус)	206
<i>Т. Алексинская</i> — 1917-й год	219

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Д. Чижевский</i> — Эвгемеризм в старославянских литературах	254
<i>Г. Вернадский</i> — П. Н. Савицкий	273
<i>Н. Тимашев</i> — Научное наследство П. А. Сорокина	278

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

<i>Г. Газданов</i> — М. М. Тер-Погосьян	283
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>Р. Гуль</i> — И. Одоевцева. На берегах Невы. <i>Р. Гуль</i> — Г. Кузнецова. Грасский Дневник. <i>О. Анстей</i> — Г. Винокур. Маяковский — новатор языка. <i>Г. Адамович</i> — М. Кантор. Стихи. <i>Ю. Иваск</i> — Г. Глинка. В тени. <i>И. Одоевцева</i> . — Ю. Терапиано. Маздеизм. <i>Ю. Иваск</i> — Я. Бергер. Ксантиппа вечности. <i>Ю. Иваск</i> — К. Леонтьев. Моя литературная судь- ба. <i>Ю. Иваск</i> — В. Перелешин. Южный Дом. Книги для отзыва	288
---	-----

**PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET, NEW YORK, N. Y. 10013**

ТОВАРИЩ ИВАН

ПЬЕСА В 3-х АКТАХ И 9-ти КАРТИНАХ

О Т А В Т О Р О В

Фоном этой пьесы взят русский террор начала века. Но это отнюдь не историческая реконструкция событий и лиц. Тема пьесы — психология террора и провокации взята, как таковая, вне «географии» и вне «истории». Эта тема современна и международна.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Иван — начальник Боевой Организации.

Виктор

Вера

Петр

Сергей

Соня

Митя

Евгений

Нил

Глеб

Мария

} боевики

} члены Центрального Комитета

Генерал Козлов — начальник Охранного Отделения

Серов — чиновник Охранного Отделения

Эрнестина — любовница Ивана

Лакеи, жандармы, боевики, цекисты, проститутка,
цыгане, банщики, хозяйка-финка.

А К Т П Е Р В Ы Й

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Гостиная в публичном доме мадам Эрнестины. На стене висит большая копия знаменитой картины Э. Манэ "Олимпия".

Copyright by Roman Goul and Victor Trivas, New York, 1968.

Copyright by The New Review, New York. 1968.

ния", изображающей лежащую голую женщину. В углу стоит скульптура Венеры Милосской, на ней почему-то надета зеленая модная шляпа. Из-за кулис слышна музыка, пианино, играют веселую польку. Смех, голоса, топот ног. Входит слуга, за ним Виктор — молодой человек лет 26-ти, в русской косоворотке, подпоясанный кавказским ремешком, в высоких сапогах.

СЛУГА (оглядывает его пренебрежительно): Обождите здесь! (уходит).

Виктор прислушивается к музыке, осматривается, видит копию "Олимпии". Подходит к картине, разглядывает. Потом садится на диван. Из-за кулисы высовывается молоденькая девушка, полумодетая и сильно накрашенная.

ДЕВУШКА: Госпожа Эрнестина!

Виктор вздрагивает, оборачивается.

ДЕВУШКА (входит): Ах, извиняюсь... Вы что здесь, девушку ждете? Вы бы в зал пошли!

ВИКТОР (растерянно): Да нет... я здесь...

ДЕВУШКА (близко подходя к Виктору): Да что вы такой пугливый?... Вы что, в первый раз здесь?

ВИКТОР: Да... первый раз...

ДЕВУШКА: Это всегда с молодыми людьми так, которые в первый раз... Ты красивенький! (Садится к нему на колени, обнимает за шею). Я тебе нравлюсь?

ВИКТОР (смущенно): Да... только...

ГОЛОС ЭРНЕСТИНЫ (за кулисами): Манька! Да куда ж ты, стерва, провалилась?! Гость зовет!

ДЕВУШКА (испуганно соскакивает с колен Виктора): Вы меня потом у хозяйки спросите... Скажите, что Маню хотите... Маню младшую — у нас здесь две Мани... Хорошо?... (убегает).

Виктор смотрит ей вслед. Потом вынимает лист бумаги. Положив его на стол, начинает что-то писать. Входит Иван. Ему лет 40, полный, бородатый, исключительно уродливый. Уродливость подчеркнута преувеличенной и безвкусной элегантностью: цилиндр, пальто с бархатным воротником, тросточка, сигара в зубах и цветок в петлице. Виктор, не замечая его, продолжает писать.

ИВАН: Вы — Виктор?

Вздрогнув от неожиданности, Виктор встает, бумага соскальзывает на пол. Он смотрит на Ивана с явным изумлением.

Иван сбрасывает пальто, кладет цилиндр и тросточку на стул.

ВИКТОР: Вы... вы — товарищ Иван?

ИВАН: Вы не ошиблись, — товарищ Иван! Да что вы смотрите на меня, как на пугало? *(Садится на диван).*

ВИКТОР *(смутившись)*: Да нет... Я просто ожидал... То есть не ожидал...

ИВАН *(усмехаясь)*: Вы думали, что глава Боевой Организации появится перед вами в плаще и широкополой шляпе? С бомбой под мышкой, с кинжалом в руке? Нет, мой друг! Для террориста первое дело — это выглядеть совершенно иначе, чем его представляют себе дураки. Вот вы, например, в вашей косоворотке а-ля Максим Горький... сразу же видно, что вы — революционер! *(Зовет) Семен!*

Входит слуга.

ИВАН *(слуге)*: Принеси коньяку... и две рюмки. И скажи Эрнестине Густавовне... или нет, не надо. Просто принеси коньяку.

Слуга уходит.

ИВАН *(Виктору)*: Садитесь. *(Видит бумагу на полу).* Что это вы здесь писали?

ВИКТОР *(смутившись, поднимает бумагу)*: Да так просто...

ИВАН: Держу пари, что стихи! Да? У вас вид такой... поэтический!

ВИКТОР *(со смущенной улыбкой)*: Записал... что пришло в голову, когда шел сюда.

ИВАН *(смеется)*: Поэт! А еще в террор хотите... Вы ведь в террор хотите?

ВИКТОР *(твердо)*: Да, хочу в террор!

ИВАН: Почему же именно в террор? В партии много и другой работы.

ВИКТОР: Потому, что террор мне психологически ближе.

ИВАН *(с иронией)*: Пси-хо-ло-ги-че-ски!? А вы знаете, что за эту психологию надо быть готовым к веревочке? *(Проводит рукой по шее).*

ВИКТОР *(твердо)*: Знаю. Но я — революционер, и я убежден, что единственный способ сломить самодержавие это — террор!

Входит слуга с бутылкой коньяка и рюмками. Ставит все на стол перед ними. Уходит.

ИВАН (*наливает коньяк в обе рюмки*): Вы в этом твердо убеждены? (*Отпивает*).

Из-за кулисы вбегает Маня. Видит Ивана и в испуге замирает.

МАНЯ (*Ивану*): Извиняюсь... я не знала, что вы здесь...

ИВАН (*передразнивает*): Ты не знала, что я здесь! А ты знала, что он здесь? Наметила себе лакомый кусочек? (*Шутливо пугает ее*). Кшш...

Девушка убегает. Иван смотрит на Виктора, отпивая коньяк.

Пауза.

ИВАН: Какая ваша профессия?

ВИКТОР: Я окончил юридический. Поступил к адвокату. Но понял, что всякая мирная жизнь не для меня, и я решил уйти в революцию.

ИВАН (*после паузы*): Понимаю. Я в свое время окончил медицинский. Стал даже практиковать... (*смеется*) ухо, горло и нос... А потом бросил все... и тоже ушел в революцию... (*Пауза*). Вас товарищ Евгений из Центрального Комитета рекомендовал. Вы его давно знаете?

ВИКТОР: Товарищ Евгений — друг моего отца.

ИВАН: А кто ваш отец?

ВИКТОР: Священник.

ИВАН: Священник? Странно. (*Пристально смотрит на Виктора*). Впрочем, духовное сословие всегда поставляло достаточное количество революционеров. (*Пьет. Пауза*) А в Бога вы верите?

ВИКТОР: Не понимаю, какое это может иметь отношение к нашему делу?

ИВАН: Как, какое? А шестая заповедь? “Не убий!” Забыли?

ВИКТОР: По-моему, эта заповедь неприменима к борьбе с тиранией.

ИВАН: Ах, так? Ну, это несколько субъективное толкование. Но меня оно устраивает. (*Пауза*) А вы когда-нибудь кого-нибудь убивали?

ТОВАРИЩ ИВАН

ВИКТОР (*вспыхнув*): Что это за разговор? За кого вы меня принимаете?

ИВАН: Так откуда же вы знаете, что вы сможете убить?

ВИКТОР: Солдат на войне тоже никого никогда раньше не убивал! Мы — в состоянии войны с самодержавием, с политической тиранией, с насилием над человеком...

ИВАН (*морщась, перебивает*): Да вы не горячитесь! Мы же не на студенческой сходке. (*Отпивает коньяк*) Стало быть, вы отдаете себе ясный отчет в том, что, входя в Боевую Организацию, вы идете на убийство того, кого вам укажут, и сами тоже, так сказать, вкладываете голову в петлю? (*Усмехаясь, испытующе смотрит на Виктора*) Ведь висеть на виселице — тоже небольшое удовольствие!

ВИКТОР: Я все это знаю. Для меня террор — это святое дело, пусть я погибну, за мной придут другие. И под нашими ударами самодержавие, я верю, будет сломлено, и русский народ освободится от рабства!

ИВАН (*иронически*): “Друг Аркадий, не говори так красиво!” А ведь некоторые думают, что террор — это просто синдикат убийц?

ВИКТОР (*вспыхнув*): Я не люблю, когда надо мной иронизируют! (*Резко встает*).

ИВАН (*повелительно*): Садитесь!

После некоторого колебания Виктор садится.

ИВАН: Вы не понимаете шуток и не умеете себя сдерживать! Слишком горячи... Это для террориста плохо. (*Встает, прохаживается по комнате. Останавливается перед Виктором, говорит веско, повелительно*). Боюсь, что террор, который я веду, не соответствует вашей романтической фантазии. Это — не террор каких-то там индивидуальных героев-одиночек. Эти времена прошли. Теперь между нами и самодержавием война не на жизнь, а на смерть! Мы убиваем, и нас убивают. И в этой войне я требую от подчиненных мне боевиков абсолютного повиновения, железной дисциплины, полного отказа от личной жизни и готовности идти на смерть в любую минуту. Никаких этих сентиментов и стишков у террористов нет! Боевая Организация — это как военная организация. В ней есть солдаты, и есть начальники. И у солдата не может быть ни своих мнений, ни своих чувств. Боевики — это солдаты революции... Они только выполняют приказ партии, т.-е.

мой приказ, потому что Центральный Комитет поставил меня во главе террора... Поняли? Подумайте об этом хорошенько.

Пауза. Иван отходит, останавливается перед картиной Манэ, рассматривает ее, потом обращается к Виктору.

ИВАН: Вы по-английски говорите?

ВИКТОР: Немного... всего несколько слов.

ИВАН: Ничего, сойдет... Вы по типу слегка напоминаете англосакса. При случае можете сойти за коммерсанта, за представителя какой-нибудь английской фирмы. Это мне может пригодиться. Только для этого надо, конечно, соответственно одеться. Ну, денег-то у вас, конечно, нет?

ВИКТОР (*отрицательно качает головой*): Нет. Да они мне и не нужны.

ИВАН: Деньги в нашем деле всегда и очень нужны — поверьте моему опыту! (*Достает из бокового кармана толстую пачку кредиток, передает их Виктору*). Выправьте себе загранпаспорт и поезжайте в Берлин. Встреча на Унтер-ден-Линден, в кафе Бауэр, через две недели, в среду, в 3 часа дня. Запомните. А теперь идите. У меня здесь еще одна явка.

Протягивает руку, Виктор горячо жмет руку Ивана. Идет к выходу, останавливается, колеблется, потом поворачивается к Ивану.

ВИКТОР: Товарищ Иван...

ИВАН: Да?

ВИКТОР: Могу я вам задать один вопрос?

ИВАН (*усмехаясь*): Почему я вам дал явку в публичном доме?

ВИКТОР (*смушенно*): Да...

ИВАН: Потому что этого требует наша конспирация. Полиция у мадам Эрнестины на жалованьи. И никогда сюда не заглядывает — разве, чтоб позабавиться! Ясно?

ВИКТОР: Понимаю... Прощайте...

Быстро уходит. Иван, улыбаясь, смотрит ему вслед, затем вынимает из жилетного кармана гребень, расчесывает перед зеркалом бороду. Прошаживает, напевает: "Мы домчимся в край чудесный — к неизвестной красоте". Появляется мадам Эрнестина, красивая, полнотрудая немка, затянутая в корсет. Типичная содержательница публичного дома.

ИВАН (*к ней навстречу*): Mein Liebchen!

Обнимаются, целуются. Садятся на диван.

ЭРНЕСТИНА (*кокетливо*): Ты меня совсем разлюбил, пуши-муши! Vier Wochen — от тебя ни слова!

ИВАН (*целует ее в засос*): Как ты можешь говорить такую чепуху? Я только о тебе и думал! Смотри, что я тебе привез.

Вынимает из кармана коробочку и передает ей. Эрнестина открывает коробочку.

ЭРНЕСТИНА (*восторженно*): Gott im Himmel! Какая прелесть! (*хочет приколоть большую бриллиантовую брошь*).

ИВАН: Нет, нет, дай я сам...

Прикалывает брошку ей на грудь и одновременно ласкает ее. Эрнестина смеется. Иван пытается оторвать ее от дивана довольно решительно. Эрнестина освобождается из его объятий.

ЭРНЕСТИНА (*разыгрывая возмущение*): Сумасшедший! Ты мне испортишь всю прическу! Не можешь подождать einige Minuten?!

ИВАН: Я ждал тебя целый месяц! (*Встает с дивана*) Хорошо, хорошо... не сердись! Ну, как у тебя здесь, все в порядке?

ЭРНЕСТИНА: С этими девками сладу нет. Я с ними не могу справиться! Никакого благородства! Ты знаешь, что я решила?

ИВАН: Что?

ЭРНЕСТИНА: Продать все дело, переехать в Берлин и открыть там пансион для благородных девиц.

Иван грозко хохочет.

ЭРНЕСТИНА: Was ist los? Почему ты хохочешь?

ИВАН: Потому что твоя наивность умилительна!

ЭРНЕСТИНА: Warum... наивность?

ИВАН: Darum, что сегодняшние благородные девицы ведут себя хуже, чем твои девицы! Ха-ха-ха!

Обрывает смех, когда видит, что Эрнестина обижена. Садится с ней на диван, обнимает ее.

ИВАН: Ну, не обижайся, mein Liebchen! Тебе нечего открывать пансион. Продай это дело и переезжай себе в Берлин. А я уж позабочусь о тебе. У меня сейчас на виду большое дело, я могу хорошо заработать! Если выйдет, ты получишь горностаевую шубку. Довольна?

Начинает ее целовать. Эрнестина отвечает ему поцелуями.

Т е м н о т а

СЦЕНА ВТОРАЯ

Комната революционеров в Женеве. Товарищ Евгений сидит в медицинском кресле на колесиках. Это — старый, больной человек, типичный интеллигент. Делает какие-то поправки в манускрипте. На первом плане, в стороне — товарищи Нил и Глеб. Нил — полный, jovialный мужчина, лет 45, с огромной шевелюрой. Глеб — лет 50, лысый, с нависшими усами, в очках. Они играют в шахматы. Евгений диктует. Маша — пожилая женщина, с коротко остриженными волосами, — записывает.

ЕВГЕНИЙ: Центральный Комитет нашей партии...

Евгений внезапно стонет, хватаясь за живот. Манускрипт падает на пол. Нил и Глеб бросаются к Евгению.

НИЛ: Что, Евгений? Тебе плохо?

Маша наливает воду в стакан, подает Евгению, но тот отстраняет ее руку.

ЕВГЕНИЙ: Опять нестерпимая боль в желудке! Я не должен был есть вчера эту проклятую утку!

МАША: Ну, разве же я тебе не говорила вчера — не ешь утку, не для тебя это! Тебе доктор что говорил? Ничего жирного!

ЕВГЕНИЙ (*перебивая*): Доктор... доктор... Дай мне лучше капли. (*Слабо стонет*).

МАША (*доставая капли*): Да потерпи же ты... не стони... сейчас накапаю. Ах, какой ты нетерпеливый! (*Шутя*) А еще председатель Центрального Комитета... заслуженный революционер!

НИЛ: Ну, знаешь, Маша, когда живот схватит — тут уж не до революции! (*Хочет громко, деревянно, на всю комнату*).

ГЛЕБ: Я знаю здесь в Женеве одного гомеопата — он просто чудеса делает! Почему бы тебе, Евгений, не обратиться к нему?

НИЛ: Ты бы еще гадалку порекомендовал!

ГЛЕБ: Гомеопатия — это наука!

НИЛ: Наука для старух и дев... Может, твой гомеопат поможет тебе отрастить волосы, чтобы закрыть твою лысину? (*Опять хохочет*).

ГЛЕБ: Знаешь, Нил, поговорку: волос долот, да ум короток!

МАША: Да что вы вечно пикируетесь? Товарищи цекисты... постыдились бы! Ну, прямо как школьники...

ЕВГЕНИЙ: Правда. Перестаньте, товарищи! Маша, садись, я дальше диктовать буду.

Маша садится с ним рядом, берет блокнот. Нил и Глеб возвращаются к шахматной доске.

ЕВГЕНИЙ (диктует):

“...Центральный Комитет нашей партии подчеркивает со всей ясностью, что в борьбе с тиранией он будет проводить все виды террора: террор эксцитативный, террор дезорганизующий и террор агитационный...”

НИЛ: Вот это здорово! Что ты морщишься, Глеб? Знаю, знаю, что тебе, “непротивленцу”, это не по вкусу!

ГЛЕБ: При чем тут “непротивленцу”? Я, слава Богу, двадцать пять лет борюсь с самодержавием! Но я никогда не скрывал своего отрицательного отношения к политике террора. Революция не делается убийствами губернаторов и министров... По-моему, это политика ненужных убийств... Она разлагает, прежде всего, самих террористов, разлагает нашу партию, разлагает все общество... И я считаю ее вредной.

ЕВГЕНИЙ: Самодержавие вешает наших товарищей, революционеров. Что же *это*, по-твоему, не убийства?

ГЛЕБ: Я понимаю, Евгений, ты хочешь — око за око, зуб за зуб? А я думаю, что на такой крови ничего хорошего не построишь!

ЕВГЕНИЙ: Революцию, Глеб, в белых перчатках не делают!

НИЛ: Значит, что же? По-твоему выходит, что мы — просто убийцы, что ли? (*Хочет опять на всю комнату*).

ГЛЕБ: Не говори глупостей, Нил. Я вовсе не “непротивленец”, как ты меня изволишь величать. Но террор я не признаю, даже индивидуальный террор. Мы знаем примеры: Равальяк убивает Генриха 4-го. Ну, и что? Изменилось что-нибудь после этого во Франции? Ничего. И наш Дмитрий Каракозов с револьвером вышел на царя, стрелял, его схватили и повесили. Пропала ценная молодая жизнь...

ЕВГЕНИЙ (*перебивает раздраженно*): Ну да, Каракозова схватили и повесили! А вот после него на царя создался заговор уже не одиночки, а организации — пусть небольшой — и они убили Александра Второго.

ГЛЕБ: Как раз перед введением конституции, добавим...

НИЛ: Так что ж ты — за конституцию, что ль, иль за революцию? Насколько мне известно, наша партия стоит за насильственное свержение самодержавия! И — кто знает, может быть, после революции мы и поставим где-нибудь там в Москве мадам Гильотину...

ГЛЕБ: На Гревской площади...

НИЛ: Зачем на Гревской? В Москве своих площадей достаточно... Места найдутся...

ГЛЕБ: Только помни, Нил, что эта самая мадам Гильотина укорачивала на одну голову не только французских аристократов, но и Дантона, и Робеспьера, и сотни якобинцев.

НИЛ: А такой ошибочки мы уж, конечно, постараемся избежать. Это я тебе обещаю! (*Хочет*).

ГЛЕБ: Нет, Нил, ты меня не переубедишь. Я подчиняюсь большинству Центрального Комитета, но так называемый организованный террор считаю болезнью нашей партии. И вредной болезнью!

ЕВГЕНИЙ (*раздраженно, отрываясь от манускрипта*): Товарищи! Если вы хотите продолжать этот бессмысленный спор, идите, пожалуйста, в кафе. Вы мешаете мне писать передовую!

НИЛ: Хорошо, хорошо, Евгений, не кипятись. Твой ход, Глеб. Что ты ждешь?

ГЛЕБ: Ты меня не торопи! Я люблю все делать обдуманно. (*Думает, затем делает ход*).

НИЛ (*быстро*): Гардэ твоей королеве!

ГЛЕБ (*спокойно*): Мат!

НИЛ (*растерянно смотрит на доску*): Как это так? Я просто не заметил твою пешку... Дай мне ход обратно!

Входит Иван. Он в темных очках, в мягкой шляпе, с растрепанной бородой.

ИВАН: Не давай ему хода, Глеб! Пусть Нил научится раньше думать, чем действовать! (*Хочет*).

НИЛ (*встает, обнимает Ивана*): Здравствуй, дядя Ваня! Ты когда приехал?

ИВАН: Да только что. Здравствуй, Евгений, ну, как здоровье?

ЕВГЕНИЙ: Да ничего... слегка мучаюсь.

МАША: Не хочет пойти к хорошему доктору, вот и все!

ИВАН: А ты плюнь на докторов, Женья, и ешь, что тебе по вкусу. Бери с меня пример! (*Смеется*).

ЕВГЕНИЙ: Тебе хорошо смеяться — здоров, как бык! Ты откуда теперь?

ИВАН: Лучше не спрашивай! За три месяца я нигде не останавливался дольше, чем на два дня!

ЕВГЕНИЙ: Как идет подготовка в Петербурге?

ИВАН: Все в порядке. Боевая группа организована. Слежка выясняет маршрут выездов министра.

НИЛ: Так что ты оптимист?

ИВАН: Министр будет наш.

НИЛ: Bravo! (*Громко хохочет*).

ГЛЕБ: Вы, товарищ Иван, были так же оптимистичны, когда ставили покушение на одесского губернатора. А в результате — губернатор остался жив, семь боевиков погибли на виселице, и десятки людей пошли в Сибирь! (*Пауза*).

ИВАН: Что вы хотите этим сказать?

ГЛЕБ: То, что вредно быть слишком оптимистичным! Среди ваших боевиков всегда могут быть провокаторы.

ИВАН: Конечно, могут быть. Каждому в душу не влезешь. На войне, как на войне!

ГЛЕБ: Я думаю, что при наборе боевиков надо тщательнее проверять их надежность.

ИВАН: Я доверяю своему чутью больше, чем вашим полицейским обследованиям!

НИЛ (*хохочет*): Вот здорово отбрил, Иван!

ГЛЕБ: То, что вы так презрительно называете моими “полицейскими обследованиями”, товарищ Иван, это — дело не менее важное, чем ваш террор. С той только разницей, что мое дело — спасать товарищей от виселицы, а ваше...

ИВАН (*перебивая его*): ...подталкивать их на виселицу? Так что ли вы хотите сказать?

ЕВГЕНИЙ: Товарищи, товарищи, ну к чему эти колкости? Мы все объединены одним делом...

ИВАН (*перебивая его*): Нет, ты уж прости меня, Женья, я хочу Глебу ответить! Я не подталкиваю боевиков на виселицу, товарищ Глеб, — я их веду на террор, и сам подвергаюсь такой же опасности, как и они! А, может быть, даже и большей... И это совсем не похоже на занятия некоторых других членов ЦК, которые сидят в Женеве и пишут историю партии!

ГЛЕБ: Каждому свое. Я никогда не был героем. Только вы, товарищ Иван, ошибаетесь в одном: я не только пишу историю партии, но и разоблачаю иногда провокаторов. Вы, верно, забыли об Ильине, в которого вы верили как в самого себя?

ИВАН (*пожимая плечами*): Повторяю, что провокаторы всегда были и всегда будут. Войны без шпионов не бывает.

ГЛЕБ: Но их нужно разоблачать, этих ваших шпионов.

ИВАН (*равнодушно*): Конечно. Разоблачайте — это ваше дело. Мое дело исполнять постановления ЦК и ставить террористические акты, а ваше — разоблачать предателей. (*Усмехаясь*) Так сказать, разделение труда — верный принцип достижений!

ЕВГЕНИЙ: Товарищ Иван прав. Его работа — боевая! Он не ответствен за единичные провалы. Кстати, Иван, помнишь в прошлом году я как-то просил тебя повидать сына моего друга — молодого человека, который хотел войти в Боевую?

ИВАН: Как же, как же! Виктор? Да, я его давно взял, забывал только тебе сказать об этом. Исключительно способный малый! Несколько эмоциональный и, как вся молодежь, чересчур идеалист. Но это — настоящий боевик, по призванию. Он уже участвовал в двух актах. И успешно. Сейчас он в боевой группе, готовящей акт на министра внутренних дел. (*Улыбается*) Ты б его и не узнал — как он разыгрывает роль богатого англичанина!

Т е м н о т а

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Конспиративная квартира террористов в Петербурге. Роскошная гостиная. Дорогая мебель, диван, стол, кресла, зеркала, ковры. В глубине большое окно. В углу — рояль. За роялем Вера в нарядном, элегантном платье. Аккомпанирует и поет сантиментальный романс: — “Забыты нежные лобзания...” Вера — молодая девушка с мечтательными глазами. Входит Виктор, спортивно, по-английски одетый, с трубкой во рту. Вера прерывает пенье, встает навстречу Виктору.

ВЕРА: Ну, как, Виктор, все в порядке?

ВИКТОР (*улыбаясь*): “Инспекционная поездка” мистера Мак Кинли, как всегда, прошла прекрасно. Все в полном порядке.

БЕРА: Ты всех видел?

ВИКТОР: Всех. И Семена, и Фрола, и Марка. Лучше всех, пожалуй, Семен. Он дает самые точные сведения о маршруте министра. Редкий день не видит кареты (*раскуривает трубку, затягивается*). Какой это революционер! И как он преобразился в уличного торговца — кричит, продает, как заправский лотошник — никакие филеры его не узнают...

Входят Мария, она одета как прислуга, кухарка, и Петр, одетый как лакей, в фартуке.

ПЕТР: Ну, как, Виктор?

ВИКТОР: Да вот рассказываю Вере, что все в порядке.

БЕРА: А что же Семен говорит?

ВИКТОР: Торопит, конечно. Говорит, что карета министра стала его психозом. В его описании она превращается в какую-то поэму. Он точно знает, что у кучера рыжая борода, вожжи белые, рядом с кучером всегда лакей, широкие подножки, стекла ярко начищены... Знает весь маршрут до самого дворца...

МАРИЯ (*перебивает*): А как Марк?

ВИКТОР: И Марк, как извозчик, дает ценные сведения. Только он чересчур уж рискует — иногда становится у самого министерства...

ПЕТР: Молодец, Марк.

ВИКТОР: Я сказал ему, что это совершенно ненужный риск.

БЕРА: Господи, но что же это такое? Чего мы ждем? Ведь все же готово — мы можем хоть сегодня метать.

МАРИЯ: А снаряды готовы?

ВИКТОР: Готовы — четыре. Один у Семена, другой у Фрола. А два сегодня с черного хода Марк привезет сюда. Вы его, Петр, встретьте, он скоро привезет...

ПЕТР: Ладно, встречу. Ну, я пошел по своим (*улыбаясь*) лакейским делам, сегодня надо лестницу мыть. (*Уходит*).

МАРИЯ: Да и я пошла в кухню. (*Вере и Виктору*) Вы наконец уж проголодались, скоро будем обедать. (*Уходит*).

Вера и Виктор одни. Виктор подходит к Вере. Обнимает ее.

ВИКТОР: Какая ты сегодня красавица....

БЕРА (*с тоской*): Если б ты знал, как мне надоело разыгрывать эту роль барыни, носить на себе все эти дорогие тряпки, брошки, кольца...

Садятся на диван.

ВИКТОР: А что ж ты думаешь, что я переродился в этого богатого мистера Мак Кинли? Ты думаешь мне не надоел весь этот маскарад? Ведь я креплюсь из последних сил... у меня все время какая-то чертова бессонница. Я думаю только о нем — о министре — и день и ночь. Сажу на его приемы, гуляю с ним в парке, завтракаю во дворце, еду в карете по Петербургу... А если засыпаю, то все какие-то кошмары...

ВЕРА (*участливо, нежно*): Бедный ты мой, как ты измучился! Вот ты и эту ночь во сне вскрикивал, метался, скрипел зубами...

ВИКТОР: Да, что-то снилось, уж не помню... И знаешь, все какие-то несурезицы снятся... Я заметил, это у меня всегда... когда появляются сомнения...

ВЕРА: Какие сомнения?

ВИКТОР: В терроре... Вот на-днях мне приснилось, что сижу я в какой-то грязной пивной и вижу — за соседним столом сидит человек. И лицо его мне, будто, очень знакомо... Но он все время от меня отворачивается... Наконец, вдруг он поворачивается ко мне и смотрит мне прямо в глаза... И я его узнаю... Сразу узнал...

ВЕРА: Кто ж это?

ВИКТОР: Раскольников!

ВЕРА: Ааа... Это наверное потому, что мы — помнишь? — вечером как-то говорили о Достоевском, о "Преступлении и наказании"?

ВИКТОР: Может быть. И он на меня смотрит... какими-то странными глазами... и что-то говорит, только я ничего не понимаю, не слышу... вижу только — у него губы шевелятся. И вдруг я все понял!

ВЕРА: Что понял?

ВИКТОР: Он говорит: все позволено... все позволено... Я закричал... Что позволено? Убить человека позволено? И вдруг я понял... именно понял, что это — не Раскольников, и не пивная... а я сам... в зеркале!

ВЕРА: Виктор, милый! Ты не должен себя так мучить...

ВИКТОР: Знаешь... когда мы ставили первый акт — на уфимского губернатора, Иван назначил меня вторым метальщиком... Я должен был бросить бомбу только, если бы Николай промахнулся. И вот я стоял в двадцати шагах от него и молился Богу... именно молился... словами, про себя молился... Господи, не дай

Николаю бросить бомбу... дай мне... И мне тогда казалось, что это было бы для меня самое высшее счастье... если бы мне удалось убить губернатора... И вдруг я увидел, как Николай поднял бомбу, размахнулся — и все взорвалось... Взрывом меня опрокинуло на землю... Я лежал, точно парализованный... Слышал вокруг какие-то страшные крики... а когда дым рассеялся, я увидел трупы... раненых... убитую женщину с ребенком... кучера... Еще трех... каких-то незнакомых людей... один с бородой... Я не помню, как я ушел оттуда — я шел, как слепой... ничего не понимая... Шел и только думал: теперь я должен убить себя... убить, чтобы искупить грех...

ВЕРА (*со слезами*): Бедный ты мой, Виктор...

ВИКТОР: Раскольников говорил, что убить старуху-процентщицу — не грех. И в этом, в сущности, и есть у него оправдание всякого убийства.

Виктор встает с дивана. Встает и Вера.

ВЕРА (*кладет Виктору руки на плечи, умоляюще*): Милый... Виктор... перестань! Ты же ведь никого не убил!

ВИКТОР (*со странной улыбкой*): Вера, ты говоришь со мной как с ребенком. Ну, какая же разница — подготавливаю ли я акт или бросаю бомбу? Ведь гораздо даже честнее метать бомбу, рискуя жизнью, чем жить здесь, в безопасности, как мы...

ВЕРА: В какой же ты безопасности? Мы ведь тоже рискуем жизнью каждую минуту...

ВИКТОР: Но это все-таки не то же самое. Ты же знаешь! Я упрашивал Ивана назначить меня метальщиком. Я хотел привязать бомбу к себе и броситься с ней под карету министра. И тогда — верная смерть, и я бы искупил убийство...

ВЕРА: Искупают *грех*, Виктор. А убийство таких извергов, как этот министр, это вовсе не грех!

ВИКТОР (*перебивая*): Я все это знаю, знаю... И сам себя тоже в этом убеждаю. А вот все-таки...

ВЕРА: Ну, что — все-таки?

ВИКТОР: Ведь так можно оправдать *всякое убийство*, Вера. Понимаешь — *любое убийство*!

Из соседней комнаты входит "лакей" Петр, несет бомбы в виде двух конфетных коробок.

ПЕТР (*улыбаясь, похлывая рукой по коробкам*): Вот оно, пришло угощенье для господина министра... Только зарядить

и... со святыми упокой, господин министр... Ты о чем тут, Виктор, разводишь? Можно ли “оправдать” убийство?

ВИКТОР: Я о том, что... какое убийство дозволено, а какое не дозволено...

ПЕТР: Ну, пошла писать губерния! Поехала твоя “философия”!... А, по-моему, все это очень просто: бывают убийства справедливые и несправедливые... вот и все... очень просто!

ВИКТОР: Просто? Какие же, по-твоему, Петр, убийства справедливые? И справедливые для кого?

ПЕТР: Те убийства, которые в результате приносят человечеству пользу, — справедливые! А справедливые для кого? Для партии, для революции, для народа!

Вбегают Мария.

МАРИЯ: Кто-то поднимается по лестнице! Петр, прячьте бомбы!

Все быстро приводят комнату в порядок, прячут бомбы, расставляют мебель. Вера садится за рояль, играет. Виктор, куря трубку, садится в кресло с газетой в руках. Мария быстро уходит. Звонок — два раза, потом еще один раз.

ПЕТР: Кто-то из наших.

Идет в переднюю. Виктор вынимает из кармана револьвер, осматривает его и прячет опять в карман. Голоса. Потом входит Глеб, в пальто, в шляпе, с чемоданом. За ним — Петр и Мария. Виктор встает им навстречу. Вера тоже идет им навстречу.

ВИКТОР: В чем дело? Кто это?

МАРИЯ: Это — товарищ Глеб, из Женевы. Член ЦК.

ГЛЕБ: Здравствуйте, товарищи. Товарищ Иван тут?

ВИКТОР: Нет.

ГЛЕБ (*оглядывает комнату с интересом*): Это вы здесь... с бомбами?

ВИКТОР: Да. Здесь.

ГЛЕБ (*качает головой*): И вы все так спокойны?

ВИКТОР: Спокойны. Привыкли.

ГЛЕБ: И не боитесь?

ВЕРА (*улыбаясь*): Конечно, боимся, товарищ Глеб!

МАРИЯ (*перебивает*): Товарищ Глеб, вы, должно быть, с дороги устали? Пойдемте, помойтесь. Я вас на кухне покормлю.

ВИКТОР: Простите, товарищ Глеб, но как вы узнали адрес нашей квартиры? И условный звонок?

ГЛЕБ: Это вы — молодец, что спрашиваете! Я узнал все это от адвоката Берга. Он меня свел с членом вашей группы — Марком.

ВИКТОР: Тогда все в порядке. *(Жмет Глебу руку)* Я — Виктор.

ГЛЕБ: Ааа... Я о вас в Женеве от Ивана слышал. Он вас очень хвалил. *(Озабоченно)* Кстати, где же Иван? Он мне очень нужен.

ВИКТОР: Он может быть здесь каждую минуту.

ГЛЕБ: Я могу его здесь подождать?

ВИКТОР: Если не боитесь, что полиция может нагряться, то милости просим! Мы — хозяева радушные *(смеясь)*... и богатые.

ГЛЕБ: Ну, если вы не боитесь, то и я не боюсь!

МАРИЯ: Идемте, идемте, товарищ Глеб, потом успеете поговорить!

Глеб и Мария уходят.

ВЕРА: Какой он симпатичный, этот товарищ Глеб!

ПЕТР *(пренебрежительно)*: Я слышал, что он — единственный в ЦК против террора! Интеллигент-белоручка... постепеновщина.... философия малых дел... и прочее.

Вера подходит к окну, открывает его.

ВЕРА *(внезапно)*: Товарищи, Иван приехал! Смотрите, вон, на углу — расплачивается с извозчиком...

ВИКТОР *(быстро подходит к окну)*: Да, он!

Петр бросается бегом в переднюю.

ВИКТОР: Как я рад, что он приехал! С Иваном я чувствую себя совсем по-другому. Его присутствие всегда вселяет в меня какое-то спокойствие и полную уверенность в нашем деле.

ВЕРА *(радостно)*: Да, и у меня такое же чувство...

Входит Иван, за ним Петр.

ИВАН *(Виктору, не здороваясь)*: Это у вас называется конспирация? Вы что, всех так впускаете без условного звонка?

ПЕТР: Да Вера же вас увидела еще на улице.

ИВАН: А может быть, это был кто-нибудь другой, похожий на меня? Виктор, ты здесь за все ответствен! Я тебя назначил!

ВИКТОР: Да честное же слово, Иван, мы вместе с Верой тебя увидели!

ИВАН *(рассерженно)*: Это... это чорт знает, что такое! Полное легкомыслие и безобразие... Никакой осторожности!... Ин-

теллигентщина! Так в терроре не работают!... (*Виктору*) Как у вас обстоит дело?

ВИКТОР: Все в порядке. Маршрут кареты установлен. Снаряды готовы. Пункты для метальщиков выбраны. Сквозь четырех метальщиков он не прорвется...

ВЕРА: Товарищ Иван, здесь вас ждет товарищ Глеб из Желанов.

ИВАН (*пораженно*): Где здесь?

ВИКТОР: У нас... здесь, в квартире.

ИВАН: Как он сюда попал? Откуда он узнал адрес?

ВИКТОР: Через адвоката Берга, он связал его с Марком.

ВЕРА: Я его сейчас позову (*уходит*).

Пауза.

ИВАН: Он не сказал, что ему нужно?

ВИКТОР: Он хочет тебя видеть.

Входит Глеб, за ним Вера и Мария.

ГЛЕБ: Здравствуйте, товарищ Иван.

ИВАН (*недовольно и настороженно смотрит на Глеба*):
Здравствуйте.

ВЕРА: Может быть, мы мешаем?

ГЛЕБ: Нет, нет. Это касается всех вас, товарищи.

ИВАН: В чем дело?

ГЛЕБ: Полиция узнала, что готовится покушение на министра. (*Пауза*) Больше того, она знает, что покушение назначено на будущую пятницу...

Молчанье.

ИВАН: Откуда вы это знаете?

ГЛЕБ: ЦК получил письмо...

ИВАН: От кого?

ГЛЕБ: Письмо подписано "Доброжелатель". ЦК постановил, чтоб вы немедленно сняли всех товарищей, ликвидировали квартиру и разъехались...

ПЕТР (*возмущенно*): Но это же бессмыслица! Мы совершенно готовы, мы можем его убить хоть сейчас! (*Смотрит на часы*) Мы еще успеем сегодня...

МАРИЯ: Ты с ума сошел, Петр! Ты представляешь себе, как он теперь охраняется?...

ВЕРА: Но откуда же полиция могла узнать?

ГЛЕБ: Ясно, что есть провокатор...

ИВАН (*пристально глядя на Глеба*): У вас есть какие-нибудь подозрения?

ГЛЕБ: Пока нет. Но автор письма обещает сообщать и дальше... А вы сами, товарищ Иван, никого не подозреваете?

ИВАН (*колеблется*): Ннет... Я не знаю... Честно ли будет с моей стороны сейчас высказывать какие-нибудь подозрения и называть человека... Ведь прямых улик у меня пока нет.

ГЛЕБ: Кто же это?

ИВАН (*после короткой паузы*): Макаров.

Тяжелое молчанье.

ГЛЕБ: На чем основаны ваши подозрения?

ИВАН: Макаров начал издавать в Одессе журнал. На какие средства? ЦК ему никаких денег не давал. Да к тому же, он ничего о журнале в ЦК не сообщил.

ГЛЕБ: Ну, деньги он мог получить и из частных источников. Но, конечно, все это надо проверить.

ИВАН: А знаете ли вы, что он был в Кременчуге за день до ареста Тихомирова и его группы?

ГЛЕБ: Макаров? В Кременчуге? Я точно помню, что через несколько дней после ареста этой группы он приехал в Женеву и рассказывал, что две недели провалялся с температурой у матери в Варшаве.

Иван делает неопределенный жест, как бы говоря: я этому не верю. Все начинают сразу говорить.

ВЕРА: Какой ужас! Только подумать, что мы жали ему руку!

ВИКТОР: Но Макаров — старый революционер! Как он мог упасть до такой низости?

МАРИЯ: Иуда!

ВИКТОР: Кстати, Мария, — Иуда не был вульгарным предателем: он швырнул эти тридцать серебрянников в лицо судьям, когда они осудили Христа!

В то время, как Виктор говорит, Петр незаметно берет коробку конфет-бомбу, прячет ее под фартук и выходит из комнаты.

ВИКТОР (*продолжает*): ...Да Иуда и предал-то Христа после того, как Христос сказал: "Пойди и сделай то, что ты должен сделать!" А Макаров со своим журналом? Его нужно раздавить, как подлую гадину!

ИВАН: Не горячись, Виктор! Макаров будет убит. И я убью его сам!

ГЛЕБ (*взволнованно*): Одну минуту, товарищи, одну минуту! Нельзя же убивать человека, не имея явных улик и фактических доказательств его вины! К тому же — не нам его судить, для этого у нас есть Центральный Комитет.

ИВАН: Что же вы, Глеб, хотите? Ждать, пока он нас всех пошлет на виселицу?

ГЛЕБ: Я вовсе не собираюсь ждать. Но надо приостановить акт и известить ЦК. Я немедленно же еду назад в Женеву. Мы его вызовем туда! (*Смотрит на часы*) Я еще успею к семичасовому поезду, если найду извозчика.

МАРИЯ: Марк у нас за извозчика. Он здесь за углом стоит, на Бассейной.

ГЛЕБ: Вот и прекрасно! Прощайте, товарищи, и ждите мою телеграмму!

Глеб, Вера и Мария уходят. Остаются Виктор и Иван.

ВИКТОР: А может быть, Глеб прав? Макаров, как никак, должен получить возможность оправдаться.

ИВАН: Какие тут к чорту оправдания? Глеб его только спугнет, и он скроется. Иди потом — ищи ветра в поле! Я не могу допустить, чтобы товарищи, за жизнь которых я отвечаю перед ЦК, подвергались смертельной опасности из-за какого-то предателя... (*Решительно встает, берет пальто, надевает его*).

ВИКТОР: Ты куда, Иван?

ИВАН: В Варшаву...

ВИКТОР (*взволнованно*): Нет... нет, Иван, это невозможно! Ты не можешь... Ты нужен революции больше всех нас... Во имя революции ты не имеешь права рисковать своей жизнью!

ИВАН: Какая ерунда! Но кто-то же должен это сделать?

ВИКТОР: Я убью Макарова! (*Молчанье*).

Слышен взрыв. Иван и Виктор бросаются к окну. Виктор открывает окно. С улицы слышны крики. В комнату вбегают Вера и Мария, тоже бросаются к окну.

ВЕРА: Народ бежит... что-то случилось?... (*Кричит на улицу*) Что случилось?!

ГОЛОС С УЛИЦЫ: Министра убили!

ВИКТОР (*догадываясь, взволнованно*): Это — Петр! Где Петр?

Все переглядываются. Молчанье.

ИВАН (*резко и испуганно*): Немедленно бросайте всё и

разъезжайтесь. Полиция может быть здесь каждую минуту!

Вера и Мария быстро уходят.

ИВАН (*берет шляпу*): У меня важное свидание в Гельсингфорсе — завтра. Я пробуду там недели две. Виктор, телеграфируй мне туда из Варшавы. Гостиница “Европа”... Если с Макаровым выйдет, телеграфируй: “Партию машин продал”. Если нет: “Продажа не состоялась”.

ВИКТОР: Хорошо.

ИВАН: Ну, прощай... А после Варшавы приезжай прямо в Берлин и жди меня. Знаешь, как мне дать знать?

ВИКТОР: Знаю.

Иван обнимает его. Они трижды целуются.

ИВАН: Ну, с Богом!

ВИКТОР: Прощай, Иван!

Иван быстро уходит. Слышен звук закрывшейся за ним двери. Вбегает Вера. Она в меховом манто, в меховой шапке.

ВЕРА: Ты еще не готов, Виктор? Скорей же, идем — я знаю место, где мы спокойно можем прожить несколько дней.

ВИКТОР: Сейчас. Мы выйдем вместе...

ВЕРА: Как? Ты не пойдешь со мной?

ВИКТОР: Нет. Мне надо ехать...

ВЕРА: Куда?

ВИКТОР: В Варшаву.

ВЕРА: Ты... ты к Макарову?

ВИКТОР: Нет...

ВЕРА (*взволнованно*): Виктор, зачем ты туда едешь?...

Виктор надевает пальто, берет перчатки, шапку.

ВИКТОР: Ну, храни тебя Бог!

ВЕРА (*с ужасом*): Виктор, ты едешь убить Макарова?!

ВИКТОР: Да нет... не волнуйся... Я не собираюсь его убивать... Ну, идем (*шутясь, разыгрывая фата, делает жест рукой*). Ladies first!

Вера закутывается в манто, Виктор надевает перчатки, шапку, идут к выходу.

Т е м н о т а

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Отдельный номер в русской бане. Двухэтажный ступенчатый полук. Пар. На верхней полке, на животе лежит голый худой человек, стриженный под ежика, с усами. Вокруг бедер

у него повязано полотенце. Это жандармский генерал Козлов, начальник Охранного Отделения. Банщик Лука парит генерала березовым веником.

ГЕНЕРАЛ: Вот так, Лука!... А ну, еще... вот, вот, вот... по-сильнее... ух... хорошо!

В дверь заглядывает другой банщик.

БАНИЩИК: Эй, Лука! Какой-то господин к генералу пришел. Здесь ждет, в раздевальне.

ГЕНЕРАЛ (*поднимая голову*): Что такое?

БАНИЩИК: К вам, ваше превосходительство, господин пришел.

ГЕНЕРАЛ: Какой господин?...

БАНИЩИК: Не знаю... толстый... бородатый...

ГЕНЕРАЛ: Пусть войдет. (*Банщик скрывается*).

ГЕНЕРАЛ: Ну, хватит, Лука. Иди... Когда нужно, позову еще.

ЛУКА: Слушаюсь, ваше превосходительство!

ГЕНЕРАЛ: И поддай пару!

ЛУКА: Слушаюсь. (*Уходит*).

Входит Иван, тоже голый, с полотенцем, повязанным во-круг бедер. В руках у него шайка, мыло, мочалка. Он наливает в шайку воду, садится на скамью, начинает намывать мочалку.

ГЕНЕРАЛ (*мрачно*): Почему вы так поздно?

ИВАН (*спокойно*): Пришлось петлять по улицам. Хотел убедиться, что нет хвостов.

Генерал спускается с верхней полки, останавливается перед Иваном.

ГЕНЕРАЛ (*гневно*): Я жду ваших подробных объяснений! Почему министр был убит? И почему это произошло за восемь дней до условленного с вами срока?

ИВАН (*спокойно*): Потому что неизвестный мне маньяк бросил бомбу! Я за всякого сумасшедшего не отвечаю. Но я же предупреждал вас, чтобы министр не ездил во дворец этим маршрутом.

ГЕНЕРАЛ (*повышая голос, раздраженно*): Я вам не верю! Это не первый раз, что вы меня за нос водите! Я этого больше не допущу! Так и знайте! Довольно финтить! Вы думаете, что можете играть двойную игру? Служить и нашим и вашим? Нет! На двойной игре ставьте крест! Не допущу! Получаете чуть ли ни

“министерское” жалование и обязаны — слышите?! — *обязаны* точно выполнять условия! Если я еще раз поймаю вас на нечистой игре, знайте, что сообщу вашим же товарищам по Центральному Комитету, что глава их Боевой Организации уже десять лет, без малого, работает на нас.

ИВАН (*совершенно спокойно, пожимая плечами*): Да вы это фактически, кажется, уже и начали делать.

ГЕНЕРАЛ (*удивленно*): То-есть как?

ИВАН: Кто-то из ваших агентов прислал письмо обо мне в Центральный Комитет еще год тому назад. И только благодаря доверию большинства Центрального Комитета ко мне, этот донос был принят как полицейская интрига, как ваша попытка скомпрометировать меня перед Центральным Комитетом. А всего недели две тому назад опять какой-то “доброжелатель” сообщил в Центральный Комитет, что полиции известен адрес конспиративной квартиры террористов. В письме сообщалось, что провокатор стоит близко к Центральному Комитету. Что же это такое, по-вашему? Может быть, это *ваша* двойная игра? И что вы вдруг так распалились из-за убийства министра? Ведь вы же не протестовали, когда был убит уфимский губернатор? (*Иван похлопывает себя венником по бокам, по животу*). Жертвы были и будут — с обеих сторон! С этим надо считаться. Я не виноват, что убили министра. Чтобы иметь полное доверие ЦК, время от времени должны быть и удачные акты.

ГЕНЕРАЛ: Ну, знаю...

ИВАН: Это ведь и вам дает возможность требовать увеличения кредитов на борьбу с террором. Разве не так? Только за этот год по моим указаниям вы арестовали больше 80-ти террористов, я предупредил пять покушений, сдал вам три динамитных мастерских...

ГЕНЕРАЛ (*прерывая его, раздраженно*): И в то же самое время террористы убили пять губернаторов, восемь полицмейстеров, трех видных чиновников департамента полиции, и вот теперь... министра внутренних дел!

ИВАН: Но говорю же вам, что министра убил маньяк... Не свят же я дух, чтобы все предупреждать на территории всей России. (*Пауза*) А, кстати, помните, в прошлом месяце я сдал вам Коваля и Лурье?

ГЕНЕРАЛ (*недовольно*): Ну?

ИВАН: Вы знаете, на кого они готовили покушение?

ГЕНЕРАЛ: Они были убиты при аресте. Не знаю.

ИВАН (*спокойно*): На вас, генерал...

ГЕНЕРАЛ (*стараясь скрыть волнение*): Вы в этом уверены?

ИВАН (*похлопывает себя веником по бокам, по животу*): Вполне. Как в том, что у нас с вами явка вот в этой бане....

Генерал садится рядом с Иваном, поглаживает себя мочалкой. Длгая пауза.

ГЕНЕРАЛ (*прерывая паузу*): На кого вы теперь ставите? (*Усмехаясь*) Кто, так сказать, у вас из нас на очереди?

ИВАН (*взглядывает на генерала, бросает тихо, словно нехотя*): Премьер-министр...

ГЕНЕРАЛ (*застывает в ужасе*): Вы с ума сопли!

ИВАН (*спокойно*): Я тут не при чем. Постановление Центрального Комитета.

ГЕНЕРАЛ (*бормочет*): Это же черт знает, что такое!...

ИВАН: Почему вы так взволновались? Ведь если такое покушение будет предотвращено в последнюю минуту начальником Охранного Отделения, т.-е. вами, генерал Козлов, то, я думаю, сам царь не оставит без особой признательности такую вашу работу.

Генерал встает, начинает нервно ходить. Затем внезапно останавливается, в упор смотрит на Ивана.

ГЕНЕРАЛ: На когда это назначено?

ИВАН: Это еще не скоро. Время есть.

Пауза.

ГЕНЕРАЛ: Но я должен быть абсолютно уверен, что в данном случае этот прискорбный факт с убийством министра внутренних дел "каким-то маньяком" не повторится!

ИВАН (*спокойно*): Разумеется. И это очень просто: динамитную мастерскую я ставлю в Финляндию, а метальщики будут жить в Москве. Вы захватите мастерскую за день-два до того, как бомбы будут пересланы метальщикам в Москву. Вас это устраивает?

ГЕНЕРАЛ (*после краткой паузы*): Хорошо. Но помните крепко: за этот акт вы отвечаете своей головой!

ИВАН (*раздраженно*): К чему эти ваши припевы? Что вы меня запугать хотите? Это дело — в наших общих интересах. Вот и все. (*Пауза*) Но на это мне деньги нужны.

ГЕНЕРАЛ (*после паузы*): Сколько?

ИВАН: Три тысячи.

ГЕНЕРАЛ: На что?

ИВАН: Я же сказал, я ставлю динамитную мастерскую. Это стоит денег.

ГЕНЕРАЛ: Дорогонько — три тысячи. Половину, так и быть, дам. А другую берите уж в Центральном Комитете. (*После паузы, улыбаясь*) Кстати, мне передавали, что у вас солидный текущий счет в одном немецком банке? И что на бирже крупно играете...

ИВАН (*недовольно*): Это никого не касается. Это мое личное дело. (*Саркастически*) Думаю, что у вас банковский счет тоже неплохой! Покрупнее моего, наверное... Мне нужны, повторяю три тысячи. ЦК дает гроши. У них сейчас плохо с деньгами.

ГЕНЕРАЛ (*после раздумья*): Хорошо. Но это последний раз. Вы чересчур напористы. Я этого не люблю. Только запомните: если будет обман — ответите!

ИВАН (*недовольно морщась*): Бросьте вы эту чепуху — обман... обман... Я не штучник какой-нибудь, не первый год с вами работаю... И вот еще что...

ГЕНЕРАЛ: Что? Опять деньги?

ИВАН: Да нет. Произведите тщательное обследование вашего персонала в Охранном. Нет ли у вас какого-нибудь предателя, имеющего доступ к секретным документам? Все эти письма в Центральный Комитет очень подозрительны... Кстати, Макаров, убитый террористами, работал на вас?

ГЕНЕРАЛ: Нет, никогда. Откуда вы взяли? Он же был фанатик-революционер. А почему и кто его убил, не знаете?

ИВАН: Не знаю. Склока какая-то наверно выпла. Вы думаете в Центральном Комитете нет таких же интриг, как у вас в департаменте?

ГЕНЕРАЛ: Да, а я вот чуть не забыл: не знаете ли вы, кто такой там у вас товарищ Виктор?

ИВАН (*пристально глядя на генерала*): Товарищ Виктор? Нннет... не знаю... А откуда у вас эти сведения?

ГЕНЕРАЛ: Один осведомитель сообщил, что молодой юрист, товарищ Виктор, вступил в Боевую и, будто, человек очень опасный.

ИВАН (*грубо*): Так на кой же черт я вам нужен, если у вас есть какие-то такие осведомители, которые несут вам всякий вздор?

ГЕНЕРАЛ: Да не кирпичитесь вы! Это — рядовой, мелкий осведомитель, потому я у вас и спрашиваю. Стало быть, не знаете? Не встречали?

ИВАН: Ннет... Вижу только, что у вас в Охранном такой бедлам, что я каждую минуту жизнью рискую.

ГЕНЕРАЛ: Не волнуйтесь. И вовсе не бедлам. О вас, например, кроме меня, ни один человек не знает... Знал еще вот покойный министр внутренних дел... царствие ему небесное!...

ИВАН (*взволнованно*): Я вас очень прошу — будьте с моей информацией крайне конспиративны. Малейшая оплошность — и я получу пулю в лоб!

ГЕНЕРАЛ (*усмехаясь*): Зря беспокоитесь... Но все мы под Богом ходим...

ИВАН (*встает, грубо*): Вы можете ходить под Богом, сколько угодно, а я предпочитаю о себе заботиться сам, без Бога! Ну, мне пора. Прощайте!

ГЕНЕРАЛ: Всего хорошего.

Иван идет к двери. Останавливается, оборачивается.

ИВАН: Не забудьте завтра перевести деньги... в Берлин... как всегда.

ГЕНЕРАЛ (*усмехаясь*): D'accord, как говорят французы.

Когда дверь за Иваном закрывается, генерал становится под душ и окатывает себя водой с головы до ног.

З а н а в е с

А К Т В Т О Р О Й

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Динамитная мастерская в Финляндии. У окна большой, простой стол. На нем — примусы, молотки, напильники, ножницы для резания жести, пипетки, стеклянные трубки, колбы; в флаконах какая-то жидкость. Неподалеку от окна — кресло. В углу, в двух мешках, запасы динамита. В противоположной стороне комнаты — круглый стол, покрытый скатертью. Около него стулья. Над столом — большие настенные часы с маятником. Около стола — дверь в другую комнату. День. В комнате боевики-террористы: Вера, Сергей и Митя, юноша лет 18-ти. Сергей работает у стола, разливает в стеклянные трубки серную кислоту. Вера что-то кипятит на примусе. Митя обрезает ножницами большую консервную

банку — оболочку снаряда. Митя — веселый, жизнерадостный, насвистывает какую-то песенку. Вдруг банка вырывается у Мити из рук и с шумом катится по полу.

СЕРГЕЙ (*шутя, улыбаясь*): Эй, Митя, осторожно! А то взорвешь нас на воздух!

МИТЯ: Не беспокойтесь, товарищ Сергей! Не взорвемся еще! (*Смеется молодо, заразительно*).

МИТЯ (*подхватив с полу банку*): А знаете, товарищ Сергей, меня все одна идея мучит!

СЕРГЕЙ (*не отрываясь от работы*): Что же это за идея такая?

МИТЯ: А идея вот какая: по-моему, надо бы было купить воздушный шар, нагрузить его хорошенько динамитом — пудов эдак в десять, подняться над Зимним дворцом и сбросить все прямо на дворец!

Сергей и Вера смеются.

СЕРГЕЙ: Идея просто гениальная, Митя!

ВЕРА: Митя, скажите откровенно — сколько вам лет?

МИТЯ (*несколько смущенно*): Около девятнадцати.

СЕРГЕЙ: А “околу” сколько лет?

ВЕРА: А “околу” наверное год.

МИТЯ (*завистливо смеется*): Угадали, товарищ Вера! Мне в феврале исполнилось восемнадцать. Но почему вы спрашиваете? Разве в возрасте дело?

СЕРГЕЙ: Конечно, не в возрасте. Только тебе, Митя, по-моему, лучше было бы все-таки в университете учиться, а не здесь, с нами...

МИТЯ (*задумчиво*): Так уж вышло... Знаете, я с детства очень религиозный был. Все Евангелие читал — да и сейчас читаю... Года полтора по России странником ходил...

СЕРГЕЙ (*иронически*): Что же, Христа искал?

МИТЯ: Искал. А вы не смейтесь над этим, товарищ Сергей! Это у меня искренне было. В монастырь даже хотел уйти... А вот как брата моего повесили... (*Пауза. Вздыхает, задумавшись; Сергей и Вера, бросив работу, с сочувствием смотрят на Митю*).

МИТЯ: Вы знаете, что мой брат революционер, террорист был?

ВЕРА (*задушевно*): Конечно знаем, Митя.

МИТЯ: Так вот с тех пор все во мне как перевернулось. И

я решил, что нет больше той любви, как если положить душу свою за други своя. И не жизнь свою, понимаете, а вот именно душу! Ну, вот я и пошел в террор... В память брата товарищ Иван и принял меня... Так и сказал: молод ты, Митя, для Боевой, но так и быть, беру тебя только в память твоего брата...

Условный стук во входную дверь.

БЕРА: Это товарищ Соня!

Бера открывает дверь. Входит молодая девушка в шубе, в платке, с годовалым ребенком на руках.

СОНЯ: Ну, сегодня холодище — чудовищный! И ветер северный, как ножом режет, прямо закоченеть можно!... Вера, посмотри на Зельму — какая она красotka! А? щечки-то, щечки — прямо как анисовые яблочки!

Бера разглядывает ребенка.

МИТЯ: А как же, товарищ Соня, вы с ней объясняетесь? Ведь она же только по-фински понимает?

СОНЯ: Она, Митенька, ни по-фински, ни по-русски еще не понимает. Зато я знаю язык, который все дети понимают. *(Ребенку)* Агу-агу... агу-агу, Зельма... Видите, видите — улыбается!

МИТЯ *(улыбаясь)*: Верно, верно. Это она вам улыбается!

СЕРГЕЙ: Соня, отнеси-ка ребенка лучше к матери — воздух здесь для младенца неподходящий... да и вообще как-то...

СОНЯ *(как бы извиняясь)*: Да я же ее только показать вам хотела. *(Уходит с ребенком, говорит от двери)*: Я сейчас приду и чай будем пить.

СЕРГЕЙ: Ах, женщины! всегда остаются женщинами. Вот увидела ребенка и забыла обо всем — и о терроре, и о революции...

БЕРА *(обиженно)*: Это неправда, Сергей! Одно другому вовсе не мешает. Соня — смелый и верный товарищ. Она на любой акт пойдет.

СЕРГЕЙ: Да знаю, знаю — не обижайся, Вера... Я просто, так сказать, о “вечной женственности”...

МИТЯ: А я думаю, если любишь — много, по-настоящему, весь мир любишь, тогда и на убийство легко пойти. Вот на такое, как наше, во имя любви...

Дверь распахивается, вбегает веселая Соня.

СОНЯ *(радостно)*: Дорогие мои! Радость-то какая — товарищ Виктор приехал!

Вера быстро идет к авансцене, останавливается в каком-то душевном волнении, будто хочет уйти, но потом возвращается к рабочему столу, садится у окна в кресло. Входит Виктор в богатой шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке.

ВИКТОР (*радостно*): Здравствуйте, товарищи!

МИТЯ (*бросается к нему, двумя руками жмет его руку*): Здравствуйте товарищ Виктор! Как мы рады! (*помогает ему снять шубу*).

Подходит Сергей, здоровается с Виктором.

СЕРГЕЙ: Вот неожиданность-то какая! Откуда вы, Виктор?

ВИКТОР: Из Петербурга. Ну, как у вас здесь все?

СЕРГЕЙ: В полном порядке! А у вас?

ВИКТОР (*замечает Веру, быстро идет к ней*): Вера... здравствуй!

Вера холодно смотрит на него, как бы его не видя.

ВЕРА (*холодно*): Здравствуй.

ВИКТОР (*удивленно*): Вера, что с тобой? Что-нибудь случилось?

Вера пожимает плечами.

СЕРГЕЙ: Товарищ Виктор, вы случайно не захватили последнюю нашу прокламацию к крестьянам?

ВИКТОР: Нет... Я не рискую, Сергей, возить в Финляндию нелегальную литературу. (*Удивленно смотрит на Веру, потом Сергею*) Одну минуту, Сергей, мне надо поговорить с Верой.

ВЕРА (*сухо*): У нас с тобой нет секретов.

СЕРГЕЙ: Митя, пойдем, ты мне нужен (*делает ему знак*).

Митя понимает, и он и Соня быстро уходят вместе с Сергеем.

ВИКТОР: Вера, в чем дело? Объясни. Что ты, говорить со мной не хочешь?

ВЕРА (*после паузы*): Нет, хочу... но не могу.

ВИКТОР: Я не понимаю твоих загадок. Скажи просто, в чем дело?

Вера не отвечает.

ВИКТОР: Я в чем-нибудь виноват перед тобой? Я мало тебе писал? Но что ж ты думаешь, что я могу забыть тебя? Ты должна же понять, что...

ВЕРА: Тебе не в чем оправдываться, Виктор.

ВИКТОР: Так почему же такая встреча?

БЕРА: Потому, что с некоторых пор мы просто стали чужие, вот и все!

ВИКТОР (*садится рядом с ней, берет ее руку в свои руки; взволнованно*): Ну, посмотри на меня! Ну, почему же это мы вдруг стали чужими? Что за вздор! Я все тот же... (*С улыбкой*) Может быть, постарел... Но все тот же... твой Виктор...

БЕРА: Нет. Ты, может быть, и сам не замечаешь, но ты стал совсем другим.

ВИКТОР: И что же, ты это определила сразу, как я вошел?

БЕРА: О, нет... Я это почувствовала уже давно... с того дня, как узнала, что ты убил Макарова.

ВИКТОР (*после короткого замешательства*): Ничего не понимаю... При чем тут Макаров и наши отношения?

БЕРА (*высвобождая свою руку из его рук*): Хорошо. Я тебе объясню. Только сначала ответь мне на один вопрос: *почему* ты убил Макарова?

ВИКТОР: Как почему? Потому, что он был провокатор, предатель!

БЕРА: А откуда ты это узнал?

ВИКТОР: Как откуда? От Глеба!

БЕРА: Ты говоришь неправду, Виктор! Наоборот, Глеб при мне сказал, что эти подозрения должен сначала расследовать Центральный Комитет!

ВИКТОР: Да, но Иван...

БЕРА (*перебивает*): И то, что скажет Иван, для тебя закон?

ВИКТОР (*резко*): Да! Если хочешь — закон!

Пауза.

БЕРА: А ты знаешь, что Макаров *не был* провокатором?

ВИКТОР: Какая чепуха! Откуда ты взяла это?

БЕРА: Сюда из Женевы приезжал Вербов и передал, что Глеб получил доказательства, что кременчугскую группу выдал Масальский. Макаров никогда никого не предавал... он честный революционер... А ты... ты убил его!

Виктор встает, растерянно делает несколько шагов.

ВИКТОР (*нерешительно*): Я убежден, что Глеб тут ошибается.

БЕРА: Ты убил не только невинного человека, но еще и... революционера, нашего товарища...

Виктор останавливается перед Верой.

ВИКТОР: Ну, хорошо, Вера! Пусть будет по-твоему. Предположим даже, что я убил невинного человека. Так что же, это делает меня профессиональным убийцей, что ли? А, скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас снаряжаешь эти бомбы, и через несколько дней их будут метать в премьер-министра... и с ним во время взрыва наверняка погибнут и невинные люди. Что же, после этого, ты будешь считать себя их убийцей?

ВЕРА: Во-первых, наши акты ставятся по решению Центрального Комитета партии. Это — политическая борьба, наша борьба...

ВИКТОР: Вера, милая, но надо же понять, что террор это — всегда человекоубийство, во имя чего бы он ни совершался! И мы все должны это принять. В тот момент, когда человек идет в террор, идет на убийство, все моральные критерии, все эти тонкости, естественно, исчезают. Почему бы человек ни убивал — из ревности, из мести, из ненависти или из революционного убеждения — это, Вера, милая, я понял давно, это — все одно и то же!

ВЕРА: Так ты убил Макарова из революционного убеждения?

ВИКТОР: Да. Иван — начальник террора, он считал, что Макаров должен быть убит...

ВЕРА (*перебивает*): Что же, Иван стал твоей совестью, что ли? С каких же это пор?

ВИКТОР: Иван возглавляет наш террор, он — громадная сила революции! Без него мы не сделали бы и одной десятой того, что делаем. И если мы — революционеры, наша обязанность идти за ним и ему беспрекословно подчиняться. Иначе, пойми, Вера, из террора ничего не выйдет. Мы должны совершенно отказаться от своих, личных решений. Я по себе знаю, как это трудно. Но если ты член Боевой, ты — солдат, ты должен подчиняться... как на войне...

Вера медленно встает, подходит к окну; закрыв лицо руками, прислонившись к притолке окна, глухо рыдает. Виктор бросается к ней.

ВИКТОР: Вера, что с тобой? Ну, прости меня...

ВЕРА (*сквозь рыдания*): Прости ты меня, Виктор... Я знаю, я неправа... Но за эти годы я тоже изменилась — как и ты. Я уже не отдаю себе ясного отчета, что я делаю... Боже мой, еще немного — и я, кажется, с ума сойду!

ВИКТОР (*обнимает Веру*): Вера, после этого акта я достану в ЦК деньги — поезжай за границу! Дай мне слово, что ты поедешь... тебе надо отдохнуть... мы встретимся там...

Стук в дверь. Входят Митя с самоваром, за ним Соня и Сергей со стаканами, блюдами, сахарницей, хлебом.

СОНЯ (*весело*): Ну, вот и чай готов! Вера, Виктор, садитесь!

Все садятся вокруг стола. Соня разливает чай. Вера садится рядом с Соней, Виктор — рядом с Митей.

МИТЯ: Вы когда же нас покидаете, товарищ Виктор?

ВИКТОР (*вынув из жилетки часы, взглянув на них*): Да вот... через полчаса уже надо ехать...

СОНЯ (*восторженно оглядывая всех*): Милые, как я вас всех люблю! Давайте споем что-нибудь!

МИТЯ: Давайте, Соня.

СОНЯ: Ну, Митя, запевайте вы!

Митя запекает легким тенором "Среди долины ровные, на гладкой высоте..." Все подхватывают: "Стоит, растет высокий дуб в могучей красоте..." Голос Мити: "Высокий дуб, развесистый один у всех в глазах..." Свет на сцене медленно гаснет. Песня замирает.

Т е м н о т а

СЦЕНА ВТОРАЯ

Та же динамитная мастерская в Финляндии. Лунный свет из окна. В одном конце сцены на полу, на матраце, спит одетая Соня. В глубине, на узком диване, сидит Вера, закутанная в одеяло. Вера курит. Часы бьют — пять ударов. Вера глядит на часы, тушит папиросу, идет к Соне. Опускается около ее матраца.

ВЕРА: Соня... Соня... вставай!

Соня просыпается.

СОНЯ (*потягиваясь, сквозь сон*): Который час?

ВЕРА: Пять часов.

СОНЯ (*голосом со сна*): Вера, знаешь что мне снилось?

ВЕРА: Что?

СОНЯ (*садится на матраце, как ребенок протирает глаза кулаками*): Будто я дома, в нашей Калужской усадьбе... в неоглядном овсяном поле... и вокруг в овсе — множество цветов...

И я начинаю рвать эти цветы — васильки, маки, кашку... И вдруг оказывается, это все — не цветы, а дети... маленькие, вот такие же, как Зельма! И я хватаю их за руки... и мы начинаем кружиться и петь что-то такое веселое, веселое!... И тут ты меня разбудила...

ВЕРА (*ласково улыбаясь*): Ты любишь детей, Соня?

СОНЯ: Обожаю! Когда выйду замуж, у меня обязательно будет пятеро... А разве ты не хочешь иметь детей?

ВЕРА: Нннет... Почему ж ты пошла в террор? Тебе бы замуж выйти.

СОНЯ: Пошла потому, что верю, что это нужно для общего счастья, для народа...

ВЕРА: Ты, Соня, твердо в это веришь?

СОНЯ: Ну да! А разве ты не веришь?

ВЕРА (*задумавшись*): Верила. А теперь вот начала сомневаться.

СОНЯ: Почему? Что ты, Вера?

ВЕРА (*после паузы*): Ты знаешь, что мне Виктор вчера сказал?

СОНЯ: Что?

ВЕРА: Что убийство — это всегда убийство, во имя чего бы оно ни совершалось!

СОНЯ (*поражению*): Это Виктор так сказал?... Не понимаю...

Входит Сергей, находит надевая пиджак, за ним Митя.

СЕРГЕЙ: Вы уже бодрствуете? А я чуть было не проспал! Наши еще не приехали?

ВЕРА: Нет... еще рано...

СЕРГЕЙ: Хорошо бы сейчас чайку горячего выпить!

СОНЯ: А я сейчас пойду поставлю.

Стук в дверь. Соня подходит к двери.

СОНЯ: Кто там?

ГОЛОС ХОЗЯЙКИ: Это я...

СОНЯ (*оборачиваясь ко всем*): Это — хозяйка... Прикройте лучше стол скатертью, чтобы она не видела.

Митя и Сергей накрывают скатертью стол. Соня отпирает дверь. На пороге — хозяйка с Зельмой на руках. Рядом с ней — жандармский офицер и шесть жандармов. Офицер грубо отталкивает хозяйку.

ОФИЦЕР (*наводя револьвер на Соню*): Ни с места — застрелю!

Жандармы бросаются на террористов. Митя хватается из-под скатерти бомбу и поднимает ее над головой.

СОНЯ (указывая на Зельму, вскрикивает): Митя!... ребенок!

Митя растерянно смотрит вокруг, медленно опускает бомбу на стол.

ОФИЦЕР (кричит): Наручники на всех! Живо!

Жандарм ударяет Сергея в грудь. Сергей падает. Двое жандармов хватают Митю. Вера бросается к двери в другую комнату.

ОФИЦЕР: Хватай ее!...

Жандарм бросается за Верой, но за кулисами раздается выстрел. Жандарм невольно останавливается, смотрит в распахнутую дверь.

Т е м н о т а

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Отдельный кабинет московского ресторана "Яр". Из общего зала доносится цыганское пенье и музыка. В отдельном кабинете окна задернуты тяжелыми занавесями, на стене — громадное зеркало. В нем отражается большая люстра со свечами. На столе в канделябрах тоже горят свечи. На столе — шампанское — две бутылки во льду и бокалы. Лакей убирает тарелки, посуду. Иван курит сигару. Виктор строит на столе пирамиду из рюмок и стаканов.

ИВАН (смеясь): Что это ты за Эйфелеву башню строишь?

ВИКТОР (смеясь): Нет, это — башня моих иллюзий! Видишь, как приятно поблескивает? И какая хрупкая — дует и — фьюить! — ее нету! А я загадал: если дострою, значит, осуществится одна моя мечта. А не дострою...

Лакей случайно задевает стол, и вся башня Виктора падает, несколько рюмок разбиваются на полу.

ИВАН (лакею): Осел!

ЛАКЕЙ: Простите-с... случайно... (хочет подобрать с полу осколки).

ВИКТОР: Ничего... ничего... иди... потом подберешь!

Лакей уходит с посудой.

ВИКТОР: Зря ты его обругал. Он, так сказать, явился только посланником судьбы. (Смеется) И башня иллюзий разлетелась к чертовой матери! (Наливает шампанское, пьет).

ИВАН: Все эти “башни” всегда разлетаются...

ВИКТОР: Иногда. Но без иллюзий, Иван, тоже как-то все-таки трудно жить человеку.

ИВАН: Дело вкуса. Я вот, например, иллюзиями не населен.

Пауза.

ВИКТОР: Ты не думаешь, что в последнем деле у нас была провокация?

ИВАН: В каком последнем? В провале динамитной мастерской?

ВИКТОР: Да.

ИВАН (*пожимает плечами, говорит безразлично*): Может и была. В нашем деле к провокации всегда надо быть готовым. (*Усмехаясь*) Я — человек без иллюзий, Витя. Для меня каждый революционер — потенциальный провокатор.

ВИКТОР (*удивленно*): Ты шутишь или всерьез?

ИВАН: Совершенно серьезно. Я, Витя, реалист. И так нужно для нашего дела.

ВИКТОР (*усмехаясь*): Великий реалист...

ИВАН: Ну, до великого-то, думаю, далеко... (*После паузы*) Да, с провалом в Финляндии, конечно, обидно... Теперь все надо сызнова начинать...

Молчанье. Виктор пьет шампанское.

ВИКТОР: Кто же у нас на очереди?

ИВАН: Да тот же премьер-министр. Только теперь надо ставить как-то по-другому... Я вот получил информацию, что у него среди прислуги есть молоденькая горничная... (*Усмехаясь*) Думаю, это может нам пригодиться...

Пауза.

ВИКТОР: А знаешь, Иван... Я слышал, что Макаров никаким провокатором не был.

ИВАН (*недовольно*): Брось ты об этом вспоминать! Это все давно кончено. Мы должны были его убрать, потому что он был на подозрении. Вот и убрали. Ну, и точка.

Пауза.

ВИКТОР (*задумавшись — видно, что он занят какой-то своей мыслью*): Скажи, Иван, а ты когда-нибудь сам убивал?

ИВАН: Сам?

ВИКТОР: Да, сам... своими руками...

ИВАН: Нет, не довелось.

ВИКТОР (*задумчиво, после паузы*): А я убил.

ИВАН (*недовольно морщась*): Опять ты о своем...

ВИКТОР (*не слушая его, играя пустым бокалом*): И знаешь, что я почувствовал после убийства? Знаешь?... Как-будто это не я, а кто-то другой в него выстрелил... Уверяю тебя... даже странно... Помню, вышел на улицу... солнце светит... люди идут... слышу птицы поют... А я иду, как в гипнозе, как автомат... А вот ночью... заснуть не мог... Все передо мной этот Макаров в крови... И тогда я запил... целую неделю пьянствовал... как добрался к тебе в Берлин — не помню...

ИВАН: Ну, и прекрасно... забудь об этом... Что ты себя все грызешь? Ты — революционер. И — нормально, что ты нашел в себе силу убить... Миром, Витя, правят сильные...

ВИКТОР (*усмехаясь*): Сильные?

ИВАН: Да. Это — закон жизни. Ты сам подумай: и в природе и в животном мире, везде сильные подавляют и даже уничтожают слабых. И у нас, в человеческом обществе... Наверху всегда — сильные, а внизу — слабые. Так было при царе Горохе, так будет и при социализме. И ничего тут не переделаешь, потому что это — естественный закон.

ВИКТОР: Ну, а как же тогда с революцией? Ведь это же борьба за свободу, за равенство, за социализм!

ИВАН (*пренебрежительно морщась*): Равенство, социализм... Это все, конечно, нужно для молодежи, для рабочих... но не для нас же... А с революцией все в порядке. Потенциально мы ведь сильнее всех этих дураков — царских министров и губернаторов! Поэтому мы и слошим их.

ВИКТОР: Ну, а потом, после победы? Что же, мы с тобой, значит, как “сильные” — пожалте наверх?

ИВАН: Разумеется. А ты как думал?

ВИКТОР: А народ, рабочие, именем которых мы боремся?

ИВАН (*пренебрежительно*): А народ, рабочие и будут рабочими... (*Смеется*) Нужно же кому-нибудь работать?

ВИКТОР (*потрясенно*): Иван... Но это же полный цинизм...

ИВАН (*почувствовав, что перехватил, хохочет*): Ну, с тобой и пошутить нельзя! Ладно, довольнo этой философии... Давай-ка лучше выпьем за революцию!

Иван наливает шампанское Виктору и себе. Оба чокаются, пьют. Цыганская музыка за стеной все усиливается, приближаясь к кабинету.

ИВАН (*прислушиваясь*): Здорова цыгане жарят! Ох, здо-

рово! Позовем-ка их, послушаем! (*Звонит в колокольчик. Входит лакей*).

ИВАН: Пригласи в кабинет цыган. Скажи — хотим послушать.

ЛАКЕЙ: Слушаю-с (*уходит*).

Тут же открывается дверь кабинета, входит цыганка в ярко красном платье, увешанная разноцветными монисто, и с ней два гитариста в ярких рубашках и с гитарами в лентах.

ИВАН (*цыганам*): Милости просим! Вот хотим вашу цыганскую песню послушать!

ЦЫГАНКА (*с улыбкой*): Может, сначала угостишь, барин, цыганку и моих гитаристов?

ИВАН (*весело*): Ну, конечно, конечно! (*Наливает всем шампанское. Поднимая бокал, пьяно, громко*): За наше и ваше счастье! Хорошо? Согласны?

Все смеются, чокаются, пьют. Гитаристы начинают играть что-то необычайно томительное. Цыганка — возле стола, между Иваном и Виктором, запекает низким контральто. Гитаристы все сильнее рвут струны. Песня идет все быстрее, все ускоряется в темпе.

ИВАН (*Виктору*): Эх, Витя... хороша жизнь! А?

Виктор слушает песню, подперев голову руками, он пьян, вдруг роняет голову на руки и рыдает.

Т е м н о т а

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Большая запущенная комната в квартире Глеба, в Париже. Письменный стол завален бумагами. На полках, на полу

книги. Рядом с письменным столом, на маленьком столике горит керосиновый примус. Глеб, в очках, без пиджака, в одной жилетке, опускает в кастрюлю с кипящей водой два яйца, вынимает часы, следит за временем, чтобы не переварить яйца. Стук в дверь. Глеб прячет часы в карман жилетки, берет пиджак со спинки стула, надевает его, кричит.

ГЛЕБ: Войдите!

Входит Серов. Это — бритый, худощавый человек, в темных очках, одет по-барски.

СЕРОВ: Здравствуйте! Я — Серов.

ГЛЕБ (*подозрительно глядя на Серова*): Здравствуйте. Я

вас ждал в три часа. Сейчас (*смотрит на часы*) без пяти четыре.

СЕРОВ: Ради Бога простите... Я попросту запутался в улицах. Я ведь в Париже первый раз... здесь очень трудно ориентироваться. Извините, пожалуйста.

ГЛЕБ: Садитесь.

Серов садится.

ГЛЕБ: Во-первых, я должен быть абсолютно уверен в том, что вы, действительно, автор этого письма.

Глеб берет со стола письмо, протягивает его Серову.

СЕРОВ (*взглядывает на письмо, говорит, улыбаясь*): Ну, уверить вас в этом очень просто. Я напишу вам сейчас то же самое... (*Подходит к столу и пишет*).

СЕРОВ (*протягивает Глебу написанное*): Вы можете сверить почерк.

ГЛЕБ (*сличая написанное Серовым и письмо*): Да, хорошо... Все в порядке. Благодарю вас. (*Оба садятся*).

ГЛЕБ: Но прежде, чем мы будем говорить на интересующую нас обоих тему, я должен задать вам один вопрос.

СЕРОВ: Прошу вас.

ГЛЕБ: Я хотел бы, чтобы вы мне объяснили, почему вы сейчас хотите помочь революционному движению, хотя в то же время вы продолжаете служить в Охранном Отделении, у генерала Козлова, то-есть продолжаете быть "охранником". Вы, конечно, сами понимаете, что это факт — довольно необычный.

СЕРОВ (*говорит спокойно, даже с какой-то снисходительной усмешкой*): Ну, разумеется, вы совершенно правы. Факт этот, я думаю, даже *весьма необычен*. Но я вам этот факт сейчас объясню. Только разрешите обратить ваше внимание, что ваш обед там, кажется, перекипел.

Глеб бросается к примусу и гасит его.

ГЛЕБ: Благодарю вас. (*Садится*).

СЕРОВ: Можно курить?

ГЛЕБ: Пожалуйста.

Серов протягивает Глебу открытый портсигар.

ГЛЕБ: Спасибо, я не курю.

СЕРОВ (*закуривает, затягивается папирсой. На лице его — та же чуть снисходительная улыбка*): В двух словах, конечно, ответить на ваш сложный — и совершенно правильный

и понятный — вопрос никак невозможно. Но я постараюсь быть краток.

ГЛЕБ (*утвердительно кивает головой*): Я вас слушаю.

СЕРОВ: Лет шестнадцать тому назад я был арестован в Москве. Я был членом террористической группы молодежи. Террористы мы были, конечно, несерьезные, пустяковые. Но, как никак, при обыске у меня нашли динамит, и этого было достаточно, чтобы я этапным порядком пошел по Владимирке от централа до централа, в Сибирь. Там, в знаменитом Александровском центральном я узнал, что нас выдал один член нашей же группы. Человек этот был моим близким другом. Почему он это сделал, я до сих пор не пойму, настроен он был революционно... Для меня это был страшный психологический шок... Когда через несколько лет я попал под амнистию и вернулся из Сибири, я долго жил под надзором полиции. Жизнь у меня была, надо прямо сказать, очень тяжелая. Ничто мне не удавалось, жил я омерзительно. И вот в один прекрасный день — я этот день как сейчас помню — Охранное Отделение предложило мне работать на них. Признаюсь, я был слаб... и я... я согласился... И так я стал, как вы изволили выразиться, “охранником”.

Пауза.

ГЛЕБ (*сухо*): Продолжайте.

СЕРОВ: Сначала мне предложили выдать каких-нибудь революционеров, чтобы заслужить, так сказать, доверие. Признаюсь и в этом. Я это сделал, стараясь, правда, не причинять особого вреда бывшим товарищам. Но годы шли. Я работал. И, наконец, получил должность чиновника особых поручений в Охранном Отделении в Петербурге... (*После краткой паузы*) Вы можете, конечно, мне верить или не верить — это дело ваше. Но я вам все-таки скажу — и скажу совершенно честно: внутренне, в душе, я мечтал им отомстить за мое падение... Я понимаю, что вам — старому революционеру — это трудно понять. Но это так. Должен вам сказать, что по сути своей я — человек довольно решительный и... мстительный. Помните, как у Достоевского начинаются “Записки из подполья”: “Нехороший я и злой человек...” Кажется, так?

ГЛЕБ (*отрывисто*): Не помню. Я Достоевского не люблю.

СЕРОВ: А я, напротив, Достоевского боготворю. Он мне в жизни во многом помог... без него бы я пропал... Так вот, как я сказал... (*с улыбкой*) с тех пор, как я оказался “охранником” в

Петербурге, единственным смыслом моей жизни стало — отомстить... В Охранном я был назначен к генералу Козлову, а генерал этот ведает только борьбой с террористами — это его специальность. Я и решил, что тут наступает мой час...

ГЛЕБ (*перебивая*): Позвольте, когда вы получили это место в Петербурге?

СЕРОВ: В Охранном? Ровно четыре с половиной года тому назад. И тут вскоре же, примерно через год, я послал свое первое анонимное предупреждение в ваш Центральный Комитет о провокации.

ГЛЕБ (*что-то прикидывая в уме*): Значит, вы — тот самый “доброжелатель”, который прислал в Центральный Комитет длинное письмо, предупреждавшее о провокации в самом центре партии?

СЕРОВ: Да, совершенно верно. Я и есть тот “доброжелатель”. В общей сложности я послал в Центральный Комитет писем двадцать. Я, в частности, предупредил, что Охранное знает о готовящемся покушении на министра внутренних дел.

ГЛЕБ: Помню.

СЕРОВ: Но я предупреждал все время Центральный Комитет не о *провокаторе*, а о *провокации*, потому что имени провокатора я не знал. Все сношения с ним вел лично генерал Козлов. И только он один.

ГЛЕБ (*после раздумья, говорит, явно не доверяя Серову*): Господин Серов, все это так, и все это, как будто, очень интересно... Но я, простите, не понимаю одного, и это мое непонимание — не скрою от вас — не вселяет к вашему рассказу особого доверия.

СЕРОВ (*совершенно спокойно*): Чего же вы не понимаете? Может быть, я сумею рассеять это непонимание?

ГЛЕБ: Я не понимаю того, что вы, чиновник особых поручений Охранного Отделения, приехали сейчас сюда, в Париж, ко мне — революционеру, члену Центрального Комитета, за которым Охранное ведет слежку и за границей... Так?

СЕРОВ: Так!

ГЛЕБ: Но разве этот ваш визит ко мне не скомпрометирует вас по вашему возвращении в Петербург? Мне кажется, что это чересчур уж какая-то рискованная “месть”!

СЕРОВ (*спокойно, улыбаясь*): Но ведь я же здесь у вас, так сказать, с официальной миссией...

ГЛЕБ (*раздраженно*): Что это значит “официальная миссия”?

СЕРОВ: Извольте, я объясню. Генерал Козлов послал меня именно к вам — к товарищу Глебу! — чтобы сообщить вам о самом главном провокаторе среди террористов...

ГЛЕБ (*еще более раздраженно*): Господин Серов, я таких шуток не люблю!

СЕРОВ: В том-то и дело, что это — не шутка. Генерал Козлов прекрасно знает, что именно вы подозреваете одного члена Центрального Комитета в провокации и вот уже больше двух лет ведете о нем кропотливое расследование. Этот человек, которого вы подозреваете, действительно, — главный сотрудник генерала. И для того, чтобы предотвратить его провал, генерал вызвал меня к себе и предложил следующее. Я должен сделать вид, что я будто бы перекинулся к революционерам и, узнав имя главного провокатора, бежал в Париж, чтобы сообщить об этом провокаторе вам и передать вам, то-есть Центральному Комитету, документы, якобы доказывающие предательство этого революционера. Эти документы у меня. Но генерал не знает двух вещей: во-первых, что из Парижа я в Россию уже не вернусь, и, во-вторых, что я захватил с собой из Охранного несколько очень ценных для Центрального Комитета документов... *подлинного* провокатора...

ГЛЕБ: Все это у вас?

СЕРОВ: Разумеется. И я вам все передам. Кстати, я даже в Париже не остановился в том отеле, который мне рекомендовал генерал. У него ведь и во Франции работает своя франко-русская агентура... Вы это, конечно, хорошо знаете... Так вот, как я сказал, генерал поручил мне посетить вас в Париже и сообщить вам о члене вашей партии, который, якобы, провокатор.

ГЛЕБ: Кого же поручил вам называть генерал?

СЕРОВ: Мне было сказано только имя. Это — товарищ Виктор. Но я подчеркиваю, что это — ложь, это диверсия генерала Козлова, чтобы покрыть своего настоящего сотрудника.

ГЛЕБ (*с усмешкой*): Хитро придумано. Признаюсь, одно время я и сам подозревал Виктора, после его побега из-под ареста.

СЕРОВ: Об этом побеге я знаю. Он был специально подстроен полицией, чтобы набросить на этого человека подозрение в глазах революционеров.

ГЛЕБ: Так именно я это и понял.

СЕРОВ: Но позвольте, я сначала передам вам все эти до-

кументы. (*Достает из внутреннего кармана пиджака документы и передает их Глебу*). Вот это — сфабрикованные в Охранном документы. А это — донесения настоящего провокатора. Собственноручные. Я их выкрал из архива генерала. Это и есть моя месть им.

Глеб читает донесения провокатора. Он явно потрясен — он узнал почерк. Старается себя сдержать, и все-таки с большим волнением спрашивает.

ГЛЕБ: А что же вы знаете об этом настоящем провокаторе?

СЕРОВ: Очень мало. Знаю только его кличку, под которой он у нас... (*с замешательством*) в Охранном... работает.

ГЛЕБ: Какая его кличка?

СЕРОВ: “Плантатор”.

ГЛЕБ (*тихо повторяет*): “Плантатор”. И это все, что вы о нем знаете?

СЕРОВ: Не совсем. Я его раз видел, правда, мельком, но внешность его запомнил.

ГЛЕБ: Где же вы его видели?

СЕРОВ: На конспиративной квартире генерала Козлова. 14 ноября, когда генерал вызвал меня туда, чтобы изложить свой парижский план, я приехал случайно несколько раньше назначенного часа. И когда входил в квартиру, то в дверях столкнулся с каким-то человеком, который как раз выходил. И он поразил меня своей уродливой внешностью.

ГЛЕБ (*взволнованно*): Опишите его.

СЕРОВ: Он был в темных очках, в низко надетой шляпе, в черном пальто с поднятым воротником. Но я резко запомнил: темная борода, широкое лицо и красные толстые губы. У меня тогда же мелькнуло: это “Плантатор”!

ГЛЕБ (*взволнованно*): Какого он роста?

СЕРОВ: Рост — средний. Плотный, полный человек.

Глеб быстро подходит к письменному столу, роется в ящике, вынимает групповую фотографию и подает ее Серову.

ГЛЕБ: Вы можете найти его на этой фотографии?

СЕРОВ (*рассматривая фотографию*): Могу, конечно. Вот он, третий слева. Это несомненно он!

ГЛЕБ (*потрясенный, глухо, как бы про себя*): ...Значит я все-таки был прав...

СЕРОВ: Кто он такой?

ГЛЕБ: Кто?... Это — начальник Боевой Организации!...

З а н а в е с

А К Т Т Р Е Т И Й

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Та же комната в парижской квартире Глеба, приготовленная для партийного заседания. Большой стол — поперек сцены, справа и слева стулья. В стороне — небольшой стол, за которым сидит Глеб, погруженный в чтение каких-то документов. Из открытого окна слабо долетает парижская уличная песенка под аккомпанимент гармонии. Входит Виктор. Он в пальто, в шляпе, правая рука в кармане. Молча смотрит на Глеба. Оторвавшись от чтения документов, Глеб глядит на него, как бы не узнавая.

ГЛЕБ: А, Виктор! Вы немного рано пришли. Заседание начнется только в семь.

Виктор молча глядит на Глеба.

ГЛЕБ (*улыбаясь*): Да выньте вы руку из кармана, всегда же успеете меня застрелить! Вы же убить меня пришли?

ВИКТОР (*глухо*): Да, убить.

ГЛЕБ: Ну вот, видите! Я этого давно жду. Вы что, от Ивана пришли? (*Пауза*). Значит, он все-таки приехал? Ну, этому я рад!

ВИКТОР: Вы рады? Вы рады погубить большого революционера, который десять лет ежедневно рисковал петлей? Почему? Чему вы рады?

ГЛЕБ: Потому, что я убежден, что Иван провокатор!

Пауза.

ГЛЕБ: Почему вы убили Макарова?

Виктор молчит.

ГЛЕБ: Потому что вас послал Иван? А он вас послал потому, что у Макарова были доказательства о провокаторстве Ивана! Убив Макарова, вы эти доказательства уничтожили!

Виктор молчит.

ГЛЕБ: Жаль Макарова, честный был человек... И вас мне жаль. (*Пауза*) По-вашему, тот, кто обвиняет Ивана, должен быть убит без суда и следствия?

Виктор молчит.

ГЛЕБ (*с улыбкой*): Ну, мне то вы уж разрешите сегодня передать в ЦК все мои доказательства, а потом уж действуйте, как хотите...

Виктор, молча, садится на стул.

ГЛЕБ: Кстати, скажите, Виктор, вас самого не удивила та легкость, с какой вы бежали из-под ареста, когда вас на извозчике перевозили из тюрьмы в тюрьму? Или вы считаете нормальным, что арестованного террориста везут в тюрьму на извозчике в сопровождении одного — *одного единственного!* — жандарма? И по дороге этот жандарм *три раза* уходит куда-то по своим делам, оставляя арестованного?

ВИКТОР: Иван мне рассказал, как он подкупил этого жандарма!

ГЛЕБ: Ах, Боже мой, как это просто! Но неужто же вы так наивны, чтобы этому верить? Ведь этот жандарм на самом деле просто исполнял приказ начальника Охранного Отделения!

ВИКТОР: Что ж, может быть, тогда вы и меня подозреваете в связи с охранкой?

ГЛЕБ: Признаюсь, одно время тоже подозревал. Но быстро убедился, что вы только игрушка в руках Ивана, только игрушка, Виктор!

ВИКТОР: Так для чего же, по-вашему, меня освободили?

ГЛЕБ: А об этом вы услышите сегодня на заседании.

ВИКТОР (*как бы отмахиваясь от Глеба*): Послушайте, Глеб, это какой-то бред! Это какой-то кошмар...

ГЛЕБ (*спокойно*): Кошмар — да, но не бред. Вы нужны Ивану, как его ширма у революционеров. Вот зачем вы ему нужны! Он знает, что вы верите в него, как в Бога!

ВИКТОР (*кричит, в крайнем возбуждении*): Нет! Нет! Не верю ни одному вашему слову! Не хочу верить! Это ваш бред, бред! Не я игрушка в руках Ивана, а вы игрушка в руках Охранного!

ГЛЕБ (*спокойно*): Вы правы в одном, Виктор: вы *не хотите* верить — вот и все! Но сегодня на заседании ЦК и вы увидите с кем вы людей убивали.

Шум за кулисами. Входят человек 12 членов ЦК и боевиков. В центре Мария везет в медицинском кресле Евгения, рядом с ней Нил, пожилая женщина и старик с седой бородой. Боевики спускаются в зрительный зал, в первый ряд партера.

ЕВГЕНИЙ: Здравствуй, Глеб! Здравствуйте, Виктор!

ГЛЕБ: Здравствуй, Евгений, ты знаешь, что Иван приехал?

ЕВГЕНИЙ: Да, да, я его видел, он придет на заседание.

НИЛ: Ну, берегись, Глеб... Иван рвет и мечет...

Шум общего разговора. Президиум размещается за столом: Евгений, пожилая женщина и старик с седой бородой садятся в центре — это президиум. Мария на углу стола занимает место секретаря, вынимает бумагу, карандаши, чтоб вести протокол. Нил и Виктор садятся с левой стороны сцены на стульях. Глеб занимает место за своим небольшим столом.

ЕВГЕНИЙ (*стучит карандашом, обращаясь к публике*): Товарищи, мы здóрово запоздали, это я виноват, простите... Давайте перейдем к делу...

ГЛЕБ (*Евгению*): А разве мы не будем ждать Ивана?

ЕВГЕНИЙ: Нет. Ведь обвинение против тебя, а не против него. Иван сказал, что запоздает и просил его не дожидаться.

Глеб согласно кивает головой.

ЕВГЕНИЙ: Итак, разрешите считать заседание членов ЦК и представителей Боевой Организации открытым. Как вы знаете, предметом нашего заседания является обвинение товарища Глеба в распространении клеветнических сведений о члене ЦК товарище Иване. Это обвинение представлено в ЦК за подписями члена ЦК товарища Нила и члена Боевой Организации товарища Виктора.

Наступает тишина.

ЕВГЕНИЙ (*посоветовавшись с членами президиума*): Товарищи, но прежде чем мы приступим к разбирательству, я хотел бы задать Глебу предварительный вопрос. (*Пауза. Говорит, обращаясь к Глебу*). Глеб, даешь ли ты честное слово революционера прекратить всякую клеветническую кампанию против товарища Ивана, если это заседание ЦК и боевиков признает твои обвинения лишенными основания и тем самым выявит клевету?

ГЛЕБ (*встает, снимает очки*): Если это заседание признает мои обвинения недоказанными, а я останусь при прежнем убеждении, что Иван предатель, я буду продолжать с ним борьбу. (*Садится*).

Члены президиума переговариваются.

ЕВГЕНИЙ: В этом случае партия будет считать себя вправе принять в отношении тебя любые меры. (*К Марии*) Занеси все сказанное в протокол...

ВИКТОР (*быстро встает с места*): Товарищ Евгений, разрешите и мне задать вопрос товарищу Глебу.

ЕВГЕНИЙ: Пожалуйста, Виктор.

ВИКТОР (*Глебу*): Товарищ Глеб, предположим на минуту самое невероятное, что вы в своем обвинении Ивана правы. Так что же в таком случае, по-вашему, могло привести такого большого человека и революционера, как Иван, к этому страшному преступлению? (*С насмешкой*). Его тайная преданность престолу? Или, быть может, это какой-то инфернальный садизм? (*Смеется*).

ГЛЕБ (*встает, говорит спокойно*): Я думаю, конечно, ни то и ни другое. Причина предательства гораздо проще, это: — деньги!

ВИКТОР (*в предельном негодовании бросается к Глебу, выхватывая из кармана револьвер*): Это подлость!...

Всеобщее возбуждение. Все вскакивают с мест. Нил хватается Виктора за руку и ведет назад к стулу.

НИЛ: Вы с ума сошли..

ЕВГЕНИЙ (*крайне раздраженно*): Товарищ Виктор! Как председатель заседания предупреждаю вас, если вы будете вести себя в подобном недопустимом стиле, я не только лишу вас слова, но и удалю из заседания!

ВИКТОР (*подавленный*): Прошу извинения у всех товарищей...

ЕВГЕНИЙ: Слово предоставляется товарищу Нилу.

НИЛ (*встает*): Товарищи, я вообще был против какого-то бы ни было разбирательства... Но сегодня, из-за непримиримой позиции товарища Глеба, разбирательство началось. И я буду говорить об Иване, как революционере и террористе. (*Пауза*). Разрешите же мне, товарищи, сделать сначала просто сухой перечень главных дел, проведенных Иваном, которые подняли нашу партию на небывалую высоту и приблизили наступление революции. Вы знаете, что Иван был не только инициатором, но и организатором массовой террористической борьбы. Но в то же время он вел и общепартийную работу: он поставил в России 23 нелегальных типографии. Он открыл все границы — от Кенигсберга до Ясс — для переброски из-заграницы нашей нелегальной литературы. Как начальник террора он поставил в России 18 динамитных мастерских, он убил министра внутренних дел, он убил московского генерал-губернатора, он ставил покушение

на начальника Охранного Отделения в Петербурге и на заведующего политическим розыском в Киеве, он убил уфимского и курского губернаторов, он покушался на премьер-министра и, наконец, совсем недавно он готовил удар самодержавию в самый "центр центров" — он готовил акт царевубийства...

Дверь открывается, входит Иван. Общее движение. Кое-кто из боевиков ему аплодируют. Евгений знаком останавливает их. Члены ЦК и боевики приветствуют Ивана жестами. Иван ответно кланяется с улыбкой. Виктор кивает ему. Иван садится рядом с Виктором, что-то шепчет ему и кладет ему руку на плечо.

НИЛ (*продолжает*): Я не могу привести здесь полный перечень всех славных дел, проведенных товарищем Иваном. Да о них хорошо знают и Центральный Комитет и боевики. Но я думаю, что и этого достаточно, чтобы видеть какая низкая и ужасная клевета возводится на большого, быть может, на великого революционера, приведшего партию к революционной славе и к большому влиянию на судьбу всей страны. (*Нил поворачивается к Глебу*). И вот вместо необоснованных обвинений, пятнающих имя великого революционера и вносящих страшную дезорганизацию в партию, вместо всех нелепых обвинений я призываю тебя, Глеб, ответить на такой вопрос: есть ли в истории русского революционного движения, да и в революционном движении всех стран, более блестящее имя революционера, чем имя товарища Ивана?!

Общее сочувственное движение, члены президиума переговариваются.

ЕВГЕНИЙ: Ты хочешь ответить, Глеб?

ГЛЕБ: Да, хочу. (*Встает, снимает очки, говорит с усмешкой*) Товарищ Нил, это не мое дело определять здесь величие того или другого революционера. Но чем революционер больше — тем страшнее и его предательство. Я же убежден, что Иван — тайный агент полиции. (*Садится*).

Общее возмущение, некоторые вскакивают с мест, из публики возбужденный говор. Виктор резко встает, кричит.

ВИКТОР: Я прошу слова.

ЕВГЕНИЙ (*стучит по столу, кричит*): Призываю всех к спокойствию! Слово товарища Виктора!

ВИКТОР (*стоит крайне взволнованный, после паузы начинает медленно*): Товарищи, я друг Ивана и может быть моя

дружба с ним крепче отношений всех остальных товарищей потому, что эта дружба спаяна кровью. *(Пауза)*. Ни день и ни год я вел террористическую борьбу вместе с Иваном. Четыре года мы шли сквозь кровь, убивая врагов революции, и теряя на этом пути любимых и близких товарищей. И вот моему лучшему другу, бесстрашному террористу, гениальному организатору, начальнику Боевой, брошено позорное и грязное обвинение в предательстве. Я рассматриваю это обвинение Ивана, как обвинение всех нас, боевиков. Потому что, если Иван предатель, то и мы все предатели!... *(Садится)*.

Общие аплодисменты.

ИВАН *(с места, подняв руку)*: Прошу слова!

ЕВГЕНИЙ: Пожалуйста, Иван!

ИВАН: Товарищи, пятнадцать лет я состою в партии, десять лет я — начальник террора. Я считаю ниже моего достоинства, чтоб я опровергал какие-то обвинения, выставленные Глебом. Это — дело этого заседания. Но, как старый член партии, я считаю своим долгом высказать и мои собственные соображения о провокаторе, который, по мнению нашего партийного Шерлока Холмса, будто бы находится среди нас. По-моему, существование подобного провокатора — чистейший миф! Конечно, провокаторы есть и будут, но это всегда мелочь, затесавшаяся в нашу партию. Но вот теперь Глеб изобрел какого-то “центрального” провокатора. Он назвал меня. Откуда же, спрашивается, родилась у него такая гениальная идея? Очень просто, товарищи! Эта идея была придумана тайной полицией и подброшена Глебу. После последнего нашего покушения, после попытки царевубийства, Охранное явно решило нанести смертельный удар нашему террору. И лучший способ добиться этого — это разложить нашу Боевую Организацию и партию изнутри. Вот здесь Глеб и попался на удочку Охранного. Только тайная полиция могла его снабдить фальшивыми, сфабрикованными “доказательствами” против меня. *(Пауза)*. И вот — сознательно или бессознательно (этого я уж не знаю) — Глеб выполняет, по-моему, задание Охранного Отделения.

Общее сочувственное движение. Один только Глеб сидит совершенно спокойно.

ИВАН *(продолжает)*: Товарищи, скажу откровенно, я пересилил себя, чтобы притти на это разбирательство. Но я пришел потому, что дело ведь тут не только во мне, а во всей партии.

Поэтому я и пришел. Я не знаю, как поступите вы, но я бы раз навсегда положил конец этой грязной кампании и вернул бы Глебу все его, так называемые, “обвинения”, сказав: если хочешь купаться в грязи — купайся сам, но оставь нас продолжать наш террор и борьбу за свободу России! (*Садится, отирая платком лицо*).

Общие дружные аплодисменты всех кроме Глеба.

ЕВГЕНИЙ: Товарищи! Я вполне сочувствую выступлениям товарищей Нила, Виктора и Ивана, но мы все-таки обязаны выслушать и товарища Глеба. Предоставляю ему слово.

Глеб встает, раскладывает перед собой какие-то бумаги, снимает очки, начинает говорить.

ГЛЕБ: Товарищи! Всем вам известно мое отношение к политике террора. Я всегда считал и считаю, что террор это мера вредная. Потому что террор сам собой превращается в какое-то профессиональное убийство, прикрытое революционным лозунгом. Моральные устои у людей, участвующих в терроре, часто подтачиваются, их человеческие чувства притупляются и террористы...

ЕВГЕНИЙ (*раздраженно стучит карандашом по столу и недовольно перебивает*): Товарищ Глеб! Мы собрались здесь вовсе не для того, чтобы выслушивать твое мнение о терроре. Товарищи тебя обвиняют в распространении клеветы об Иване. Хочешь ты сказать что-нибудь в свое оправдание?

ГЛЕБ: Прошу прощения, товарищ Евгений. Я буду говорить короче... (*Пауза*). Товарищи, я убежден, что провокация, это главное оружие полицейского строя в России в борьбе с революционным движением. И вот уже давно, года два тому назад, я убедился, что в рядах нашей партии есть провокатор, близко стоящий к Центральному Комитету. В течение этих лет я посвящал все мои силы тому, чтобы раскрыть этого провокатора. Но из-за многих причин, часто чисто психологических, дело это было чрезвычайно трудное. И тем не менее теперь я могу сказать, что этот провокатор мной обнаружен... (*Пауза*). Я не буду рассказывать, сколько мне пришлось положить труда, чтобы систематизировать все относящееся к этому провокатору. Но под конец — сейчас — случай помог мне окончательно и документально установить, что этим провокатором, отправившим на виселицу сотни революционеров, — является начальник Боевой Организации товарищ Иван.

Шум в заседании, резкие выкрики с мест.

НИЛ (*возмущенно кричит*): Ты сам тогда — провокатор!

ГЛЕБ (*спокойно*): Товарищ председатель, разрешите мне задать несколько вопросов Ивану.

Члены президиума совещаются, смотрят на Ивана, который сидит рядом с Виктором совершенно спокойно.

ЕВГЕНИЙ: Ты можешь задать вопросы, Глеб.

ГЛЕБ. Благодарю. (*К Ивану*) Товарищ Иван! Известна ли вам фамилия Гофмана? Курта Гофмана?

ИВАН: Понятия не имею. Кто это такой?

ГЛЕБ: Курт Гофман — биржевой маклер, через которого вы оперируете на бирже.

Пауза.

ИВАН: Какой абсурд! Я никогда в жизни не играл на бирже! Центральный Комитет хорошо знает мой бюджет.

ГЛЕБ (*показывая какую-то бумагу*): Это письмо маклера Курта Гофмана, подтверждающее ваши транзакции на бирже.

ИВАН (*усмехаясь*): Вы, видимо, спутали меня с каким-то миллионером!

ГЛЕБ (*берет еще один документ*): На вашем текущем счету в Вюртембергском банке, в Германии, лежит сейчас двести тридцать семь тысяч четыреста пятнадцать марок и два пфенига!

ИВАН (*возмущенно и как бы со смирением*): Какая фантастика!... Какая чушь!... (*Евгению*) Товарищ Евгений, неужели я должен выслушивать все эти бредни сумасшедшего?!

ЕВГЕНИЙ (*несколько смущенно*): Ты вправе отказываться отвечать, Иван.

Пауза.

ГЛЕБ: Скажите, Иван, где вы были 14 ноября?

ИВАН: То-есть, как это — где я был?

ГЛЕБ: Да вот именно: — где вы были? В Германии, в России, во Франции? Где именно?

ИВАН: 14 ноября? (*как бы припоминая*)... 14 ноября я был в Берлине.

ГЛЕБ: В каком отеле вы останавливались?

ИВАН (*небрежно*): Как всегда — в Фюрстенхоф.

ГЛЕБ (*показывая какую-то бумажку*): По сведениям из отеля Фюрстенхоф, 14 ноября — и вообще в течение всего ноября — вы не останавливались в этом отеле.

Пауза.

ИВАН: Одну секунду. Да, верно... я ошибся — я тогда жил на частной квартире.

ГЛЕБ: Где именно?

ИВАН (*грубо*): А какое вам дело, где?

ГЛЕБ: По моим сведениям, вы вообще не были в Берлине в ноябре.

ИВАН: Я был! И я вам скажу, где... у одной дамы... я не могу назвать ее фамилию, я не хочу ее компрометировать... Она живет на Кантштрассе в доме № 22.

ГЛЕБ: На Кантштрассе в доме № 22 живет ваша любовница, бывшая содержательница публичного дома в Петербурге. Она показала, что вы не были в Берлине 14 ноября.

Пауза. Все удивленно смотрят на Ивана. Он явно растерян, но старается этого не показать.

ГЛЕБ: Иван, 14 ноября вы не были в Берлине. Ни 14-го, ни 15-го, ни в течение всего месяца. 14 ноября вы были в Петербурге!

ИВАН: Ничего подобного! Я был в Берлине! Это — ложь ваших осведомителей!

ЕВГЕНИЙ (*Глебу*): На чем основано твое утверждение, что Иван был 14 ноября в Петербурге?

ГЛЕБ (*спокойно*): У меня есть свидетель. Товарищ Семен (*обращается к одному из боевиков*), повторите, пожалуйста, то, что вы мне говорили.

СЕМЕН (*встает из первого ряда*): Действительно, я говорил товарищу Глебу, что 14 ноября вечером я видел на Варшавском вокзале, как товарищ Иван входил в вагон 1-го класса. Я ехал с этим же поездом, поэтому и день — 14 ноября — помню точно. Но я ехал во 2-м классе.

ЕВГЕНИЙ: Вы уверены, что это был действительно товарищ Иван? Вы не могли ошибиться?

СЕМЕН: Нет, никак не мог. (*Улыбаясь*) Слава Богу, знаю товарища Ивана восьмой год. (*Садится*).

Общее тяжелое молчание.

ИВАН: Какая ерунда! 14-го я был в Берлине и могу представить свидетелей!

ГЛЕБ: А я вам больше скажу, Иван! 14 ноября в 3 часа дня вы были в Петербурге на конспиративной квартире начальника Охранного Отделения! Вы работаете в Охранном под кличкой "Плантатор"!

Все поражены. Члены президиума переглядываются, перешептываются.

ИВАН (злобно): Вас надо отправить немедленно в сумасшедший дом!

ЕВГЕНИЙ (потрясенный): Глеб, ты понимаешь, что ты говоришь?

ГЛЕБ (спокойно): Прекрасно понимаю. И у меня есть свидетель, который может это подтвердить. Он передал мне для Центрального Комитета собственноручные донесения провокатора — “Плантатора”, а кроме того сфабрикованные Охранным фальшивки, что якобы провокатор в нашей партии не “Плантатор”, а... (Глеб делает паузу, глядя на Виктора) товарищ Виктор. (Виктор потрясен, странно смотрит то на Глеба, то на Ивана)... Но свидетель предупреждает, что документы о Викторе фальшивые и сфабрикованы только для того, чтобы отвести подозрения от “Плантатора”. А “Плантатор” это — Иван!... И вот я передаю все эти документы председателю Центрального Комитета. (Глеб подходит к Евгению, передает ему документы, идет на свое место, садится. Берёт очки, протирает их носовым платком).

Евгений берет документы, рассматривает их вместе с другими членами президиума. В комнате страшная тишина. Наконец Евгений, оторвавшись от документов, говорит взволнованно:

ЕВГЕНИЙ: Кто твой свидетель, Глеб? Назови его!

ГЛЕБ (встает): Сейчас, я его вызову.

Глеб быстро уходит в соседнюю комнату. Общее напряженное молчание. Глеб входит вместе с Серовым. Они останавливаются у стола Глеба. Серов пристально разглядывает Ивана.

ГЛЕБ (обращаясь к Евгению, указывая на Серова): Это — господин Серов. Он может подтвердить, что 14 ноября видел Ивана на конспиративной квартире генерала Козлова.

ЕВГЕНИЙ (к Серову): Господин Серов, кто вы? И почему вы сами были на конспиративной квартире генерала Козлова?

СЕРОВ: До недавнего времени я был чиновником особых поручений при генерале Козлове. Три года я предупреждал вашу партию о провокации письмами за подписью “Доброжелатель”. Сейчас я порвал с Охранным навсегда и передал вашему товарищу Глебу — для Центрального Комитета подлинники донесе-

ний “Плантатора” и фальшивку Охранного о неизвестном мне “товарище Викторе”.

ЕВГЕНИЙ: Вы утверждаете, что 14 ноября вы видели товарища Ивана на конспиративной квартире генерала Козлова?

СЕРОВ: Я не знаю никакого “товарища Ивана” я знаю “Плантатора”, “подметку”....

ЕВГЕНИЙ (*перебывает*): Что это значит “подметка”?

СЕРОВ (*с улыбкой*): На розыском языке “подметка”, это — секретный сотрудник. 14 ноября на конспиративной квартире генерала Козлова я видел секретного сотрудника — “Плантатора”.

ЕВГЕНИЙ: Вы его можете опознать?

СЕРОВ: Конечно, могу. (*Поворачивается к Ивану и указывает на него*)... Вот он!

ИВАН (*при этих словах Серова взрывается, вскакивает, кричит*): Ну, это уж слишком! Я не желаю больше присутствовать при всей этой гнусной провокации! (*Быстро идет к выходу. Но Виктор бросается и хватается за руку*).

ВИКТОР: Иван! Ты не можешь сейчас уйти!

Нил и другие чекисты преграждают Ивану путь.

ЕВГЕНИЙ: Товарищ Иван, я считаю, что сейчас покинуть заседание не в твоих интересах. Я прошу тебя остаться.

Иван возвращается на место, лицо его злобно, искажено.

ЕВГЕНИЙ (*Серову, держа в руках пачку писем “Плантатора”*): Вы действительно передали товарищу Глебу эти донесения “Плантатора”?

СЕРОВ: Да, передал.

ЕВГЕНИЙ: Можете сказать, откуда вы их получили и при каких обстоятельствах?

СЕРОВ: Конечно, могу. Эти письма я выкрал из архива генерала Козлова. А при каких обстоятельствах? 14 ноября на конспиративной квартире генерал дал мне поручение — немедленно ехать в Париж...

ЕВГЕНИЙ (*перебывает*): Зачем?

СЕРОВ: Затем, чтобы фальшивыми документами о “товарище Викторе” спасти главного осведомителя генерала от разоблачения.

ЕВГЕНИЙ: Понимаю... (*После паузы*) Что ж вы, передав

нам эти документы, переходите в лагерь революции?

СЕРОВ (*с усмешкой*): В лагерь революции?... Нет... мне переходить уже поздно... Я просто порвал с Охранным и никогда не вернусь в Россию...

Евгений переговаривается с членами президиума. В комнате молчание.

ЕВГЕНИЙ: Товарищи, есть у кого-нибудь вопросы к господину Серову?

Молчание. Общая подавленность.

ЕВГЕНИЙ: Господин Серов, больше вопросов к вам нет. Вы свободны. Благодарю вас.

Серов полукланяется, уходит. Все взгляды устремлены на Ивана. Он остается неподвижен, с той же злобной усмешкой.

ЕВГЕНИЙ (*взволнованно*): Иван, ты можешь опровергнуть показания Серова. Я предоставляю тебе слово.

ИВАН (*медленно поднимается, говорит глухо*): Нет... Мне не в чем оправдываться... С тайной полицией в составлении фальшивых документов я конкурировать не могу... А вы, оказывается — хороши товарищи! — больше верите полицейским чиновникам, чем мне... (*Пауза*). Ну, что ж Охранное добилося своей цели — нанесло смертельный удар нашей партии. Я — член ЦК и начальник Боевой оказываюсь... провокатором... (*Усмехается. Пауза. Вдруг — с нарастающим волнением*) Товарищи!... десять лет страшной, ответственной работы в терроре... десять лет я ходил под угрозой виселицы... И вот в один день все это послано к черту... какой-то подлой полицейской интригой... Товарищи, поймите (*с дрожью в голосе*), ведь это же ужасно!... Что же выставляется против меня? Подложные документы, мания Глеба, видящего повсюду провокаторов и показания охранника... И это все... В отплату за то, что я сделал для партии и революции за пятнадцать лет... (*Пауза. С еще большим волнением*) Евгений, Нил, мы жили душа в душу десятков лет, вы меня знаете так же хорошо, как я вас... Как же вы можете допустить все эти гнусные подозрения, все это разбирательство?... (*Почти со слезами в голосе*) Господи, что же это такое?!... У меня даже сейчас нет сил разбираться во всей этой грязи... (*Пауза*)... Но знайте заранее, товарищи, если вы мне не дадите время, чтоб я мог полностью опровергнуть все эти полицейские интриги, и только на основании того, что я здесь слышал и видел, вынесите мне обвинительный приговор, — я, ста-

рый террорист, верный член партии в течение 15 лет, я жить уже больше не смогу... *(Почти с плачем)*... Мне будет не для чего жить и я лучше пушу себе пулю в лоб... *(Садится, отирая платком пот с лица)*.

ВИКТОР *(Ивану)*: Это все, что ты можешь сказать?

Иван не отвечает ему и не смотрит на него. Члены президиума тихо совещаются.

ЕВГЕНИЙ: Иван! Президиум признает обоснованными обвинения, выставленные Глебом. Но мы даем тебе 24 часа для их опровержения. При чем ЦК запрещает тебе до окончательного нашего решения выезжать из Парижа. Если на следующем заседании ты не убедишь нас в твоей невинности, Центральный Комитет будет вынужден признать доказательства товарища Глеба правильными и принять соответствующие меры. Завтра в семь часов тебе будет предоставлено слово для опровержения выдвинутых против тебя обвинений.

В жертвой тишины, не глядя ни на кого, Иван встает и быстро уходит. Как только он вышел, поднимается невероятный шум. Все вскочили с мест, крики. Особенно возбуждены молодые боевики.

ПЕРВЫЙ БОЕВИК: Его надо убить, как гадину, здесь же, на месте! А вы его отпускаете!

ВТОРОЙ БОЕВИК: Он послал на виселицу сотни товарищей!

НИЛ: Но он должен же получить возможность оправдаться!?

ТРЕТИЙ БОЕВИК: Да он же уличен одними своими письмами!

Виктор до крайности возбужденный, берет шляпу и быстро идет к выходной двери.

ГЛЕБ: Виктор, куда?!... Остановите его... Он хочет убить Ивана!...

Нил и другие преграждают Виктору путь.

ГЛЕБ *(возмущенно, Виктору)*: Вы не имеете права! Только ЦК может вынести приговор! И завтра он его вынесет!

ВИКТОР *(глухо)*: Но он же уйдет! *(Потрясенный садится на свое место)*.

ЕВГЕНИЙ *(стучит по столу, кричит почти умоляюще)*: Товарищи! Вниманье! Вниманье!

Крики понемногу стихают.

ЕВГЕНИЙ: Президиум считает, что за отелем Ивана на 24

часа надо установить наблюдение. Предлагаю товарищей Николая и Михаила. Согласны?

ГОЛОСА: Согласны... Согласны...

Николай и Михаил встают из пубрики, идут.

НИКОЛАЙ (*Евгению, находу*): А где он живет?

ЕВГЕНИЙ: Да тут, недалеко, отель "Кок д'Ор".

МИХАИЛ: Я знаю, пойдем...

Оба уходят. В комнате продолжают те же возбужденные споры и крики.

ГОЛОСА: При таких уликах убивают! Сколько товарищей погибло! (*Мария рыдает*). Но разве на основании... Макарова убили без оснований!..

ЕВГЕНИЙ: Товарищи! Призываю к порядку! Заседание продолжается! Слово товарища Нила! Прошу занять места! Нил — твое слово...

Тишина восстанавливается с трудом. Нил стоит взволнованный, ждет общего успокоения, чтоб начать говорить.

НИЛ: Товарищи, мы присутствуем при страшной трагедии нашей партии. После этих писем Ивана (*трясет ими в воздухе*) у нас не может быть никаких сомнений в том, что долголетний начальник нашей Боевой, руководитель террора, Иван был в то же время предателем и агентом полиции... Товарищи, мне это страшно выговорить... И еще страшнее пережить... (*Пауза*) Но мы должны это пережить... во имя революции, которой мы отдаем наши жизни...

ГОЛОС БОЕВИКА (*возбужденно*): Что это значит?

ЕВГЕНИЙ: Прошу не перебивать!

НИЛ: А я объясню вам, дорогой товарищ, что это значит. Это значит, что все мы, несмотря на страшный психологический шок, не должны поддаваться эмоциям... пусть даже вполне законным. Как люди, всецело отдавшие себя революции, мы должны всё приносить ей в жертву, всё — только для торжества революции...

ГЛЕБ (*с места*): Что ты предлагаешь, Нил? Непонятно.

НИЛ: Что я предлагаю? Я предлагаю не выносить на улицу трагедию нашей партии... вот что я предлагаю! Товарищи, представьте себе только, что произойдет, если вся эта страшная история попадет в печать?! Ведь это же будет подано, как сенсация во всем мире! Вождь революционеров — агент полиции!... Вы представляете себе — результаты?... Наша партия рухнет... от

нее отшатнутся массы... этим воспользуются наши враги... вы представляете размеры такой катастрофы для партии?!

ПЕРВЫЙ БОЕВИК *(с насмешкой)*: Так что ж, отпустить его с миром? Это вы предлагаете?

НИЛ: Нет, этого я не предлагаю. Я знаю Ивана 15 лет. И я уверен, что после постановления ЦК о признании его провокаторства он завтра же действительно пустит себе пулю в лоб. А мы передадим Боевую — товарищу Виктору.

ВТОРОЙ БОЕВИК: Двести тысяч в банке и пуля в лоб — плохо вяжутся.

НИЛ: Нет, я лучше всех вас знаю Ивана и в таком его конце совершенно уверен. Он этого не переживет. И это будет лучший выход — для партии. По крайней мере вся эта страшная наша трагедия не попадет в печать, и партия не будет погублена. А если я в своем предположении о самоубийстве Ивана ошибаюсь, тогда...

В комнату вбегают взволнованные Николай и Михаил.

НИКОЛАЙ *(с трудом переводя дыхание, кричит с отчаянием)*: Товарищи!... он бежал... Иван скрылся!...

ЕВГЕНИЙ *(пораженно, недоуменно)*: Как бежал?...

МИХАИЛ: Не успели мы еще дойти до его отеля, как видим: Иван с чемоданом почти выбежал из отеля, сел в автомобиль и скрылся. Мы бросились в отель, нам сказали, что уехал, не оставив адреса!

Все совершенно растеряны. Молчанье. Раздается смех Виктора. Все оборачиваются к нему. Виктор хохочет все сильнее жутким, истерическим хохотом.

З а н а в е с

Роман Гуль и Виктор Тривас

О, Планида-Судьба, поминдальничай
Полимонничай, поапельсинничай,
Чтоб душа пожила не страдалицей,
Пожила бы душа именинницей,

Баловницей, царицей, капризницей!
Захотелось душонке понежиться —
Потому что еще мы не при смерти,
Далеко до зубовного скрежета.

Сокруши-ка, Судьба, врата адовы,
Улыбнись ты, Дурёха Ивановна,
Чтобы райской невиданной радости
Было море кругом разливанное!

2

Не муравьино, а соловьино,
Блаженной дурью Арлекина.
Уже голубка Коломбина
Слетает с облака голубого.

Над Атлантическим океаном
Летит играя мандолина,
И дочь хозяина балагана
Тебя мечтает осчастливить.

И желтый клоун в небе катит
Большое колесо Фортуны
И нежная ручка обезьяны
Блаженство вынула из урны.

Быть может — так, быть может — иначе,
Не знаешь сам, что звуки значат,
Но солнце ловишь ты, как мячик,
Как персик мягко золотистый.

СТИХИ

3

И луковица — жемчужина,
И финик — темный янтарь.
Собор — как жесткое кружево,
Дырявый, древний стихарь.

Акула в томатном соусе —
Коралл и мрамор, смотри!
И кружка пива, по совести,
Топазовая внутри.

И взяв рыбешку копченую,
Что золота золотей,
Пошел к святому Антонию
Какой-то рыжий Антей.

Ну да — хотелось бессмертия,
И я запомнил навек
Трактир, собор, и безветрие,
И море, и вечер, и свет.

4

А я повидал бы жемчужно-блаженное царство,
Алмазный оазис в лазурном дыханье фонтана,
Сапфирную розу в тени голубого анчара.

Змеиную тень у гробницы Омара Хайяма,
Кристалл изумруда на мертвой руке богдыхана,
Пятно скарабея на мертвой руке фараона.

Колючую тень скорпиона над мальчиком сонным
И лунный дворец над огромным скалистым обрывом,
И темную змейку на темной груди Клеопатры.

Игорь Чиннов

СИРИУС

Александра Федоровна была уверена, что кто-то настойчиво клонит к войне. Подозревала Николая Николаевича, «черных женщин», Сазонова, Янушкевича. Ей давно говорили, что Сазонов масон, связан с английскими и французскими ложами. От графа Фредерикса узнала, что он все время спрашивает, почему государь не подписывает ответной телеграммы королевичу-регенту.

— Ради Бога, граф, охраняйте государя от неосторожных обещаний. Он ничем не должен себя связывать.

Она потребовала, чтобы Николай реже принимал министров иностранных дел. Но в воскресенье вечером телеграмма была подписана. Она заверяла королевича, что если вопреки искреннему желанию царя избежать кровопролития, он в этом не успеет, то королевич может быть уверен — Россия не останется равнодушной к участи Сербии.

— Сам дьявол им помогает!

Запершись у себя царица плакала бессильными злыми слезами.

На другой день пришло известие, что сербы приняли главные условия австрийского ультиматума. Оставшиеся несколько пунктов совершенно ничтожны, никто не думает, чтобы венская

Из пяти отрывков «Сириуса», помещенных в «Н. Ж.», два первых относятся к начальным главам романа, а три последних — ближе к концу. Такой порядок публикации вызван был желанием отметить 50-летие революции 1917 г. путем напечатания отрывков, хронологически относящихся к 1917 г. Теперь восстанавливается прежняя последовательность и настоящая глава является продолжением напечатанной в кн. 67 «Н. Ж.» Все напечатанные отрывки «Сириуса» см. кн. 43, 67, 88, 90 и 91 «Н. Ж.» РЕД.

дипломатия покрыла себя позором, настаивая на их выполнении.

— Все уладится, ваше величество.

Фредерикс слушать не хотел, когда про германского посла в Петербурге говорили, будто он своим поведением вызывает всеобщую тревогу.

— Вовсе не всеобщую. Это в одном только министерстве иностранных дел... Германский посол прекрасный человек, он ничего злонамеренного не может сделать.

В министерстве тоже знали, что посол настроен мирно и боится войны, но как раз поэтому обратили внимание на появившуюся у него нервность в движениях, блуждающий взгляд и прерывистую речь. В приемной министерства, где он дожидался окончания разговора Сазонова с Бьюкененом, к нему подошел Палеолог.

— Ну как? Решились вы наконец успокоить вашего союзника? При создавшемся положении только вы одни в состоянии преподать Австрии совет мудрости.

— Но это здесь, в Петербурге, должны успокоиться и перестать возбуждать Сербию.

— Заверяю вас честью, что русское правительство совершенно спокойно и готово испробовать все способы примирения. Не требуйте только, чтобы оно позволило уничтожить Сербию. Такое требование для него невыполнимо.

— Мы не можем покинуть своего союзника, — пробормотал Пурталес.

Палеолога поразили его дрожащие руки, слезы на глазах и необычайное ожесточение, с которым он повторял:

— Мы не можем покинуть!... Мы не покинем своего союзника! Нет, никогда не покинем!...

Как только Бьюкенен вышел от Сазонова, Пурталес бурно устремился в кабинет, не поздоровавшись с английским коллегой.

— В каком он состоянии! — проговорил сэр Джордж.

Вошедший в зал австрийский посол тоже был бледен и на вопрос, может ли успокоить какими-нибудь новыми известиями из Вены, ответил: «Ничего нового. Машина крутится». Обычно

любезный в обращении граф Сапари на этот раз был замкнут и холоден. Палеолог предпочел уступить ему свою очередь и просидеть лишнюю четверть часа в приемной, дабы поговорить с Сазоновым после его беседы с венгерцем. Когда тот вышел, Сазонов встретил Палеолога словами:

— Впечатление очень мрачное. Теперь ясно, что Австрия отказывается разговаривать с нами и Германия подбивает ее на такое поведение. Ответ Сербии, конечно, будет признан неудовлетворительным.



Наибольшее спокойствие и выдержку проявили в эти дни в военном министерстве. Многие офицеры генерального штаба находились в отпуску, но их не вызывали в Петербург. Помощник начальника канцелярии генерал Лукомский несколько раз запрашивал телеграммой, не должен ли он вернуться к исполнению служебных обязанностей. Ему каждый раз отвечали, чтобы не прерывал отдыха.

Сам министр был мрачен, но не по причине международных осложнений. Он видел, как подлежащие его ведению дела решались, часто, без него. Догадывался о таинственной высокопоставленной руке, но должен был молчать.

Князь Андроников, объезжая петербургские салоны, являл насчет трудного положения военного министра ввиду перемещения главной опасности с австро-германской границы в Новую Знаменку.

Но в день объявления австрийцами войны Сербии, министр обрел прежнюю бодрость. Отправляясь с докладом в Петергоф, он рассчитывал вернуться полновластным главой военного ведомства. Он не допускал, чтобы мобилизация австрийской армии не повлекла за собой русской мобилизации. Государь не может не отдать приказа об этом сегодня же, а с этим приказом министр обретет прежнюю безраздельность власти. Его сегодняшний доклад будет историческим и он собирался начать его словами: —«Ваше величество, час настал!...»

Но прием в Петергофе был сух, император казался уста-

лым и почти не слушал. Отпустил не сказав ни слова о мобилизации.

Сухомлинов возвратился озадаченный.

Но только вошел он к себе в кабинет, как генерал Янушкевич доложил о высочайшем повелении мобилизовать Киевский, Московский, Казанский и Одесский военные округа.

— Я только что от государя и его величеству не было угодно дать мне приказ об этом. Вы, верно, получили его сейчас по телефону?

Смушенный Янушкевич пояснил, что приказ был передан через Сазонова несколько часов тому назад, сразу после отъезда в Петергоф военного министра. Тот стойко выдержал удар. Лицо его, сначала, как-бы подернулось паутиной и обвисло, но через минуту приняло прежний бравый вид.

— Ну что ж, Николай Николаевич, в добрый час! Благоволите сделать необходимые распоряжения.

На другой день, застав государыню еще в утреннем платье, Вырубова передала ей, что граф Ностиц собственными глазами видел, как рассылались телеграммы об объявлении мобилизации.

— Неужели Ники мог не сказать мне об этом?

Она поспешила к нему. Николай с виноватым видом стал разъяснять, что изготовление указов — еще не мобилизация. Каковы бы ни были подготовительные меры, без повеления главы государства ни одно колесо мобилизационной машины не двинется.

— Ники, Ники! — заплакала она, — я чувствую, как мы все ближе подвигаемся к пропасти.



В половине четвертого пополудни, в министерстве иностранных дел зазвонил телефон. Государь сообщил Сазонову о возвращении императора Вильгельма из путешествия и о готовности его взять на себя посредничество. Но кайзер ставит условием не способствовать обострению отношений с Австрией. Царь послал ему в ответ свое предложение — передать ав-

стро-сербский конфликт на рассмотрение гаагского трибунала.

Министр горячо это одобрил, но выразил сомнение в согласии кайзера.

— Почему вы так думаете?

— Потому, что слова германского императора мало согласуются с поручениями, которые он дает своему послу.

Сазонов рассказал о только что состоявшемся визите Пурталеса, прочитавшего ему телеграмму имперского канцлера Бетман-Гольвега. Канцлер предупреждал, что если Россия и не объявит мобилизацию, но будет продолжать военные приготовления, Германия все равно вынуждена будет мобилизоваться и в этом случае с ее стороны последует немедленное нападение.

По дыханию государя, слышному в телефон, можно было заключить об ошеломляющем действии этих слов.

— Ваше величество можете видеть, на какой успех могут рассчитывать в Берлине ваши усилия сохранить мир. Германия хочет, чтобы мы оставались как можно дольше безоружными, в то время, когда враги наши будут вооружаться.

Министр сообщил также о начавшейся бомбардировке австрийцами Белграда. Замешательство императора усилилось. Он говорил невнятно и, видимо, собирался с мыслями. Понадобилась длительная пауза, чтобы он смог обычным голосом произнести:

— Я вас прошу, Сергей Дмитриевич, безотлагательно переговорить с военным министром и начальником генерального штаба о нашей мобилизации.

А потом, поднявшись к себе, заходил по кабинету, лихорадочно куря папиросу за папиросой. Опять вышло не так. Бомбардировка Белграда... Телеграмма Бетман-Гольвега... Он сердился за нее не на канцлера, а на Сазонова.

— Точно с туза пошел!...

Но из табачного дыма, как из тумана прошлого, вставало печальное откровение: — всегда было так, все двадцать лет.

Его постоянно били козырями и постоянно побеждала чужая мысль, чужая воля.

Но что будет с Аликс?



Начались уличные манифестации. Как раз, когда Сазонов в сопровождении Базили отправился в помещение Главного Штаба, огромная толпа с пением «Спаси Господи люди твоя» подошла к Зимнему дворцу. В кабинет генерал-лейтенанта Янушкевича, где состоялась предписанная государем встреча, долетали «ура» и шум с площади. Совещание длилось недолго. По дворцовому телефону Сазонов позвонил в Петергоф и доложил о полном единодушии глав всех трех ведомств. Он сказал о нецелесообразности частичной мобилизации, способной дезорганизовать мобилизационную машину и внести хаос в общую мобилизацию.

Государь согласился. На вопрос, дает ли он соизволение на общую мобилизацию, твердо ответил: — Соизволю.

Сразу же отправили телеграммы русским послам в Париже и Лондоне; в Генеральном Штабе занялись приготовлением документов для рассылки в военные округа империи.

— Беда! — говорил Волков Чемодурову, сидя в вестибюле. — Плачет ведь государыня-то. С самого утра ходит к нему в кабинет, а оттуда вся в слезах. Приказала докладывать ей обо всех, кто будет приходить к государю.

— С чего бы это?

Волков промолчал с видом знающего, потом тихо проговорил:

Бойтся.

Чего же?

— А того, что государя могут подбить на что-нибудь.

Под вечер она сидела усталая в своем крошечном будуаре. Все двадцать лет в России прожила такой же одинокой, как сейчас. Немецкие родственники называли ее Кримхильдой, выданной за гуннского короля Этцеля. Приехав сюда невестой, она попала на похороны. Министр двора, граф Воронцов-Дашков, так был сражен смертью императора Александра, что за-

был послать за будущей императрицей царский поезд и ей пришлось от границы до Ливадии ехать в обычном пассажирском вагоне.

Когда останки Александра Третьего провожали в Петропавловскую крепость, народ шептался о несчастье, которое принесет ему невеста молодого царя.

— Она вошла к нам за гробом.

А потом, петербургские сплетни и смех, когда она вздумала собирать у себя по вечерам маленькое дамское общество, чтобы за шитьем и вязаньем наладить сердечные разговоры и близость. Говорили о насаждении в России бюргерских добродетелей, пустили слух, будто она сама штопает носки и кальсоны мужа, а по утрам выходит на балкон, чтобы путцен унд клопфен подушки и одеяла.

Хотя она надрывно, изо всех сил старалась любить Россию и думала, что способна умереть за нее, — втайне боялась этой огромной храмины, пугавшей ее скрипом своих стропил и балок. Любила только мужа и ненаглядных детей.

В ней крепла решимость не допустить до войны.

Ты что, Аня?

— Мобилизация.

— О, это зловещее слово! Я ведь утром объяснила, что речь идет о заготовлении бумаг.

— Нет, ваше величество, теперь приказ...

— Боже мой, как я несчастна!

Перекрестившись, она пошла в кабинет к царю. Дверь приотворена. Пусто. На столе телеграмма: — «Крови-то! Крови! Останови! Григорий».

— А где же его величество?

— Уехали, — ответил Чемодуров.

Четверть часа тому назад подъехал автомобиль, вызванный по требованию императора. Хотя с ним прибыл дворцовый комендант, государь не взял его с собой. Воейков успел посадить рядом с шофером одного только охранника, которого тут же в саду снял с поста. Когда автомобиль скрылся за деревьями, дворцовый комендант послал ему вдогонку двух верховых, оказавшихся где-то поблизости, а потом вызвал по те-

лефону целый взвод, приказав мчаться во весь опор к гатчинскому шоссе.



Автомобиль остановился перед Пулковской обсерваторией на краю обрыва. Внизу заволакивалась сумраком равнина, прорезанная прямой, как струна дорогой. Там, где она терялась, на краю болотной пустыни, горел в закате адмиралтейский шпиль и погружался в темную синь Петербург. На желтом небе, один за другим зажигались бриллиантовые огни.

Выйдя из автомобиля, император направился к главному павильону обсерватории. В детстве от ходил сюда с братом Георгием, в сопровождении воспитателей и профессоров. Помнил, как брат шутил, умоляя не зацепить ногой за пулковский меридиан, проходивший через самую середину здания. Теперь, поднявшись на крыльцо, остановился перед закрытой дверью, не зная что предпринять.

— Вы куда, ваше высокоблагородие? Что вам угодно? Сейчас не время для осмотра. Все закрыто. Извольте завтра пожаловать.

— Нельзя ли, все-таки, как-нибудь открыть, — нерешительно проговорил император.

— Да как же это можно, ваше высокоблагородие! Чудно, право!

Сторож хотел еще дать волю своему красноречию, но почувствовал прикосновение чего-то вроде булыжника к ребрам. Очутившийся возле чин садовой охраны пробурчал такое, что старик со всех ног бросился бежать. В зданиях, расположенных за деревьями, захлопали двери, замелькали огни. Через минуту показался седой, дородный человек, застегивавший на ходу форменный китель. За ним трусил рысцей сторож. Ступив на крыльцо, седой господин низко поклонился и не говоря ни слова, открыл дверь главного павильона.

Портреты в золотых рамах по круглым стенам, седые бороды, голые черепа. Николай мог различать среди них только Струвэ — основателя обсерватории. Потом пошли бесконечные серии снимков с Луны, с Марса, с солнечных затмений.

Все это он видел еще в детстве и все осталось на тех местах, где было. Даже схема движения Юпитера в 1888 году. Он хорошо ее помнил, потому что вместе с братом Георгием был взволнован рассказом о прохождении этого гиганта через созвездие Девы и Весов.

— Это страшнее, чем нашествие Наполеона, — шепнул тогда Георгий.

Но сейчас император не долго задерживался перед знаковыми витринами.

— А у вас наблюдения производятся?

— Так точно, ваше... соблаговолите посмотреть?

Его подвели к зданию с большим куполом разрубленным надвое. Из расщелины, дымком вился голубой свет и торчала труба, как дуло орудия. Вошедши, государь не сразу различил в полумраке фигуру, припавшую к окуляру телескопа.

— А, вот вы где?

Человек вскочил на ноги.

— Я вам помешал. Простите. Возвращаться с небес на нашу планету не очень приятно.

— О нет, ваше величество, только тот и любит землю, кто часто смотрит туда.

— Гм! В детстве я смотрел и, признаться, ничего особенного не заметил.

— В детстве, ваше величество, звезды мало чем отличаются от елочных украшений. Но кто сживается с мыслью о них, как о солнцах в тысячу раз превосходящих наше, чей мозг пытается осмыслить десятизначные цифры верст, отделяющих их от нас, тому страшно глядеть в эту пропасть.

— И все-таки, я бы не прочь попробовать, если позволите.

Человек поклонился и жестом пригласил государя занять место у телескопа.

Видите ли, ваше величество, маленькую точку в середине?

Так это и есть предмет ваших наблюдений? Что же можно установить, следя за такой искоркой?

— Очень многое, ваше величество. У каждой звезды, как у человека, свой нрав, свои повадки. Выражение «небесная

механика» придумано плоскими умами. У небесных тел столько же прихотей, капризов, как у людей. И столько же случайностей в поведении.

Государь встал:

— Ну а чем вы еще занимаетесь? Как вы ее назвали тогда эту звезду? Она попрежнему?...

— Так точно, ваше величество. Будь я астрологом, я мог бы подумать об охватившем ее безумии.

И давно это заметили?

Месяца два тому назад.

Значит это совсем новое?

Это очень старое, ваше величество. Свет от Сириуса идет до нас триста лет. Заметили мы его странности сейчас, но начались они еще во времена избрания на царство вашего предка государя Михаила Федоровича.

Присутствовавшие замерли при виде бледности, охватившей вдруг императора.

— Прощайте. Продолжайте вашу работу и не провожайте меня.

Когда он вышел было темно. В кустах фыркали лошади охранников. Подойдя к автомобилю, стоявшему на краю обрыва, он увидел вдали море огней, захлестнувших полгоризонта. Звезды над ним растаяли, пропали. Только отведя взор далеко в сторону, можно было начать их различать.

Государь указал на болезненно мерцавшую звезду, низко нависшую над горизонтом, где-то возле Колпина и спросил старика астронома, как она называется.

— Сириус, ваше величество.

Около одиннадцати вечера, у Янушкевича в кабинете раздался телефонный звонок. Государь лично повелел отменить общую мобилизацию.



Когда Сазонову об этом сказали, он пошел спать и не велел себя будить. Утром, сквозь сон, слышал под самыми окнами «Боже, царя храни», «Да здравствует Сербия!», «Да здрав-

ствует Франция!» Проснувшись и вспомнив вчерашнее, стиснул зубы.

К чаю пришли хмурые Нератов и Шиллинг.

— На Садовой уже двух немцев выбросили из трамвая.

— Наших в Берлине начали выкидывать еще третьего дня, — проворчал Нератов.

Позвонил Янушкевич:

— Ради Бога, Сергей Дмитриевич, не могли бы мы снова встретиться?

— Мне не трудно, но толк какой?

— Умоляю вас. Положение страшное. Надо что-то предпринимать.

Сухомлинов уже сидел у Янушкевича. По его пунцовой лысине и приподнятым бровям Сазонов понял, что военный министр «проснулся». За все дни кризиса он первый раз казался взволнованным по настоящему.

— Проклятый телефон, — горячился Янушкевич, — будь его, я получил бы распоряжение об отмене на целых полтора часа позднее и тогда уже нельзя было бы отменить мобилизацию. А теперь мы в нелепом положении. И это в то время, когда в Германии объявлен кригс-гефар-цуштанд, призван ландштурм, созданы баншутц-команды.

— Да что там баншутц-команды! — пробормотал Сухомлинов, — разведка доносит, что в Германии, тайно, идет самая настоящая мобилизация.

Что же мы можем, Владимир Александрович?

— Надо во что бы то ни стало убедить государя отменить запрет.

— Поклонюсь в ноги, если вам удастся это сделать, — проговорил Сазонов.

— Кланяться нам придется, Сергей Дмитриевич. Ни я, ни Николай Николаевич не пригодны больше в роли представителей. Каждый из нас пытался убеждать его величество, но успеха не имели. На вас вся надежда.

— Господа, я и без того везу не малый воз; он в пору более крепкой лошадке.

— Сергей Дмитриевич, не за себя просим. Подумайте

только, что немцы уже на шестой день после объявления войны могут начать наступление, а наша мобилизация протянется чуть ли не месяц. Нас возьмут голыми руками.

— Но если государь не внял голосу вас, военных, то какая надежда, что он послушает меня, штатского? Кроме того, сильно подозреваю, что результат будет прежний: государь даст согласие, а через некоторое время последует отмена.

— Ну нет! Только бы получить приказ, а там я сломаю телефон, уйду, так чтобы меня нельзя было найти.

— Извольте. Пусть не скажут потом, будто я отказался сделать все от меня зависящее. Я готов испросить аудиенцию у его величества, но что из этого получится — не знаю.

Сазонов соединился по телефону с Александрийским дворцом и долго ждал, пока император подошел и взял трубку. Послышался его далекий, как из-за моря, голос. Сазонов назвал себя и прибавил, что находится в кабинете начальника Генерального Штаба. Государь внезапно замолчал. Потом: — Что же вам угодно, Сергей Дмитриевич?

— Осмелюсь просить ваше императорское величество принять меня по очень важному делу.

Снова молчание. Наконец, тихо и с трудом: — Я приму вас в три часа.

Перед отъездом, Сазонов обедал у Донона с министром земледелия Кривошеинным и с бароном Шиллингом. Кривошеин рассказал о неудаче своей собственной попытки добиться разговора по поводу мобилизации. Государь его не принял.

— Между тем, я со всех сторон слышу, что перед русским посольством в Берлине разыгрываются дикие сцены; не сегодня-завтра полетят камни в окна. К каждому русскому представлены агенты, чтобы схватить в нужный момент. Только дураки могут сомневаться в неизбежности войны.

— Увы, их слишком много!

Оба министра плохо верили в успех сегодняшней поездки в Петергоф.

— А я полон надежд, — сказал Шиллинг, — и знаете почему? Внимательно читая поступающие к нам копии телеграмм государя и кайзера, я убедился, что государь отдает себе яс-

ный отчет в драматизме положения. Его оценка европейского конфликта, направление его мысли — такие же, как у нас с вами. Он — наш. Последние его телеграммы отмечены достаточно твердым тоном. Вам, Сергей Дмитриевич, надлежит поддерживать в нем эту здоровую ноту и вы вернетесь с победой.

— Ну, дай Бог! Дай Бог! — вздохнул Кривошеин. — Не буду сегодня ничем заниматься, пока не узнаю об исходе вашей миссии.



Увидев входящего министра, Чемодуров хотел заговорить с ним о политике, но убоявшись строгого вида, успел лишь проговорить:

Что ваше высокопревосходительство, плохи дела-то?

— Плохи, брат. Доложи обо мне немедленно его величеству.

— Не возражаете ли, чтобы на вашем докладе присутствовал генерал Татищев? — спросил государь, когда Сазонов вошел в кабинет. — Он хочет сегодня ехать в Берлин, к месту своей службы. Ему, как свитскому генералу, прикомандированному к особе германского императора, очень важно быть в курсе всего, что нас сейчас занимает.

— Ваше величество, я буду очень рад присутствию генерала, но сомневаюсь, чтобы ему удалось доехать до Берлина.

— Вы думаете уже поздно?

— Поздно, ваше величество.

Сказав это, Сазонов почувствовал, что поступил резко. Государь не в силах был скрыть удручающего действия его слов. Позвали Татищева.

— Садитесь, Илья Леонидович, вам будет полезно послушать, что скажет Сергей Дмитриевич.

Получив позволение начать, министр сообщил, прежде всего, о мобилизации германской армии; она не объявлена официально, но идет полным ходом. Говорят, будто генерал фон Мольтке предъявил имперскому канцлеру род ультиматума. Как начальник штаба он требует, чтобы война немедленно вступила в свои права, иначе, не отвечает за ее успех. Теперь вся машина германской империи с бешеной скоростью идет к

войне. Если принять во внимание австрийские приготовления, то положение создается грозное. Мы рискуем, по словам генерала Янушкевича, проиграть войну, не успев вынуть шашки из ножен. Ни о какой мобилизации четырех военных округов, отныне речи быть не может. Думать надлежит не о демонстративном воздействии, а о спасении отечества. Если сегодня не будет отдан приказ о всеобщей мобилизации, завтра положение может стать катастрофическим.

Сазонов перевел дух, взглянув украдкой на бледный, с каплями пота лоб государя.

— Я вас слушаю, — чуть слышно проговорил император, заметив его смущение.

— Меня, — продолжал Сазонов, — как невоенного человека, генерал должен был посвятить в некоторые особенности нашей мобилизационной техники, чтобы стала ясной вся опасность промедления. К серьезным боевым действиям мы сможем быть готовы не раньше, чем на тридцатый день после начала мобилизации, а к наступательным операциям еще позднее. Противник же сможет двинуться на нас через неделю, а если принять во внимание его тайную мобилизацию, то и раньше. Наша разбросанность населения и редкость железнодорожной сети дают ему неизмеримые преимущества. Если к этому прибавить упущения сроков, то трудно представить трагические последствия такого положения. Генералы Сухомлинов и Янушкевич делали представления вашему величеству и вы, государь, соблаговолили дать приказ о всеобщей мобилизации, но через некоторое время он был отменен.

— Да, я это сделал потому, что не был еще уверен в возможности предотвратить войну.

— Теперь ни военный министр, ни начальник штаба не берут на себя смелость снова предстать пред вашим величеством. Они просили меня это сделать. Ваше величество поймете, как трудно было мне принять на себя эту задачу. Если, тем не менее, я решился, поборов и страх вашей немилости, и личное самолюбие, и ведомственные интересы, то только потому, что не захотел в этот грозный час поставить все эти соображения выше верноподданнического долга, как я его по-

нимаю. Я пришел умолять вас, государь, не откладывать всеобщую мобилизацию.

Николай чертил на промокательной бумаге какие-то знаки, не поднимая головы. Сазонов знал, что царь ненавидел его в этот миг, а доклад его он ощущал, как форму насилия. Татищев, не проронивший доселе ни слова, нарушил вдруг молчание:

— Да, трудно решить что бы то ни было!

— Решать буду я, — оборвал его император.

Министр и генерал, знавшие до какой степени несвойственна государю такая форма обращения, замерли, догадавшись о его внутреннем состоянии.

Через некоторое время государь взял лежавший перед ним листок и протянул Сазонову.

— Вот что мне телеграфирует император Вильгельм.

Сазонову хорошо была известна особенность Вильгельма менять внезапно выражение лица. В разговорах с иностранцами он любил напускать на себя вид добродушно-веселого бурша и болтал без умолку, но стоило затронуть какой-нибудь неподходящий вопрос, как лицо его становилось свирепым. Таким оно глянуло сейчас с телеграфного бланка. Кайзер предупреждал своего Ники, что если Россия будет продолжать мобилизацию против Австро-Венгрии, то он отказывается от роли посредника, взятой им по просьбе Николая. Телеграмма была оскорбительной по тону.

— Он требует от меня невозможного, — с усилием проговорил государь. — Он забыл или не хочет признать, что австрийская мобилизация начата раньше русской и теперь требует прекращения нашей, не упоминая ни словом об австрийской. Если бы я теперь выразил согласие на требование Германии, мы оказались бы безоружными против австро-венгерской армии. Это безумие.

Сазонову показалось, что кто-то невидимый снял вдруг с него тяжелое бремя.

— Из слов вашего величества я вижу, что вы успели все передумать и перечувствовать задолго до нас, ваших министров. Мне стыдно, что я приехал умолять вас о таком решении,

которое давно созрело в вашем собственном сердце. Из телеграммы императора Вильгельма ваше величество лучше меня поняли, что войны избежать невозможно. То же вынес и я из встречи с его послом. Война давно решена в Вене, а Берлин не только не удерживает свою союзницу, но служит ей надежным прикрытием. Он требует от нас капитуляции перед нею.

Снова наступило молчание. Теперь уже не приходилось сомневаться в успехе. Проведя ладонью по влажному лбу, император проговорил с волнением:

— Обречь на смерть сотни тысяч русских людей!...

— Ни вам, ни вашему правительству, государь, не придется отвечать перед Богом. То что вы сделали для предотвращения войны, не сделал бы ни один монарх и правитель. Ни собственная совесть, ни будущие поколения ни в чем вас не смогут упрекнуть. У нас нет выбора. Если не хотим пойти добровольно в рабскую зависимость, нам ничего не остается кроме, как принять войну. Буди с нами сила Господня!

Сазонов был почти уверен, что окончательно сломил государя этими словами.

В самом деле, начертив на бумаге несколько странных фигур, Николай, не поднимая лица, проговорил с усилием:

— Вы правы. Мы должны ожидать нападения. Передайте начальнику Генерального Штаба мое приказание о мобилизации.

Министр встал и, поклонившись, вышел.

Взяв телефонную трубку и дозвонившись до Генерального Штаба, он услышал беспокойный голос Янушкевича.

— Ну что, Сергей Дмитриевич?

— Его императорское величество приказывает вам объявить всеобщую мобилизацию.

Послышался вздох, а потом тот же голос проговорил:

Теперь мой телефон испортился и больше не работает.

К шести часам вечера, огромный зал петербургского центрального телеграфа был очищен от публики. Телеграфисты и телеграфистки молчаливые, строгие сидели у своих аппаратов.

Ровно в шесть из кабинета управляющего вышел полковник Генерального Штаба Добrorольский в сопровождении свиты офицеров. Шаги их отдавались под стеклянным потолком гулко, как в храме.

— Господа, вам предстоит сейчас разослать во все концы империи приказ. От точности, быстроты и старательности, с которой вы это сделаете, будет многое зависеть в судьбе России. Призываю вас смотреть на сегодняшний труд, как на службу царю и отечеству!

Полковник приказал положить перед каждым телеграфистом отпечатанный на машинке текст телеграммы и спросил все ли готовы — снял фуражку и перекрестился. Остальные тоже осенили себя крестным знамением.

— С Богом!

Все аппараты разом застучали. В паутине проводов, опутавших столицу, смолк щебет поздравительных телеграмм, цифирь коммерческих сделок, известия о смертях и рождениях. Все отступило перед металлом слов войны.



На утро народ толпился перед красными объявлениями, расклеенными на столбах и заборах. Женщины плакали, мужчины, прочтя, отходили бледные. Некоторые успели напиться и пели песни, заливаясь слезами.

— Утро стрелецкой казни, — сказал генерал Мосолов своему адъютанту.

Отправляясь в Петергоф, он захотел в этот день пройти пешком на вокзал, чтобы видеть как народ встречает страшную весть. Генералу жаль было этих безответных рабов русской истории, никогда не знавших за что они должны класть свои головы. — За Сербию.... А что нам Сербия?... Давно ли проливали кровь за Болгарию и что вышло?...

Последний вопрос он произнес вслух, обращаясь к адъютанту, но тот, как кавалерист, был занят видом десятков и сотен лошадей, которых вели на Марсово поле, превратившееся в конскую ярмарку. Набатный смысл слова «мобилизация» ни в чем так не сказывался, как в этом призыве под зна-

мена коней — древних защитников отечества. Чем ближе к Обводному каналу, тем больше простонародья, взволнованных и заплаканных лиц. Генералу очень хотелось заговорить с кем-нибудь, но адъютант напомнил, что они рискуют опоздать на поезд, а сегодня начальнику канцелярии министерства двора надлежало быть у себя во время. Пришлось прервать пешее хождение и оставшийся до вокзала путь совершить на извозчике.

Не успели войти в придворный вагон и сесть на мягкий диван, как торопливой походкой подошел германский посол граф фон Пурталес. Схватив генерала за обе руки, он почти закричал:

— Надо остановить! Остановить во что бы то ни стало эту мобилизацию. Иначе — война!...

— Это так же невозможно, граф, как остановить на всем ходу автомобиль, идущий со скоростью ста верст в час.

— Но ведь она объявлена только сегодня утром. Еще не поздно. Я буду упрасивать государя отменить ее.

Напрасно молодой секретарь графа старался поймать его взгляд и сделать какой-то знак — Пурталес совсем забыл азбуку поведения дипломата.

Прибыв в Петергоф, Мосолов рассказал обо всем Фредериксу.

— Он честный, порядочный человек, — с задумчивым видом проговорил министр, — не легко ему выполнять все к чему обязывает служба, он ведь не хуже нас с вами понимает, какие кошмары придут с войной. Это только у нас легкомысленно рвутся в бой.

— Не все, ваше сиятельство.

Мосолов рассказал, как происходило собрание подписей под телеграммой о всеобщей мобилизации. По закону, она должна быть подписана министрами военным, морским и внутренних дел. Когда полковник Добrorольский пришел к адмиралу Григоровичу, тот, откинувшись на спинку кресла, посмотрел на полковника так, будто перед ним стоял злоумышленник. Молча взяв телефонную трубку и дозвонившись до кабинета военного министра, он долго допрашивал Сухомли-

нова пока не убедился, что войну с Германией выдумал не Доблородский. Взяв потом перо, чтобы подписать телеграмму, адмирал грозно заявил, как бы возлагая на полковника всю ответственность:

— Наш флот не может противостоять германскому и Кронштадт не защитит столицы от бомбардировки.

В кабинете министра внутренних дел Маклакова на Елагином острове, стиль подписания был другой. Там пахло ладаном, против письменного стола в простенке стоял другой стол, покрытый белой пеленой. На нем иконы, лампада, горящие свечи. Министр опустился на колени перед этим иконостасом, молился, клал земные поклоны, прежде чем дать свою подпись.

— Делаю это с величайшею скорбью и трепетом, полковник, потому что лучше других знаю с каким нетерпением наши революционеры ждут войны, чтобы покончить с Россией. Война у нас в народных глубинах не может быть популярна. Идеи революции понятнее народу, чем победа над немцем. Но от рока не уйдешь...

— Как это мне понятно! — прошептал Фредерикс.

Доложили о приходе Пурталеса. Аудиенция его у государя была короткой и прямо из дворца он явился к Фредериксу. Красивая борода в беспорядке, в глазах испуг. Прерывающимся голосом он стал умолять посоветовать государю послать депешу кайзеру, как последнее средство спасти мир.

— Пусть государь даст какое-нибудь объяснение, почему произведена мобилизация.

— Ну, что тут можно сделать? — спросил министр своего начальника канцелярии после того, как Пурталес чуть не бегом покинул кабинет.

— Я полагаю — ничего, ваше сиятельство. Разве что, действительно, послать депешу, как он советовал. Конечно, она не поможет, но совесть будет чиста.

Поздно вечером из министерства иностранных дел сообщили, что германский посол предъявил ультиматум. Он требует прекращения мобилизации и дает двенадцать часов на размышление



Заседание совета министров в Елагином дворце походило на скучное протестантское богослужение. Кто-то держал речь, но его не слушали; встrepенулись, когда комендант доложил, что министра Сазонова спешно просят подойти к телефону. Через несколько минут Сазонов вернулся.

— Простите, Иван Логгинович, я должен покинуть заседание. Меня хочет видеть германский посол, и я полагаю, по очень важному делу.

— Да, да! — заволновался Горемыкин. — Идите, голубчик, идите! — Помогите вам Бог! А мы, господа, вряд ли в состоянии теперь обсуждать что бы то ни было. Посидим, просто, в ожидании известий от Сергея Дмитриевича.

Через полчаса по прибытии в министерство Сазонову доложили: — Германский посол граф фон Пурталес. — Взглянув на свои пальцы, Сазонов поразился их бледности. До начала конфликта у него не было «тяжелых» разговоров с Пурталесом; встречались самым приятным образом. Но сейчас, он знал, войдет не Пурталес, а сама германская империя в сапогах, в каске, с усами.

Пурталес, в самом деле, вошел небывало торжественно. Только более чем обычная краснота лица, чуть заметное подрагивание ноздрей и какая-то связанность левой руки, точно прилипшей к телу, свидетельствовали, что империя тоже не спокойна. Министр остался стоять, опершись рукой о край стола, и посла не пригласил сесть.

— Мое правительство предложило мне, господин министр, спросить вас, согласно ли императорское правительство дать благоприятный ответ на мою вчерашнюю ноту?

Посол проговорил это, глядя на стоявшие в углу старинные часы из красного дерева с бронзой. От Сазонова не ускользнул дрогнувший в одном месте голос. По этой ли причине или от усталости, его собственное волнение прошло и он твердо произнес отрицательный ответ. Мобилизация не может быть отменена, посол это хорошо понимает, но мобилизация — еще не война и не конец переговоров для спасения мира.

Россия все делает для сохранения условий, при которых народы могли бы выйти из конфликта без применения оружия.

Пурталес, точно слов Сазонова не было, опять усталился на часы из красного дерева и в прежнем тоне продолжал:

— Я вынужден, господин министр, повторить свой вопрос: желает ли ваше правительство положительно ответить на предъявленную ему ноту?

При этом стало видно, почему его левая рука плотно прижималась к телу; она придерживала карман. Министр неотрывно следил за нею. Он видел, как она опустилась туда и задержалась на мгновение.

— Точно за пистолетом полез, — мелькнуло у Сазонова.

Когда прозвучал опять его твердый отказ, рука медленным движением вынула из кармана бумагу, сложенную вдвое.

Было ясно, что последует в третий раз тот же самый вопрос. Министра глубоко возмутило это «считаю до трех» и уже с металлом в голосе он ответил на смущенно-растерянную речь, предупреждавшую о тяжких последствиях в случае нежелания отменить мобилизацию. Оба знали, что ни Пурталес не может задавать иных вопросов, ни Сазонов отвечать на них иначе, чем он отвечает. Ритуал тяжел был для обоих.

Сазонов ощутил сильное волнение при виде трясущейся руки, протягивавшей ему бумагу. В тот миг, как он ее примет, в мире начнется небывалое. Он не мог прочесть текста поданной ноты, да и понимал, что это бесполезно. Ему достаточно было случайно бросившихся в глаза слов в самом конце: — «Его величество император... принимая вызов считает себя в состоянии войны с Россией».

— Вы совершили политическое преступление!

— Мы защищаем нашу честь, — прошептал посол еле слышно.

— Вашей чести ничто не угрожало, вы могли бы одним словом предотвратить войну, но вы этого не хотели. За все время, что я старался спасти мир, я не встретил с вашей стороны ни малейшей поддержки. Кровь и несчастья народов падают на вашу голову!

Произнося эту риторическую фразу, Сазонов меньше все-

го рассчитывал произвести впечатление и был немало удивлен, когда Пурталес шатающейся походкой направился к окну и опершись о косяк заплакал.

— Мог ли я предвидеть, что мне придется покидать Петербург при таких обстоятельствах!

Сазонов молчаливым объятием за плечи старался успокоить графа. Прямо перед ними вздымалась Александровская колонна. Площадь в тихом предвечернем освещении, подобном штилю на море не возмущаемому ни редкими фигурами прохожих, появившихся с Миллионной улицы, ни извозчиком трусившим рысцой от Адмиралтейства к Певческому мосту. В коляске сидели студент с офицером, разговаривали, смеялись.

— Никто еще не знает... Только мы с вами. Воспользуемся минутой, простимся, граф.

Пурталес порывисто обернулся и едва сдерживая рыдания, обнял Сазонова.



Через час весь сановный Петербург и высшее офицерство знали о случившемся. Весть начала проникать в клубы, в рестораны, в кинематографы. Даже в трамваях люди перешептывались и крестились потихоньку.

Царская семья молилась в часовне — маленьком готическом храме, стоявшем в пяти минутах ходьбы от дворца. Ни министра двора, ни дворцового коменданта, ни даже дежурного флигель-адъютанта — только воспитатели наследника и великих княжен, как бы сопричисленные к семейному кругу. От мигания свечей, усталое лицо императора, с обострившимися чертами, казалось иконописным. Но рядом стояла царица белая как плат. Когда она, по окончании службы, стала прикладываться ко кресту, священнику показалось, что ее помертвевшие губы не коснулись золота Распятия.

В парке было еще светло, ласточки высоко реяли в небе, но царь с царицей шли с опущенными головами и не проронили ни слова до самого дома.

Переодевшись, сошлись в столовой. Только государь задержался у себя. Суп простыл.

— Почему папы так долго нет? — попробовала спросить Анастасия.

Ей никто не ответил. Императрица сидела погруженная в раздумье. Очнувшись, она задала тот же вопрос и велела Татьяне Николаевне сходить к отцу. Великая княжна не успела дойти до двери, как появился император. Подойдя к столу он не сел, а остановился, опершись руками о спинку стула.

— Что с тобой, Ники? Говори же!...

— Германия нам объявила войну.

Царица не проронила ни слова. Голова ее стала медленно клониться, пока не упала на ладони, которыми она закрыла лицо. Задрожавшие плечи, слезы показавшиеся между пальцами, вызвали ужас у великих княжен. Они заплакали и бросились к матери.



На утро Петербург проснулся под колокольный звон. Воскресенье. Солнце. Война. После томительных десяти дней, все, как на свободу, вышли. Французские репортеры восторженно писали о чудесном гимне «Seigneur, sauve Ton peuple», с которым огромные толпы двигались по Садовой, Литейному, по Загородному. Рассказывали, что поэт Сергей Городецкий, едва выйдя из дому, поставил ногу на тумбу и тут же, на колене, написал первую строфу стихотворения, пущенного сразу по рукам.

Народ с утра спешил на площадь,
К дворцу на сретенье царя,
Теснилась флагов русских роща
Цветами яркими горя.

Ждали прибытия царской яхты из Петергофа. Она подошла к пристани возле Николаевского моста, откуда августейшее семейство продолжало путь к Зимнему дворцу на катере. Его стекла, начищенная медь, вместе с пуговицами и золотом мундиров так блестели на солнце, что публика, запрудившая оба берега Невы, ничего кроме этих блесков света, белых шляп и платьев, не могла различить.

— Государь! Государь! — катилось над толпой.

Перед Иорданским подъездом — никакой охраны. Через всю набережную до дверей шли сквозь толпу, стоявшую с непокрытыми головами. По просьбе дворцового коменданта народ расступился, образовав такой узкий проход, что можно было дотянуться рукой до высочайших особ. Цесаревны улыбнулись, когда какая-то женщина воскликнула в умилении: — «Ангелы! Ангелы!»

Мимолетная близость к народу, как к огромному доброму чудовищу взволновала царя. Дворец был полон военных. Николаевский зал, вмещавший до трех тысяч человек, ждал прибытия государя. Когда он появился в дверях, все стихло. Внесли корону, государственный меч, скипетр и державу. — «Тебе Бога хвалим!» — запел хор. Началось молебствие. Император усердно крестился, но Александра Федоровна стояла, как мраморная и не оживилась, даже, когда хор грянул многолетие государю и всему царствующему дому. Не успело оно отгреметь, как дьякон бавкнул такое же многолетие доблестному воинству российскому.

В это время корона, установленная на столе покрытом красным бархатом, оказалась в луче света и заиграла необыкновенным блеском. Увенчивавший ее крест из пяти громадных бриллиантов, соединенных вместе неграненым рубином, засветился созвездием.

С особой торжественностью раздались слова манифеста:

— Божиею милостию, мы Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая...

Протодьяконский бас звучал так, что стоявшие в концертном зале слышали через раскрытые двери каждое слово.

— Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими народами...

Начав с низких нот, как при чтении Апостола, протодьякон поднимал и усиливал голос:

...Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целостность России...

Конец манифеста прозвучал трубным гласом:

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри... С глубокой верою в правоту нашего дела... молитвенно призываем на святую Русь и доблестные войска наши Божие благословение.

Последние вибрации слов манифеста еще трепетали под потолком, когда император сделал шаг вперед. Всем бросилось в глаза, что вопреки обычной манере читать речь по бумаге, он говорил сегодня с поднятым лицом, устремленным к слушателям.

— С спокойствием и достоинством встретила наша великая Матушка-Русь известие об объявлении нам войны. Убежден, что с таким же чувством спокойствия мы доведем войну, какая бы она ни была, до конца.

После иерихонской трубы протодьякона, камерный голос государя показался слабым, но он так же хорошо был слышен во всех концах зала. Сначала он чуть дрожал, но это длилось минуту. Остальная часть речи произнесена была уверенно и с небывалым для Николая воодушевлением.

— Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до тех пор пока последний неприятельский воин не уйдет с земли нашей. И к вам, собранным здесь представителям дорогих мне войск гвардии и Петербургского военного округа, и в вашем лице, обращаюсь ко всей единой, единодушной, крепкой как стена гранитная, армии моей и благословляю ее на труд ратный.

Французский посол Палеолог, единственный из дипломатического корпуса, приглашенный на церемонию и не привыкший еще к русскому «ура», качнулся как от ветра, когда оно пушечным залпом грянуло после речи государя.

Великий князь Николай Николаевич опустил на колено перед императором. За ним последовал весь зал. Запели «Боже, царя храни».

У государыни текли слезы. Многие тоже плакали. Забывши этикет и дисциплину, офицеры густо обступили царскую семью, целовали руки, края одежд, лепетали бессвязное.

Генерал Воейков, увидев опасность Ходынки во дворце, встал возле государя и начал прокладывать путь для их вели-

честв во внутренние апартаменты. Ему удалось, как лодку из бурного Николаевского зала вывести царскую семью в концертный зал, откуда она через Арабскую комнату, Ротонду и Салтыковский корридор, прошла на западную половину дворца.

Отсюда слышно было, как волновалась Дворцовая площадь. Но только выйдя на балкон, царь и царица оглушены были, как набежавшей волной, ревом и пением стотысячной голпы, опустившейся на колени при их появлении.

Н. Ульянов



Я тоже горлиц посылал
За веткой из масличной рощи,
Но так еще и не держал
Ее в руке моей. Не прощенья
Быть гордым, быть настороже
И в дальнее не верить диво?
О, сколько задушил уже
Я этих горлиц нерадивых!
Но иногда, на все в ответ,
Мне слышится: “Начни сначала!
Что если не нашелся след
Не потому, что рощи нет,
А горлица не долетала!”



Комар жужжит и бьется о стекло,
Он хочет прочь, обратно, в свежесть сада.
Он залетел — и вот, ему на зло,
Прозрачная возникла вдруг преграда.

А за окном, нацеливаясь, ждет
Пичужка — им полакомиться хочет.
Но путь и ей прозрачность пресечет:
В стекло напрасно клюнет — и отскочит.

А роза в вазе на моем столе
Сияет равнодушно и бесстрастно.
Что ей до огорчений на земле!
Она ведь по-нездешнему прекрасна!



Ты, как цветок, дана на время,
На срок до первых непогод.
Ты не из тех, кто счастья бремя
Светло и бережно несет.

Ну что-же, пусть на время, если
Иначе не умеешь ты!
Порою всех других прелестней
Недолговечные цветы!

Такой цветок и ты, подруга,
И я с тревогою смотрю,
Как наша близится разлука —
Как осень по календарю.



Конечно-же, противореча
Тому, что требует любовь,
Во все былые наши встречи
Боюсь я всматриваться вновь.

Вот так порою, втайне мысля,
Что в них изъян какой-то есть,
Боишься пачку старых писем
И развязать и перечесть.

Что если там в каком-то слове,
В одной из вычеркнутых строк
Такое вдруг предстанет внове,
Что раньше было невдомек?

И жалкий призрак недоверья,
И подозренья, и обид
Прокрадется, не скрипнув дверью,
И все, что свято, оскорбит?

Раз мы от призраков зависим,
Нам лучше их не вызывать:
Ни прежних встреч, ни старых писем
Не перечитывать опять!



“Прощай!” и “Здравствуй!” — два привычных слова,
Таких совсем привычных, навсегда,
Что смысла откровенного, бывшего
В них не осталось больше и следа.
А между тем в них тайное значение,
Что придал им когда-то человек:
“Прощай!” — ведь это просьба о прощении
Перед разлукой, иногда навек,
А “Здравствуй!” — это в сущности забота,
К благополучью бережный призыв,
И от обоих остается что-то,
Когда уходишь, их проговорив.
Они звучат почти как заклинанье,
Но так давно мы все привыкли к ним,
Что вот при встрече и при расставании
Их равнодушно слышим и твердим.
Кто в них заметит то, что их когда-то
Призвало к жизни, в чем их смысл и зов?
О, сколько их, столь некогда богатых,
А нынче нищих — вместе с нами! — слов!

Д. Кленовский, 1968

ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА

Я должен был себе признаться, что — как бы жестоко или несправедливо это ни казалось, — я предпочитал те периоды жизни Мервиля, когда он терял на время то, что называл лирическим миром или думал, что он его потерял. В действительности потери этого мира не было, было только то, что представление Мервиля о нем оказывалось не таким, как представление тех, с кем его связывала судьба и это в свою очередь объяснялось его умственным и душевным превосходством над всеми его спутниками в том сентиментальном путешествии, которое продолжалось всю его жизнь. Но когда он был несчастен, он был способен понимать то, о чем в наиболее бурные периоды его романов он совершенно забывал, точно это переставало для него существовать. Когда он был несчастен, он был прекрасным и внимательным собеседником, — качество, которое он неизменно терял всякий раз, когда погружался вновь в свой лирический мир.

— Моя жизнь, — сказал он мне как-то, — проходит в судорожных, но чаще всего неуспешных попытках найти какое-то гармоническое эмоциональное равновесие, которое иногда кажется мне недостижимым. Поверить до конца в эту недостижимость я не могу. Если бы я в нее поверил, то не стоило бы жить. Но я часто думал — в чем состоит твоя жизнь? Я знаю тебя давно и если бы меня спросили о тебе, я мог бы сказать многое. Но на этот вопрос я не мог бы ответить.

Этот разговор происходил у него на квартире, зимой, в Париже. Я выпил за ужином несколько бокалов вина, к которому я не привык и находился в приподнятом настроении и мне было легче говорить в тот вечер, чем обычно. — У меня такое впечатление, — сказал Мервиль, — что ты как будто немного размяк душевно, ты понимаешь? И в том, что ты можешь сего-

дня сказать, не будет, я надеюсь, той какой-то геометрической логики, которая составляет главный недостаток твоих рассуждений. Ты все пытаешься анализировать, и всякий отдельный случай ты склонен рассматривать как своего рода эмоциональную алгебраическую задачу. Но не все можно анализировать, ты это знаешь, ты только делаешь вид, что вот, с высоты твоей беспристрастности это представляется так-то и так-то. А в самом деле ты вряд ли в это веришь. Почему ты так смотришь на меня? Ты считаешь, что я неправ?

— Нет, дело не в этом. Ты сказал, что твоя жизнь состоит из поисков эмоциональной гармонии и спросил, из чего состоит моя жизнь. Я тебе постараюсь ответить.

Я закрыл глаза. Передо мной проходили разрозненные, беспорядочные эпизоды и пейзажи, — снежные поля, южное море, леса, холод и зной, далекие воспоминания, глаза Сабины и желание, не менее повелительное быть может, чем у Мервиля, — найти во всем этом какой-то смысл, который связывал бы все это в понятную последовательность, характерную для одной человеческой жизни.

— Если ты спишь, то я хотел бы знать, что тебе снится? — спросил Мервиль.

— Я стараюсь найти ответ на твой вопрос, — сказал я. — Ты знаешь, чего мне хотелось бы больше всего? Моя жизнь тоже проходит в поисках. Я хотел бы найти наконец возможность воплощения, ты понимаешь? Я хотел бы быть портным, сапожником, депутатом парламента, архитектором, то-есть найти что-то определенное раз навсегда и не теряться в тех бесконечных блужданиях, в которых проходит мое существование. Я чувствую себя иногда старухой, у которой отвисает нижняя челюсть и трясется голова, или чернорабочим, язык которого состоит из четырехсот слов, бухгалтером или приказчиком мебельного магазина, социалистическим оратором, произносящим речь о прогрессе и демократии, солдатом на войне или влюбленной девушкой, цирковым акробатом или взломщиком несгораемых шкафов — и вот, это многообразие, к которому я, по профессиональной обязанности принуждаю свое бедное по природе воображение... Во всем этом, ты понимаешь, я давно

себя потерял. И вот, я иногда встряхиваюсь, мне хочется забыть о всех этих людях и стать наконец самим собой. Но самого себя я придумать не могу, так как, если я это сделаю, то окажется, что это не я, а опять-таки какой-то воображаемый персонаж. Я знаю, что со стороны это не может не казаться странным, но это именно так. И должен тебе сказать, что это очень тягостная вещь.

— Это похоже на жизнь актера.

— Если хочешь, да, но с той разницей, что актер говорит слова, которые написал автор пьесы, а я должен быть и автором и актером. Мне иногда удается от всего этого избавиться на некоторое время, обычно после того, как я кончаю книгу, которую я писал. Но те разрушительные усилия, которые я должен делать, утомляют меня настолько, что у меня нехватает сил вернуться к самому себе и построить для себя какую-то утешительную и положительную схему. И в лучшем случае я погружаюсь в пустоту, где нет ничего. Это то, что тебя всегда пугало и что я, напротив, готов приветствовать каждый раз, когда у меня появляется эта возможность.

— Нирвана? — сказал Мервиль.

— Во всяком случае, состояние, которое не требует от тебя никаких усилий, в котором вообще нет таких понятий, как необходимость, желание, стремление, действие. Это уход от всего, что обычно наполняет твою жизнь. Но это в то же время непохоже на погружение в небытие. У тебя в этом состоянии остается самая ценная, по моему, возможность, которая дана человеку, созерцание. Ты видишь жизнь, которая проходит перед тобой, но не принимаешь в ней участия. Перед тобой начинается беззвучное движение, за которым ты следишь и смысл которого тебе становится яснее и понятнее, чем когда бы то ни было.

— Я знаю ощущение пустоты, — сказал Мервиль, — но, по моему, это самая печальная вещь, какая только может быть.

— У тебя не это ощущение, у тебя другая пустота, кажущаяся. Это не пустота, потому что она наполнена сожалением о том, что должно было бы быть и чего не было или что оказалось не таким, как ты думал. Это другое.

Но такое состояние у тебя бывает сравнительно редко, — сказал Мервиль. — А в остальное время?

— В остальное время, милый мой, это блуждания и невозможность воплощения.

— В сапожника или депутата парламента?

— Хотя бы. Ты никогда не думал о том, что в упорном и постоянном занятии литературой есть что-то почти клинически неестественное? Где ты видел нормальных людей, которые занимаются литературой?

— Сколько угодно, — сказал Мервиль. — Они этим зарабатывают деньги и делают это так же, как если бы они торговали обувью или промышленными изделиями. Но ты, конечно, не их имеешь ввиду.

— Нет, я имею ввиду, как ты понимаешь, нечто другое. Писатель, вообще говоря, это человек с каким-то глубоким недостатком, страдающий от хронического ощущения неудовлетворенности. Его личная жизнь не удалась и не может удалиться, потому что он органически лишен способности быть счастливым и довольствоваться тем, что у него есть. Он не знает, что ему нужно, не знает, что он собой представляет и не верит до конца своим собственным ощущениям. Вся его литература, это попытка найти себя, остановить это движение и начать жить как нормальные люди, без неразрешимых проблем, без сомнений во всем, без неуверенности и без понимания того, что эта цель недостижима. Когда он пишет книгу у него есть смутная надежда, что ему удастся избавиться от того груза, который он несет в себе. Но эта надежда никогда не оправдывается. В этом его несчастье и его отличие от других людей.

Ты забываешь о тщеславии.

Тщеславие, это тоже неуверенность в себе.

Одним словом, все отрицательно?

Нет, — сказал я, — в конце концов, это можно себе представить так. Ты пишешь книгу. Зачем? Почему? Потому, что тебе кажется, что ты понял и увидел какие-то вещи, которых не поняли или не успели понять и увидеть другие, и ты хочешь с ними поделиться своими соображениями, которые тебе кажутся важными. Ты стремишься понять мир, в котором ты

живешь и передать это понимание другим, — это понимание и это видение мира. Это, конечно, не все, есть другие побуждения, которые заставляют тебя писать, — графомания, которой страдают все литераторы, тщеславие, о котором ты говорил, та или иная степень мании величия и периодическая атрофия твоих аналитических способностей, — потому, что если бы этой атрофии не было, ты бы понимал, что книгу, которую ты пишешь, вообще писать не стоит.

— Значит, большинство книг, по твоему, написано напрасно?

Несомненно.

А те книги, которые ты пишешь?

Тоже.

Зачем же ты это делаешь?

Если бы ты мог мне это объяснить, я был бы тебе благодарен.

— Это на тебя вино так подействовало, — сказал Мервиль. — Если бы ты был в нормальном состоянии, ты говорил бы об этом иначе.

— Может быть, — сказал я. — Но есть еще другая причина, — никому, кроме тебя, я бы этого не сказал.

— Почему именно меня?

— Во-первых, потому, что ты полон благожелательности. Во-вторых, потому, что это собственно тебе следовало бы писать романы, а не мне, у тебя для этого больше данных, в частности, воображения.

— Откуда ты это взял?

— Ну, милый мой, вся твоя жизнь это доказывает. Ты встречаешь какую-то женщину и через некоторое время она перестает быть такой, какой была до этого, с ней происходит необыкновенное превращение. Выясняется, что она всегда любила Рильке, что она предпочитала Ван Гога Гогэну, что она, как никто другой, поняла гений Донателло, что она не может оторваться от книг Паскаля. Но все это результат твоего восторженного бреда. И потом вдруг, в какое-нибудь холодное осеннее утро — если оставаться в традициях классического романа, где погода должна соответствовать чувствам героев

— ты вдруг начинаешь понимать, что все это — твое воспаленное воображение, что она неспособна отличить Рильке от Жеральди, Рембрандта от Мейсонье и Донателло от Ландовского. Но и это еще не самое важное. Ты награждаешь ее душевными качествами, которых у нее нет и никогда не было. И ты все это называешь исканием эмоциональной гармонии.

— Ты знаешь, почему ты неправ? — сказал Мервиль. — И ты знаешь, в чем ты неправ? Ты хочешь, чтобы я тебе это объяснил?

— Нет, — сказал я, — я знаю, что ты скажешь или, вернее, что сказал бы я, если бы я был на твоем месте. Я бы ответил, что действительности, вообще говоря, нет. Действительность создаем мы, такую, какой она нам нужна, какой она должна быть. И если факты этому не соответствуют, тем хуже для фактов. Женщина, которую я люблю, не может не понимать того, что понимаю я, в том числе Рильке, Донателло и Паскаля. И пока у меня хватает душевной силы и чувства, я вижу ее именно такой и это не может быть иначе.

— В конце концов, эта эмоциональная гармония и мир, в котором она заключена, это не бред и не воображение, это существует, только надо это найти. Конечно, нет ничего легче, как сказать, что только наивные и восторженные люди в это могут верить. Но это неверно, это нечто вроде душевной капитуляции.

— Другими словами, лучше быть Дон Кихотом, чем Гамлетом. Но я тебе скажу еще одну вещь. Вот, у нас с тобой расхождение. Я считаю, грубо говоря, что ты теряешь время напрасно, стремясь к явно недостижимой цели. Ты считаешь, что я упускаю из виду и исключаю из своей жизни лучшее, что может быть. Получается приблизительно так?

— Да, но очень приблизительно.

— Теперь я тебе скажу, мой милый, что я действительно думаю. Я полагаю, что в этом споре, — опять-таки, если это можно назвать спором, — прав ты. Я говорю это не для того, чтобы доставить тебе удовольствие, а потому что я действительно в этом убежден. И лучше тысячу раз ошибаться, чем

не ошибиться ни разу, но ни к чему не стремиться. Это звучит как плохой афоризм, но это именно так.



Я сидел на террасе небольшого кафе над морем, которое было внизу и на обрыве, спускавшемся к нему, росли пальмы, кипарисы и эвкалипты. Был конец жаркого дня, медленно приближались сумерки, сверкало солнце в безоблачном небе, на море была легкая зыбь. Вечером меня ждал ужин в приморском ресторане, красное вино, до которого я не дотрагивался в Париже, но которое я пил на юге каждое лето, так, точно в зависимости от этого географического перемещения те же самые вещи изменяли свою природу и свой вкус, — рыбные блюда с острой приправой, от которой я тоже отказался бы в Париже, но которую здесь я находил совершенно необходимой, — крепкий кофе, потом долгая прогулка вдоль моря и, наконец, глубокий сон в комнате, где засыпая и просыпаясь, я слышал легкий плеск волн, разбивающихся о берег. От всего этого я испытывал постоянно раздваивающееся ощущение — того, что это доставляет мне долгожданное удовольствие и того, что я вижу себя со стороны, слежу за всеми этими впечатлениями и испытываю одновременно нечто вроде зависти к самому себе, зависти, за которой идет сознание, что все это временно и случайно, — запах деревьев под солнцем, горячий воздух, особый вкус вина и рыбы и глубокий сон ночью. Я точно не верил до конца тому, что все это действительно так и что это вообще могло бы не быть иначе. И я жалел о том, что за долгие годы я никогда не научился жить без постоянной оглядки назад, что помимо моего желания память неизменно возвращала меня к тому, о чем следовало бы забыть и влачила за собой ненужный груз образов, представлений, чужих жизней, печальной судьбы несуществующих людей, которые возникли однажды в моем воображении и потом не покидали меня, сопровождая меня, как безмолвная толпа созданных мной призраков, от которых я не мог уйти. Но это все-таки не было самым главным. Главным было то, что на вопросы, которые я ставил себе, не было и не могло быть ответа. Иногда я начинал завидовать авторам

некоторых книг, которые я читал и где излагались совершенно бесспорные, по мнению этих людей, истины о том, что вне материалистического метода не существует возможности понять мир или что только приближение к христианским откровениям может спасти человека от бездны, на краю которой он стоит. Я вспоминал споры с моими товарищами о воображаемых и недоказуемых законах истории и о длительном бреде старого и несчастного в личной жизни человека с длинной бородой, бесчисленные и бесполезные портреты которого были теперь развешены в общественных учреждениях и в кабинетах людей, многие из которых ничего не поняли в его архаических теориях. Но христианство...

Наступали сумерки, пора было идти ужинать, но мне не хотелось уходить и мне вдруг стало казаться, что вот, еще одно усилие, еще несколько быть может минут и все станет ясно и я наконец пойму... По длительному опыту я знал, что это могло быть только иллюзией и что я никогда не найду одного определенного смысла в том нагромождении чувств, ощущений, мыслей, воспоминаний, видений, из которого состояла моя жизнь.

Мне хотелось есть и было что-то унижительное в сознании, что судьбы христианства или размышления о той или иной философской системе имели меньше значения сейчас для меня, чем вопрос о сегодняшнем меню ужина. И уже, когда расплатившись, я направился к выходу, я вдруг вспомнил высокого, худого человека с выражением ненависти и страдания в глазах, который был членом крайне левой политической партии и в своих речах говорил о необходимости физического истребления тех классов, которые эксплуатируют труд и иногда его охватывала настоящая дрожь, вызванная его непонятной злобой. Но и его политические взгляды и его ненависть объяснялись, как я это узнал потом, не длительным изучением и анализом социальных проблем, а мучительной болезнью и связанными с ней личными неприятностями; незадолго до начала его короткой политической карьеры, девушка, в которую он был влюблен и которой он сделал предложение, ответила ему со спокойной и неумной жестокостью, что о браке не может быть и речи, так

как друзья ей сказали, что у него язва желудка, которая, судя по всему, переходит в рак и что было бы нелепо, если бы она согласилась на предложение человека, которому остается жить может быть несколько месяцев. Именно после этого он стал говорить о необходимости физического истребления класса эксплуататоров. И когда он произносил свои речи, он испытывал нечто вроде мрачного и косвенного удовлетворения, совершенно иллюзорного, — чего он, впрочем, не понимал. Через некоторое время, однако, его политическая карьера кончилась так же неожиданно, как началась. Когда его страдания стали невыносимы, его отвезли в клинику, где его оперировали и выяснилось, что никакого рака у него не было. Он выздоровел, перестал испытывать боли, поступил на службу в банк, вскоре после этого женился, забыв о девушке, которой он делал свое первое предложение и через три или четыре года после всего этого, ужиная иногда с друзьями в ресторане, он высказывал весьма умеренные взгляды и говорил, что право собственности вносит в человеческое общество тот необходимый фактор равновесия, вне которого нельзя себе представить ни прогресса, ни повышения жизненного уровня. Я встретил его как-то в этот период его жизни и его нельзя было узнать: он пополнил, отяжелел, глаза его стали невыразительными и почти сонными и от прежнего его политического воодушевления не осталось следа. В том, что с ним произошло, был, конечно, какой-то назидательный элемент и когда я думал об этом, у меня невольно возникал соблазн обобщений и аналогий: в конце концов, кто знает, если бы судьба более милостиво отнеслась к Марату, если бы он не был дурно пахнущим и покрытым прыщами человеком, может быть, его жизнь сложилась бы иначе, он не мстил бы своим современникам за то, что к нему трудно было не питать отвращения — и мог бы умереть от несварения желудка или просто от старости, без ножа Шарлотты Кордэ в груди, не оставив в истории Франции ни следа, ни воспоминания о своем дурном запахе, своих преступлениях и своей трагической судьбе, — трагической не потому, что его было бы жаль, а оттого, что обстоятельства его смерти казались зловеще убедительными и при воспоминании о них возникала идея возмез-

дня, чрезвычайно спорная. Я успел подумать обо всем этом, пройдя то небольшое расстояние, которое отделяло кафе, откуда я вышел, до ресторана, куда я пришел ужинать и где я собирался заказать себе «буйабес».

Гайто Газданов

БЕСПРИДАННИЦА

Стародавние подмосковные —
Где вы лебеди? Где пруды?
А за липками поле ровное
Вольной воли, древней беды.

Спите в склепе, князя с княгинями
На родной-чужой стороне,
Итальяское небо, синее,
Вы не вспомните в полусне.

Я аукну в купол — Растреллиев,
И седую крысу спугну,
Пусто — внуки давно расстреляны,
Я люблю другую страну.

Голубки в беседке Венериной —
Венецйские голубки,
Те же самые — и вне времени,
Клюйте зернышки из руки.

Я заглатываю рыданьеице,
Отстраняю рукою грусть,
И опять она бесприданница —
Заграницей Россия-Русь.

САПОЖНИК

Все привычное, но почему же странно —
Будто натюрморты Зурбарана — сон:
На тарелке почерневшей, оловянной —
Розовая роза, золотой лимон.

Будто бы с гравюры Дюрера — повсюду
Громоздятся, тоже сняты в тишине —
Цыркули, колодки, хартии, посуда
На полу, на полке, даже на окне.

Зеркало — кривое-злое — исказило
 Изумленное забытое лицо:
 Детские веснушки, заткнутое шило,
 Четки, Библия, чугунное кольцо.

ГОСТИ

*Так поставь же ему угощенье на стол
 И вина неприметно подлей.*

Георгий Раевский.

Кто стучит? — Убийца? Обыватель?
 Дама? Девка? — Накрываю стол:
 Ну, приятельница, ну, приятель,
 С Богом, чтобы к черту не пошел,
 Не пошла бы... Разрезаю булку,
 Разливаю красное винцо!
 В окна, из того же закоулка,
 глянуло знакомое лицо.

2

Тихо плакать, громко веселиться,
 Тело — тряпочка, а что — душа?
 Хромоножка? Золушка? Блудница?
 Не раздумывая дыша-греша!
 Никогда не будет легче, лучше,
 Хорошо не будет на земле,
 Небо синее — сияй и мучай,
 Радуй и сияй — в добре и зле.

Юрий Иваск

**ПЕЧАЛЬНАЯ И ТРОГАТЕЛЬНАЯ ПОЭМА
О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СКОРПИОНА И ЖАБЫ
ИЛИ
РОМАН О ГОСУДАРСТВЕ И ОБЩЕСТВЕ,
НЕСУЩИХСЯ К КОММУНИЗМУ**

Каждый режим обречен на строго определенные поступки. Добро или зло, которое он совершает, — лишь проявление заложенных в нем свойств.

И ничего другого, кроме проявления заложенных свойств, режим совершить не может.

Так, например, абсолютистская монархия и хотела бы вести себя хорошо, а не может.

Ая-яй. Ая-яй.

Дифференциальная социология этого общего соображения с исчерпывающей полнотой выражена в широко известной на Востоке поэме о Скорпионе и Жабе.

Напомним читателям эту поэму.

Когда начался Великий Всемирно-исторический потоп, люди, звери, гады и другие представители различных слоев общества в ужасе и смятении бежали от потоков хлынувшей на Землю воды.

Это вы знаете.

Бежали все, и трудно было отличить тигра от лани, пермского зверозубого ящера (*Theriodontia*) от пенсионерки и зайчика от начальника спецотдела.

Это было ужасно.

Автор «Поэмы» — московский писатель Аркадий Викторович Белинков с женой Наталией Александровной в июне этого года бежали из СССР на Запад. Его открытое письмо Союзу Сов. Писателей было опубликовано 20 июля в газете «Новое Русск. Слово». А. В. — автор книг: «Юрий Тынянов» (Сов. писатель. М. 1965) и «Сдача и гибель сов. интеллигента. Юрий Олеша» (отрывки печатались в сов. журнале «Байкал»). В СССР А. В. Белинков провел 13 лет в тюрьмах и лагерях. РЕД.

Паника охватила даже тех, кому вода вообще не угрожала особенно неприятными последствиями. Но паника есть паника, и она охватывает в первую очередь наиболее отсталые слои населения.

Так, в частности, паника охватила одну Жабу, которая, как всему миру известно, вообще является земноводной, и одного Скорпиона, который в силу занимаемого положения, никогда ничего не боится.

Жаба была красивой и полной. Даже чересчур полной. Это была еще молодая, широкая в кости, добрая и ленивая Жаба, у которой все было впереди. Муж ее погиб под... как это теперь называется?... под волжской твердыней. Иногда она немножко давала. Но морального удовлетворения от этого не получала в сущности никакого.

Скорпион был сух и блестящ, элегантен и молодцеват.

В нем было что-то гусарское.

Черт возьми!

Он пользовался успехом, и знал это.

Он был членом бюро Общества по распространению политических и научных знаний. (Кроме всего прочего, конечно).

— Будь здоровчик! — сказал Скорпион и мастерски сплюнул по траектории, подобной лозе, согнутой ветром. — У меня достаточно дел, кроме Великого Всемирно-исторического потопа. — И он прогрохотал ящиками письменного стола, сунул в карман не замеченную раньше пачку денег, рассеянно листнул календарь, на котором были записаны посетители, дипломатические приемы, тезисы доклада о моральном облике, имена модных педерастов, план доноса на свою младшую сестру, дни рождения жены, детей, бабушек, дедушек и прочая баланда, зевнул, бросил календарь, длинным ногтем отставленного мизинного пальца почесал пробор, подождал, не придут ли в такой момент значительные мысли, и, не дождавшись, вышел.

Была черная ночь. Абзац. Дождь лил, как из ведра. Абзац. Молнии вспыхивали в разных местах. Абзац. Грохотал гром. Абзац.

Это вы всё знаете.

Он шел по улицам административного и культурного центра нашей великой Родины и сосредоточенно думал.

Так он дошел до набережной. Впрочем, что такое набережная во время Всемирно-исторического потопа? Кто может ответить на это?

Город, выброшенный из постелей, разнонаправленно шевелился, шептался, обрушивался.

Из-за угла выскочила машина, провела по его глазам одной фарой, и, когда вместо необъятного сверкающего пятна, он стал различать многие маленькие черные пятна, плоскости и линии ночи, он увидел перед собой Жабу.

— Хе-хекс! — сказал он и повернулся на каблуках.

Плыла широкая, как поле, вода.

— Привет, — сказал Скорпион.

У Жабы сразу пересохло горло и она сделала жалкий глоток. Глоток был маленький и круглый, и казалось, что по ее горлу прокатилась бусинка.

Здравствуйте, — сказала она, и не узнала своего голоса, и впервые почувствовала, как царапают горло «з», «д» и «р».

Изредка вдали вставляли столбы гудков, и в тишине огромного гибнущего города слышалась лишь неумолкающая восклицающая вода.

— Ночка темная приключилась, трья-та-трата-та-там-та-там... А погодка сырая была... вот именно. Вы, конечно, не любите народную музыку? — между прочим, спросил он. — Трья-та-та-там. Вы, конечно, предпочитаете джаз? — Он смотрел на Жабу голыми мокрыми глазами, цинично раздевая ее.

Жаба была очень легкомысленна, но даже она поняла, что подобные вопросы просто так не задаются.

— Народную, — с трудом сказала она. И снова не узнала своего голоса.

— Да, да, народную... Вот именно. Все у нас замечательно, всех мы обогнали, перегнали, а вот когда Великий Всемирно-исторический потоп, то, здарсьте пожалста, Пушкин должен обеспечивать транспортными средствами. Э-эх, Россия-матушка...

Жабу просто шатнуло от этих слов. Единственно, что она могла сделать в такую минуту, это перевести разговор на другую тему.

Вот кончится Великий Отечественный потоп и начнется такая жизнь, какой еще никто никогда не видал, — мечтательно, но достаточно осторожно сказала она, и смутно вспомнила, что еще девушкой в эвакуации слышала что-то похожее. И тут же, похолодев, поняла, что ее слова можно истолковать совсем по-другому: то-есть, что, мол, до или во время потопа жизнь совсем не так прекрасна. Да? Ах, вот что... Так, как. Пройдемте со мной. И она поспешно добавила: То-есть, я хочу сказать, что все у нас и так замечательно, в том числе и с транспортными средствами, но по мере нашего дальнейшего развития будут возникать еще более культурные потребности.

Скорпион на этот раз не стал истолковывать ее слов совсем по-другому. Он нервно барабанил пальцами по покачивающемуся на волне то подплывающему, то отплывающему серванту из немецкого гарнитура «Аделаида». Он чувствовал, как в нем разливается желчь.

— Идиотка, — пробормотал он закипая. — Сами воспитали таких...

Идиотка-Жаба уголком глаза посмотрела на Скорпиона и судорожно глотнула.

— Значит, по-твоему выходит, — язвительно сказал Скорпион, остро вглядываясь в клубящуюся даль и скользя иногда взглядом по жабиным формам, — выходит, что никаких недостатков нет? Так? да?

— Нет, — хрипло сказала идиотка-Жаба, — то-есть, может быть, имеются некоторые трудности. В процессе роста. А больше ничего нет. Правильно я ориентируюсь?

Но здесь их беседу на полит-массовую тематику прервал бурный вал.

Яблоневый сад пены и брызг обрушился на них. Скорпион с отвращением отшатнулся. Теперь уже не было сомнений: Великий Всемирно-исторический потоп не остановится даже перед авторитетом и испытанным руководством скорпионов. В связи с этим обстоятельством стала очевидной вся серьезность создавшегося положения.

И тогда он испугался.

И тогда он начал понимать, что происходит.

Но и раньше он понимал все. И не признавался никому, и

не признавался самому себе, ибо хорошо знал, что с такими признаниями долго не продержишься в скорпионах.

Он понимал, что еще может остановить любое из этих тонущих, погибающих существ, что он может приказать любому выбросить из лодки или столкнуть с бревна свою мать, своих жену и детей и посадить его, Скорпиона, или его секретаршу. Он знал, что еще может утопить любого и всех вместе и что любой и все вместе утопятся сразу и с радостью, и будут счастливы утопиться, потому что, если он или его заместитель сказал, значит это нужно для счастья народа.

Но только сейчас он стал понимать сам то, что годами объяснял всем. Он стал понимать, что когда приходит суровая година народного бедствия, до которого периодически доводят великие Всемирно-исторические победы скорпионов, то не он и не те скорпионы, чья власть безгранична и в сравнении с которыми он даже и не Скорпион, а чуть ли не какой-то там представитель народа, когда приходит година народного бедствия, то не они, старшие и даже высшие скорпионы, а эти простые люди, верящие скорпионам, навсегда замордованные и даже не подозревающие, что они замордованы, потому что не знали ничего иного и сравнивать ни с чем не могли, эти люди спасают страну. Простив все, эти люди жертвуют собой, махнув рукой на скорпионов, не раздумывая особенно над тем, что они сотворили, и, отвергая только ихние личности. Но воспитанные ими и отравленные ими, спрятавшимися за бедственное положение, в котором оказалась страна, эти люди снова спасают ее не для себя, а для скорпионов.

— А ну, давай, — с деланным спокойствием сказал Скорпион, шагнув к Жабе, — потом разберемся, кого куда. Сейчас главное это всем вместе ковать победу. Как гласит народная мудрость: если солнце на небе, лезь на дерево. Понимаешь? — И, сплюнув по траектории, подобной длинному голому хвосту, он поднял ногу, собираясь вскочить на Жабу.

— Что вы!! — в ужасе воскликнула Жаба и отшатнулась. Как это можно!... Ведь вы вон кто... а я? За что же вы так одинокую женщину, конечно, за меня некому заступиться, всегда на работе придешь домой руки не поднимаются телевизор включить, я всегда честно работала, план перевыполняла, у меня две благодарности, я еще молодая, зачтовыменягубите... — и она зарыдала.

Скорпион пронзительно посмотрел на Жабу, похожими на остывающие плевки глазами с добрыми лучиками морщинок, расходящихся к седеющим вискам. И рука его медленно поползла в карман, осторожно достала одну небольшую книжечку, неторопливо поднесла к жабиным глазам и раз! — вернула.

Черную бездну неба прорезала ослепительная молния.

Голубой город вспыхнул и погас в пространстве.

И в этом необъятно распахнувшемся мироздании перед ее глазами медленно и неумолимо покачивался маленький белый четырехугольник.

Бессмысленно и недвижно глядела Жаба в гербы и печати.

И рука Скорпиона упала. Абзац.

— Перевези меня, — сказал Скорпион, — на сухое. Давай вместе. Как всегда в годину народного бедствия, общими усилиями всего народа. — Сказал он и не узнал своего голоса.

Он понял, что в такую минуту, когда в глаза различным слоям населения смотрит гибель, еще более страшная, чем даже ото всех его гербов и печатей, ему нужна простая человеческая помощь, непосредственное участие и сочувствие. Без месткома, без тезисов тепла с последующим утверждением на бюро... Как всегда в ответственные моменты, ему нужна была поддержка народа.

Он вспомнил, что когда-то совсем давно, он и другие скорпионы (уже никого не осталось в живых) стали сознательно выдавать покорность и испуг за преданность и энтузиазм, а потом забыли, что это была лишь прекрасная ложь, лишь прекрасная ложь, которая, конечно, возвышает человека, но в то же время отдаляет его от истины. Да и те, которым пришлось выдавать свою покорность и испуг за преданность и энтузиазм, тоже забыли. Он не был лишенным некоторой сообразительности Скорпионом (поскольку это вообще возможно при занимаемой им должности), и он своим острым, длинным, быстро вращающимся и хорошо ориентированным носом почуял, что в такую минуту надо спастись совсем иным способом, нежели тот, к которому привычно прибегали, когда нужно было выполнять и перевыполнять план. Воспоминания, воспоминания, давая друг друга, выскакивали перед ним. Перед его мысленным взором проходили разнообразные выразительные картины, и он вдруг с удивительной выпуклостью увидел, как

во время войны некоторых ответственных и даже весьма ответственных скорпионов вытряхивали из персональных машин и предлагали им двигаться ножками и желательно в сторону фронта. — Только бы кончился этот Великий Необыкновенный Лучший в Море и прочее, и прочее проклятый потоп, — с отворачиванием, сбросив с сердца железо, подумал он, — только бы уж кончился... Ведь сами, сами себе в карман наложили. Как всегда. Точно. Справиться бы на этот раз, а там бы все снова... то-есть, придется много, ох много что пересмотреть.

Наступила минута, необычайная по значению в его жизни. И эту минуту подчеркнула молния и торжественно выделил гром. И в эту минуту уже не молодой Скорпион был внутренне почти подготовлен к тому, чтобы понять всю жестокость и противоестественность, всю надуманность и несправедливость, всю безжалостность, безжизненность, бесчеловечность, бессмысленность создаваемых им идей. И, может быть, если бы произошло еще пять-шесть Великих Всемирно-исторических потопов, он начал бы кое-что понимать. Кто может ответить на это?

Нет, он не мог понять ничего. Он чувствовал, что происходит что-то роковое и непоправимое, но понять он не мог ничего. Он мог лишь подпереть, подновить, подставить палку. Может быть, снизить цены?... Может быть, повысить цены?... Съезд... Пленум... Он хотел понять, что-то сделать... Он ничего не мог понять и ничего не мог сделать. Он был обречен на поступки, строго определенные его социальной судьбой, и ничего, кроме этих и только этих поступков, он совершить не мог. И противоестественность и бессмысленность его социальной судьбы заключается именно в том, что он должен всегда и всем выдавать ложь за правду и зло за добро.

Он был несколько неожиданным, даже эксцентрическим явлением среди беспросветных скорпионов.

Однажды, слушая некоторые его высказывания, Генеральный Скорпион по Китаю покрутил пальцем у виска и переглянулся с Полномочным Скорпионом по международной напряженности.

Он знал об этом и боялся, и поэтому иногда делал то, что не решались делать даже беспросветные скорпионы и что сам он считал ненужным и вредным. Но он знал, что не ревность погубила лучших скорпионов эпохи... Его подгонял страх.

Размышляя над проблемой своей неполной спайки с кол-

лективом, он пришел к выводу, что это отрывается соматическая мутация. (Sic!)

— Бабка отрывается, — с горечью думал он, откладывая на время проект постановления, по которому должно было погибнуть за отчетный период 1.284.126 чел. и уничтожено на 6.089.394.788 руб. 02 коп. материальных ценностей (контрольные цифры).

И действительно, бабка в иных случаях непозволительно отрыгалась.

Эти мягкость и человечность передались ему от нее, простой русской женщины с большими теплыми руками и ногами, задавленной нуждой и задуманной в русской печке своим мужем и сыном со снохой — его дедом, отцом и матерью. (Из чего следует, что в данном случае имела место именно мутация, импulsировавшая рецессию. Sic!).

Один раз бабка чуть не отрыгнулась роковым образом во время творческого процесса над постановлением «О журналах 'Звезда' и 'Ленинград'» от 14 августа 1946 г., где ему была поручена разработка текста: «Поэтому всякая проповедь безыдейности, аполитичности, «искусства для искусства» чужда советской литературе, вредна для интересов советского народа и государства...»* Он предложил вместо слов «чужда» и «вредна» слова «не свойственна» и «не полезна». На этом было сконцентрировано специальное внимание. Но потом, брошенный на оперу Вано Мурадели «Великая дружба», он стал так зверствовать и лютовать, с такой захватывающей, всепожирающей яростью выжигать все вокруг оперы Вано Мурадели «Великая дружба», что превратил в дымящиеся развалины кино в скульптуру Российской Федерации, сельское хозяйство Прибалтики, металлургию Восточной Сибири, цирк Северного Казахстана, речную, озерную равно как и морскую рыбу во всесоюзном масштабе, а также кустарные промыслы на Гуцульщине. Таким образом, его либеральная выходка, граничившая с прямым аполитицизмом и непосредственным наплеви́змом, была на время как бы забыта.

В нем была какая-то непоследовательность и наскоки-

* «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.)», «Правда», 21 августа 1946, № 198.

стость, и поэтому не было планового и надежного постоянно увеличивающегося роста удушаемости.

Впрочем, не будем преувеличивать.

И вот теперь он видел не по отчетам и докладам, в которых с некоторых пор стал смутно подозревать возможное преувеличение средних цифр по народной любви, охвату и посещаемости, а также по человековыдачам книгоединиц, он видел, что великое солнечное здание, любовно выстроенное добрыми руками народа под неослабным руководством скорпионов, рушится и гибнет.

— Перевези, — попросил Скорпион, и почувствовал, как царапают горло «р», «з» и что-то еще такое... — кончится потоп этот проклятый, то-есть... — Он не стал выпутываться, он махнул рукой на все. — Тогда жизнь по другому пойдет. Это я тебе авторитетно заявляю. Есть одно решение, — сказал он негромко и многозначительно посмотрел на нее... — Сама должна понимать, транспорт лимитирует. В данное время самое главное это единство всего народа на основе абсолютной преданности скорпионам. Понимаешь? Ну, давай.

— Нет, — решительно хотела сказать Жаба, и нерешительно сказала: — Да...

И привычно, как в лучшие времена, Скорпион вскочил Жабе на шею.

Жаба осела, зажмурилась, заерзала на месте, и, послушная горькой и трудной, неприкаянной и окаянной судьбе своего народа, вынесшего и татарское иго, и княжение Иоаннов, и Смутное время, и бредовую ночь временщиков, палки Павла и шпицрутены Николая, крепкоотную неволю, великие войны, исторические победы, бессмертные подвиги, гербы и знамена, ордена и медали и прочий российский государственный классицизм, напряглась, стронулась и поплыла, медленно и обреченно.

И вот они в открытой стихии.

А вокруг лишь вода и тучи, и ночь.

И только впереди — сверкающее будущее и много других величественных, замечательных и необыкновенных страниц отечественной истории.

И она плыла, и больно сжималось ее сердце, и к горлу ее подступали рыдания.

Скорпион тоже был неспокоен. Все ему было странно и чуждо: и эта вода, и эта Жаба, и окружающая действитель-

ность, и то, что никто не шарахается от него, и то, что прошло уже четыре часа, а он еще не подписал ни одной такой бу-
мажки...

Она тяжело дышала, и плыла, и думала о том, что норми-
ровщик ее опять обсчитал и что опять она ничего не сказала.
Она вспомнила дочь, умершую у нее на руках в войну на тя-
желом, холодном Урале. Вспомнила она день победы, который
ждали тяжких четыре года, и верили, что все равно что-то долж-
но измениться. Вспомнила она, как обманывали ее мужчины, а
она их любила преданно и благодарно, как они уходили к дру-
гим, более ловким и знающим какую-то женскую тайну, кото-
рую она никогда не знала, и как она плакала, а потом утеша-
лась. Она думала о том, что прошла ее молодость, увяла ее
красота и что она ждала всю жизнь счастья, и счастье к ней не
пришло.

Вдруг острая боль пронзила ее. Фиолетовые костры, крас-
ные трубы, черные, белые стремительные копыта били в глаза
ей. Потом темный тяжелый камень лег ей на спину, и медленно
поворачивающееся Мироздание прошло по широкой дуге. По-
следний раз она увидела воду, горизонт, небо и океан сомкнул-
ся над ней.

Неотвратимая развязка наступила вследствие того, что
каждый режим обречен на строго определенные поступки. До
сих пор относительно спокойно сидевший Скорпион вдруг
вскочил и закричал так, как будто бы это обсуждение стихов
одного просчитавшегося поэта или еще хуже — мемуаров од-
ного перехитрившего самого себя прозаика.

— Натура не позволяет!! — страшным голосом закричал
Скорпион, и, гикнув и свистнув, всадил сверкающий смерто-
носный крючок в толстую задницу Жабы. — Натура не позво-
ляет! Не позволяет! — кричал он, всаживая, всаживая смерто-
носный крючок. — Знаю, что погибну, знаю, вот она, вот она
— гибель, вот она гибель моя в морской пучине! Пропадаю
вместе с Жабой! Ни за что пропадаю! Все знаю. Философию
знаю, про искусство все знаю, сельское хозяйство знаю первый
сорт, вопросы языкознания, будь здоров, как знаю! Будьте вы
все прокляты!! — вскричал Скорпион, и вместе с булькнувшей
Жабой маленьким острым серпом косо ушел в воду, в пучину,
в бурлящее море, в Великий Всемирный Исторический Нацио-
нальный Отечественный потоп.

Он был испорчен до конца. Он был отравлен концепцией, которая его воспитала, на которой он воспитывал других и о которой в глубине души уже знал все. Он ничего не мог сделать.

Но перед тем, как уйти навсегда в неистовствующую стихию, он оглянулся и он замер от охватившей его национально-патриотической гордости: он увидел, как среди мрака и молний плывет в грядущее на представителях различных слоев населения гордый флот скорпионов.

Аркадий Белинков

ЭТО ПРОШЛОЕ...

Это прошлое — пушки палили
и повешенных в сумерках — пять
барабаны безумные били
всю историю, каждую пядь.

Это прошлое, страх, предрассудки
даром разве идет на уста?
это утро в — тогда — Петербурге
разве кануло в дым навсегда?

Эти кони и крик над Невой —
и должно быть столица спала —
потускневшие там, за водою,
золотые тогда купола...

Эти в сумерках ранних, ей-Богу,
в Петербурге повешенных — пять
бледным строем, лицом к эшафоту
долго ль будут, у пушек, стоять?

«о Сюзанна!...»

Никого уже нет в Париже
не сезон, очевидно, Сюзанна
все, ей-Богу, так мирно, так странно —
познакомимся с миром поближе, поближе.

Пробежим, если сможем, с улыбкой, глазами, Сюзанна
сказки детства, улиткой скользнувшую гладь
эти сказки, Сюзанна, как будто руками, склонившись,
погладь
жизнь Сизифа и башни Сезама.

Что же значат слова “поражение Парижа”?...
и вот — Революция, “дада”, этюды
и бульвары, как хрупкие вазы-сосуды,
льются в мутную Сену, в эту Лету Парижа.



Когда Вселенная — весь день густой эфир
вся чаша сна, вся пыль соцветий
когда душевное спокойствие и мир
и равновесие в услышанном совете

Когда сам воздух — сух, немногослоен
и суховеи — вести о покое
и летний день нетлен, немногословен
полыни полн и бархата левкоя

И что ж?... все кажется так верно, так спокойно...
И из куста, как будто век ждала —
с начала дней — взлетает птица-сойка
и тихий свет ласкает ей крыла...

У САМОЙ ГРАНИ ТВОРЕНИЯ

лихорадило, розовый недуг
проносился как сонм, над землей
Дух Времен — и не друг и не недруг —
над завесою — первой зарей
пелена высыпала, то — шопот,
то казался февраль, то — весна
в жар бросало в холодный и в штопор
и в объятия вечного сна
то трубили архангелы в ужасе
(и должно быть по сей день трубят!)
то — из Вечности, жизнью разбуженной,
то — в предчувствии страшных утрат...
то спускалась в воскресное утро
колыхалась туда и сюда
виттенбергская заповедь Лютера —
справедливости, прав и — суда

Яков Бергер

“МИМОЛЕТНОЕ” В. В. РОЗАНОВА

ВЫПИСКИ

Последняя книга В. Розанова “Мимолетное” должна была стать третьей частью его трилогии: “Уединенное”, “Опавшие листья”, “Мимолетное”. “Мимолетное” писалось в 1913-16 гг. и нигде не было опубликовано.

Текст его записан в двух толстых тетрадях, откуда в 20-30 гг. были сделаны эти выписки, — к сожалению, далеко не полные.

В конце 50-х годов дочери В. В. Розанова передали весь его архив в московский “Государственный Музей Изобразительных Искусств имени А. С. Пушкина”. Там архив Розанова поместили в подвальном помещении и все его материалы для опубликования пока закрыты. Младшая дочь В. Розанова, Надежда Васильевна, была талантливой художницей и мемуаристом. Она написала воспоминания об отце, но ее воспоминания тоже еще не опубликованы.

“Выписки” печатаются по тексту, полученному мною из Советского Союза. В конце “Выписок” — не вошедший в них отрывок из “Мимолетного”, содержащийся в книге Н. В. Розановой “Из моих воспоминаний”, и “Примечание”.

Ю. Терапиано

Надпись Н. В. Верещагиной-Розановой:

Передать Тане

в случае моей †

20/X-1915 г.

Что же победит — буря победит покой, или покой победит бурю?

Буре — час.

Покою — вечность.

— Хитрый бес подсказал

Но буря занимательнее покоя

(a!)

Зачем о победе? Зачем о борьбе?

Каждое ложится в свое место и в свое время. Бог мудрее
человеков. И дал миру и бурю и покой.
(ночью в постели)

19/IV

Не нужно “примирения”.

О, не нужно.

Никогда.

Пусть все кипит в противоречиях. Безумно люблю кипенье.

Мировой котел. Сплавляй. “Берегись, прохожий”.

Берегись. Ошпарят. “Погубишь душу свою”.

Но где гибель — и рождение.

Из котла вырастают цветы. Детишки. Идеи.

И опять попадают в котел, чтобы “жаты” было больше
(строчка неразборчива).

И кипит.

И родит.

Это — лоно мира. Куда же тут Гегель со своим “син-
тезом”. Привел в Берлинскую полицию.

Розанов говорит ему:

НЕ-ХО-ЧУ.

9/III. Конец.

Я в сущности вечно в мечте. Я прожил потому такую дикую
жизнь, что мне было “все равно как жить”. Мне бы “свер-
нуться калачиком, притвориться спящим и помечтать”.

Ко всему прочему, безусловно ко всему прочему, я был со-
вершенно равнодушен.

И вот тут разворачивается мой “Нос” и “Нос-Мир”.

Царства, история, тоска, величие, о, много величия: как я
любил с гимназичества звезды. Я уходил в звезды. Стран-
ствовал между звездами. Часто я не верил, что есть Земля.
О людях — “совершенно невероятно” (что есть, живут)

3/III.

Да. Нанюхался цветов из Елисейских полей.

(колокольчики мои

цветики земные

что стоите там и сям).

Памятник Розанову не надо ставить.

Но надо поставить памятник “Носу” Розанова.

“И был мир. Но он был непонятен. Пока не появился “Нос” Розанова, который все объяснил, который понял, что звенящие лучи солнца тоже пахнут”.

7/IV.

...дремлешь, дремлешь...
усталость в ногах...

Совсем спишь

Проснулся

И как “стрела в ухо”: Егда приидеши во Царствии Твоем
и прослезисься.

Так же все мы живем мигами.

Сто лет лжи и минута правды и ею спасайся.

(как я стою в церкви).

11/III-1916.

Метафизика живет не потому, что людям “хочется”, а потому, что самая душа метафизична.

Метафизика — жажда.

И поистине она не иссохнет.

Это — голод души. Если бы человек все “до кончика” узнал, он подошел бы к стене (ведения) и сказал: “Там что-то есть (за стеною)”.

Если же перед ним все осветили, он сел бы и сказал: “Я буду ждать”.

Человек беспределен. Самая суть его — беспредельность и выражением этого и служит метафизика.

“Все ясно”. Тогда он скажет: “Ну, так я хочу неясного”. Напротив, все темно. Тогда он орет: “Я жажду света”. У человека есть жажда “другого”. Бессознательно. И из нее родилась метафизика.

“Хочу заглянуть за Край”.

“Хочу дойти до конца”.

“Умру. Но я хочу знать, что будет после смерти”.

“Нельзя знать? Тогда я постараюсь увидеть во сне, сочинить, отгадать, сказать об этом..... (Слово неразборчиво).

Да. Вот стихи еще. Они тоже метафизичны.

Стихи и дар сложить их — оттуда же, откуда метафизика.

Человек сотворит. Казалось бы, довольно. “Сказал все, что нужно”. Вдруг он запел. Это — метафизика, метафизичность.

30/III-1914.

Не обижайте любовь... Не тесните, не гоните ее, не под-

смастривайте за нею. Не клеветайте на нее. Не сплетничайте о ней.

Родители, не обижайте любовь своих детей. Общества, не обижайте своих членов. Господа, не обижайте любовь своей прислуги.

Начальство учебных заведений — не обижайте любовь учеников и учениц.

Ах, как коротка жизнь. Как тяжела. Как скучна. Однообразна, томительна.

“Други мои, если это так, — а это несомненно так, — то неужели вы “в жесткой руке” сожжете почти единственный, во всяком случае главный и всему живому дарованный цветок — любовь? Как странно. Как горестно. О, разожмите, разожмите руку, выпустите. Пусть цветет и благоухает. Берегите его. Целуйте его. С покрывалами (полотнищами) станьте около любви и закройте ее от осуждения злых. И не подозревайте: “она будет коротка”. Не клеветайте: “она будет неверна”. Ничего не думайте. “Как Господь устроит”. Вы же берегите и берегите всякое “Есть” любви.

(на сон грядущий)

Семя души нашей сложно... Жизнь есть противоречие. И “я” хоть выражено в одной букве, включает весь алфавит от “А до У” и т. д. (1913 г., май).

В собственной душе я хожу как в саду Божьем. И рассматриваю, что в нем растет, с какой-то отчужденностью. Самой душе своей — я чужой. Кто же я? Мне только ясно, что много “я” в “я” и опять в “я”.

И самое внутреннее смотрит на остальное с задумчивостью и без участия.

(приехав в Сахарку за набивкой табаку)*

Вечное солнце течет в моих жилах

И томит, и зовет, и наполняет счастьем,

Вот отчего я пишу.

И земля и грязь здесь.

И холод.

(на обрывке корректуры)

Да, ведь если в самом деле есть загробное существование души, бессмертие души и Бог...

* «Сахарка» — имение друзей Розанова.

Тогда...

Что тогда?

А не более и не менее, как глупостна наша литература (даже и Пушкин), цивилизация, культура, гимназии, школы, университеты, “речь в Думе”, и “смена Коковцева”.

Ведь тогда...

Господи! Неужели есть?

Ведь тогда ничего нет “нашего”, “глупого”. Ибо все “наше”, решительно все, построилось и рассчитано в твердой уверенности, в абсолютной уверенности, что этих трех вещей —

Загробного существования
Бессмертия души
Бога

— вовсе нет!

Господи, которое же есть?

Господи! Господи! Неужели Ты есть?

Но ты радостнее всего мира. И как я хочу, чтобы (уже легче) мира не было, а был Ты.

Неужели?

Какое колебание. Если Ты, то конечно ничего не надо. Ибо кто-то уже обладающий державой поднимает гривенник. Почему такая радость думать о Тебе. Тебя нет. Но почему же думать о Тебе радостнее всего на свете, самого бессмертия, самого загробного существования, радостнее...

Есть ли?

Нет ли?

Но если сказали “так таки решительно нет”, я захотел бы сейчас же умереть.

Какая странность...

Танцевать ли?

А ведь с Богом все затанцуем. Если Бог — то как не танцевать. Не удержишься.

(июль 1913 г.).

1913 г.

Почему я, маленький, думаю, что Бог стоит около меня. Но разве Бог стоит непременно около большого. Большое само на себя надеется и Бог ему не нужен и ненужный отходит от него. А маленькому куда деваться без Бога? И Бог с

маленьким. Ты со мною потому, что особенно мал, слаб, дурак, злокознен, но не хочу всего этого.

1913 г.

Я — великий мердий. Мне нужен метод души, я не ее (ума) убеждения. И этот метод — нежность.

Ко мне придут (если когда-нибудь придут) нежные, плачущие, скорбные, измученные, замученные. Придут слабые. Только пьяниц не нужно. И я скажу им: “я всегда и был такой же слабый, как все вы, и даже слабее вас, но всегда душа моя плакала об этой своей слабости. Потому что мне хотелось быть верным и крепким, прямым и достойным. Хотелось величественным никогда не хотелось быть...” Давайте устроим Вечерню Господню, “Вечерню чистую”... — И запоем наши песни, песни слабости человеческой, песнь скорби человеческой...

2-я тетрадь в коричневом переплете.

Тетрадь для записи В. В. Розанова.

Надпись, сделанная рукой Надежды Васильевны Розановой-Верецагиной для старшей сестры Татьяны Васильевны Розановой:

Тане

В случае
моей †

(тушь)

2-я тетрадь вновь переписана Татьяной Васильевной Розановой в июле 1957 г., после смерти сестры Надежды Васильевны, умершей в июле 15-го числа 1956 г.

13/IV... Все очень умные люди эгоистичны. Талантливые тоже. Вот почему я не очень люблю умных и талантливых тоже...

— Ну их к чорту.

“Пообыкновеннее — лучше”. Но, Розанов, ведь обыкновенных людей очень много. Да. Но без вкуса. Ничего я так не выношу, как без вкуса. Это не эстетика (хорошо чувствую), а другое. Что другое? Не знаю. Не понимаю.

Помню же я 20 (30?) лет того, кто в Нескучном саду (Москва) говорил приятелю: один и никого, т.-е. придешь в Загородный сад и никого из “своих” не встретишь. Я могу любить гуляку, проститутку, целомудренную жену, ребенка,

старика, даже министра (кажется, могу любить, но если он с “задоринкой”, напр., Георгиевский (А. И.) вдруг стал переводить псалмы Давида, и я ему (в душе) “простил классическую систему”).

Вообще я люблю вздорное, глупое, “ни на что не похожее” — я в восторге. Я ненавижу только правильное, корректное, монотонное, “как все”.

“Без сапогов” — сапожника — безумно люблю. Лодырничавшего — люблю. Морисон все занимал у меня деньги и ужасно мучил — я был восхищен им. Я только не люблю порядка. Но вот бабушка (М. Андр.) и “мамочка” все в порядке, и тоже люблю. Отчего?

— Грациозный порядок.

Эврика! Я не люблю скупого порядка. Эврика... Эврика — я не люблю скупости, воздержанности, сухой земли. Во-о-о: Я люблю влажное. Болотце люблю. Росу утреннюю и вечернюю. Слезы люблю. “Сухого гнева” ненавижу. Значит это моя стихия (греки) из воды...

“Бог вначале создал воду” (Оагес). Во... о... о... о...

Бог вначале создал Розанова. “Из Розанова пошло все”. Отсюда я родной “всеми”. Ей-ей.

17/IV. Буду ли я читаем? Я думаю — вечно. Какая причина забыть? Никакой. “Добрый малый, который с нами беседует обо всем”. Который есть “мы”, который есть “один из нас”. В моем смирении — моя вечность. Что я “ни над кем не поднялся”, обстоятельство, что я “вечно сохраняюсь в океане людском”. И вечно кого-то утешу. И вечно кому-то пошепчу на ухо... Самое обыкновенное. Как я сидел и ковырял в носу. Это вечное... Хорошо.

И со мной будут помнить мою “мамочку”... Мою родную, мою близкую.

Как-то она капризничала. Как не умела отпирать замок. Как вечно прятала платок на дно сундука. Что же будет? И я и мамочка — мы будем вечны. Мы были (в сущности) милые люди и мы будем милы людям. Вот и хорошо.

Что же это такое? Египетская пирамида: “Здесь был человек”. Но не подобие христианского храма. И пройдет человек и скажет: “Упокой, Господи, раба твоего Василия и старицу” (тогда она будет...).

Нет, просто: “И рабу Божию Варвару”.

Хорошо. Этот Гутенберг на что-нибудь пригодился.

Я умру угрюмо...

Я умру радостно...

Умру с гневками, которые вечно и в час смерти не заглохнут в душе (“разреволюришки” эти попы).

Но это не “я”. Гнев — не я.

Уста бранятся, а сердце любит.

“Господь с Вами” — вот земле и людям.

Был ли я хороший человек? “Так себе”, с фантазиями. Ну, Бог с ними. Теперь дело: “что я сделал?”

Нельзя отрицать: родил множество новых мыслей.

Ну и шут с ними. Но главное... Господи...

Что ты спрашиваешь о снежинке одной в вьюге, которая не-сется, кружится, “забыта”, “вспомнена”, “видна”, “не вид-на”. И упадет. И растопчут. Или растает.

Господи — я жил. Это хорошо. Спасибо Тебе.

30/IV. “Всякое определение есть суждение” (философия).

И определять не нужно.

Пусть мир будет неопределен.

Пусть он будет свободен.

Вот начало хаоса....

Он так же необходим, как разум и совесть.

Живем и горим.

Живем и путаемся.

“С утра подметають”,

А к вечеру, смотришь, — везде сор.

Этот сор — наша жизнь.

Разве она плоха?

И вот объяснение, что душа моя путаница.

И как разлезаящаяся нить и “притом бумажная”.

Зорька — и мысль.

Другая зорька — другая мысль.

Калоши — валяются.

Мысли валяются.

Калоши в дырках.

В мыслях — ошибки.

И отлично. Капустка все-таки растет “с ошибками и без ошибок” и заяц так обеими лапками и загребаёт в рот.

24/VI. В минуте иногда больше содержания, чем в годе. А

когда приходит смерть, то в ее минуте столько содержания, сколько было во всей жизни.

“Что же такое время? И час, год, неделя?”

(у Филипова за кофе).

5/VIII. Только те люди счастливы, которые не думают о себе. Но зато это самый прочный вид счастья. Его не ест червь. Не пополяет огонь.

(конка).

20/X. Дана нам красота невиданная
И богатство неслыханное.
Это — Россия.
Но глупые дети все растратили.
Это — русские.

“Мимолетное” 1914 г.

ПЕРЕЛОМ...

20/VIII. Верочка объявила матери, — точнее спросила позволения (никогда ни на что не спрашивала позволения, буйная) может ли она поступить в монастырь?

Я набивал папиросы и слушал. После ужина мама уже лежала в постели, и Верочка, сев на край, — своим взволнованным и патетическим голосом, немножко басом (контральто) мотивировала:

— Послушай, мама. Мне надо с тобой объясниться. Прежние годы (8 класс Стоюниной). Я не сомневалась, что когда кончу, поступлю на курсы (и именно на философское отделение), много читала все годы по истории культуры, истории искусства и литературы и по философии (Виндельбанд и вообще брала книги у меня, у курсисток), но эту зиму я стала колебаться и нарочно ходила на публичные лекции, как и присматривалась к жизни и занятиям курсисток. Наши курсистки (Аля, Наташа) занимаются серьезно, но у них это — личное. Сама по себе обстановка курсов ужасно мешает сосредоточению души и есть непрерывная толчея, мелькание и шум. И тишину дает только монастырь. Когда я была в Соловецком монастыре (последняя экскурсия), то отойдя в сторону от класса, почувствовала такую общность свою со всем, что вижу, что сказала: вот где мое место, потому мне хотелось пойти непременно и здесь в монастырь (Черемнецкий около Луги — пешком) одной, чтобы проверить свое чувство. Здесь я расспрашивала об условиях поступления в

монастырь... зажавшись и целуя мать: - - - - -
И потом, мамочка, у тебя никто больше не будет таскать из буфета сладостей... а у папочки книг... Комната моя освобождается Васе (он без комнаты, спит в нашей спальне, а днем притыкается, где можно).

Я оглянулся: не плачет ли — нет.

— Ну, мамочка?

— Все-таки, милая Верочка, мне хотелось бы, чтобы ты кого-нибудь полюбила и вышла замуж.

— Я никакого влечения к замужеству не имею, и во всяком случае замуж не пойду (Вера).

— Полно, мама. Если мы с тобой живем счастливо, то ведь у нас особенная встреча, и такое уважение и любовь друг к другу... а рядовое замужество, чтобы стать за спину какого-нибудь самодовольного мужчины и всю жизнь ухаживать за его удобствами и покоем, за то, что он “снизойдет до тебя”... Нет, от такой судьбы избавь Бог всякую. И если она определенного влечения к замужеству не имеет — и не надо. — Я за твоё влечение, Верочка. Это — правильно. Курсы, гимназия и университет самый пошлый шаблон, по которому идет стадо, и идет потому, что оно стадо. Все это — разорство, пустомельство и ты верно бежишь от толпы и общего пути.

Ты верно сослалась (она раньше сказала), что тебя утомил шум и движение, и что этот шум и разговоры (неразборчиво) и не дает... Она так хорошо все мотивировала. Сложнее (гораздо), чем я сказал здесь. Мне нужно было выйти на балкон. Небо облачно, но и звездочки. Я сказал внутри себя: а внуки?

И первый раз в жизни почувствовал, что будут духовные внуки, что на земле слишком достаточно, до перегруженности, физических внуков.

Верочка совершит подвиг, войдет добрым лицом в русскую жизнь, доброй, благородной фигурой.

Войдя, я сказал маме: Я только что читал анкету мюнхенских студентов. Они все... (неразб.). И так себя расписывают с самодовольством. Да это довольно известно по русским анкетам (в Мюнхене то же среди русских студентов....). В замужестве, иначе как особенном, по счастью, она не сохранит своей благородной личности. Я только радуюсь, что она особенная и на особенном пути. Анкету я прочитал в июльской книжке “Русской Мысли”.

Мама молчала и соглашалась.

Я думал:

— Да, серьезный путь в России только религиозный. Не присоединяться же к этой вобле.....

“МИМОЛЕТНОЕ”

В. Розанова.

Прошел дождь. И, думая, что Вера, запертая с утра до ночи в своей комнате, угрюмая, раздраженная и грубая, что-нибудь “дурное делает” у себя, — я вышел в сад.

Был первый час ночи. Все давно уснули. Я встал из-за монет (античные, определяю).

Комната ее была угловая с окном “уже на ту сторону” и надо было почти продраться между каких-то кустов вообще и деревьев сирени. Трудно. Далеко. И задетое дерево так и окатывало тебя вторичным дождем с листьев дерева. “Но, наконец-то, я увижу, что делает Вера ночью!”

И я терпел и лез, терпел и лез. А вот и полным светом освещенное ее окно.

Столик маленький, кой-какой, стоял в углу. Весь с книгами и тетрадями, довольно хаотичными. И моя Верочка, поставив локоть руки на стол и касаясь щекой кисти руки, сидела, устремив глаза в какую-то беспредметную даль. Я довольно психологичен и написал “О Великом инквизиторе” Достоевского, так что умею различать тени лица. Ни гнев, ни порок, ни тайное злоумышление от меня не укроются. И подозрительным и придиричивым взглядом я взглянул на “злую Веру”.

Я ее считал злой, потому что она была постоянно груба. К тому же не хотела наливать чай. Я ее считал и глупой, потому что была предана глупым темам гимназии.

Прокурор и отец судил свою дочь. Тайно и мысленно.

Передо мной сидело воздушное лицо. Комната — была. Лампа — да. Но заметно было, что она отсутствовала из комнаты. И даже отсутствовала вообще из нашего дома, в котором было так жестко и неудобно.

И перешла куда-то...

Куда — я не знал.

Милое, доброе, в высшей степени умное лицо горело какой-то задумчивостью, в котором, — я ясно видел, — не было червячка. Вместе с тем, как можно было ожидать в ее годы (15-16 лет), что мысли не перенеслись к “кому-то”, кто завладел ее сердцем. Лицо было глубоко свободно и самостоятельно. В лице была восхищенность, но общим миром идей. Как будто она кого-то страстно убеждала и убе-

дила. Спорила — и победила. Но самая победа разлилась по нему мягкостью и примирением.

— “Вот я шла трудной дорогой. В лохмотьях и через грязь. И все думали, вы, люди — (непременно вообще), что я иду через грязь и в этих лохмотьях по любви к самой грязи и лохмотьям. И я не оправдывалась, не опровергала, потому что Вера гордая. Но я для вас же старалась и о вас же думала, — все люди (непременно — “все”).

Мне нужно было доказать трудную истину, которую вы все отвергали, но которая есть именно истина. И вот я пришла. Во мне нет больше сил, и я умру. Я умру, потому что я отдала из себя все силы, какие были, и мне нечем больше жить. Я уже кашляю, и вы это знаете. Пусть. Мне ничего не нужно. А только вы будете помнить все, несчастные и злые люди, что Вера была совсем не то, что вы о ней думали...

И ты тоже, мой несчастный папочка, так глубоко ошибаешься. Но я уже ушла и не с вами. Нельзя ничего поправить, и все кончилось”.

Я долго стоял. Очень долго. С полчаса. Она не шевельнулась. И эта же чудная, чуть-чуть наметившаяся улыбка в губах и вдохновенное лицо, героическое и вдохновенное. Что это было, я не понимаю, но, очевидно, и для нее это была счастливейшая минута в жизни. Ведь такие минуты вообще редки...

...“Вера в странствиях”, — подумал я, — “но добрая”. Господь с нею. У всякого свои пути.

И перекрестил через стекло окна.

Небо было беззвездное, совсем темное. И в темноте сада стояла черная ночь.

Подойдя к маме, которая, как всегда, “навстречу” проснулась, я сказал:

— Знаешь, мама, нам нечего беспокоиться о Вере. Она добрая. И ничего худого с ней не происходит. В ней нет злоумышления.

ПРИМЕЧАНИЕ К КНИГЕ Н. В. РОЗАНОВОЙ “ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ”

М. Н. Стоюнина, начальница гимназии, писала мне в 1919 году: “У меня хранится ее (Верина) сочинение, которое она для меня написала, будучи в приготовительном классе (и потихоньку положила на мой письменный стол во

время акта), полное фантазии, героических чувств и любви к отцу. Уже тогда было видно, что это за горячее сердце и восторженная головка...”

В 1920 году, когда из Сергиевского Посада я приехала в Петербург на несколько дней навестить своих друзей, Владимир Васильевич Гиппиус, который в старших классах у нас читал литературу, узнав о моем приезде, просил меня прийти к нему.

Владимир Васильевич — писатель и поэт (псевдоним Бестужев), но главным образом талантливый литературовед и блестящий оратор — был двоюродным братом З. Н. Гиппиус и идейно связан с Мережковскими. В годы студенчества он был близок к А. Добролюбову и одно время жил с ним вместе в одной комнате на Пантелеймоновской улице, которую они устроили наподобие гроба, оклеив ее черными обоями. Оба были провозвестниками декадентства.

Гиппиус встретил меня словами (выписка из моего дневника 1920 года):

Когда я узнал о вашем приезде, я очень захотел вас увидеть, чтобы сказать об одном. Это грех моей жизни, это подлость, которую я сделал в жизни. Я, может быть, недолго проживу и я хотел бы, чтобы вы это знали. Может быть, вы даже запишете.

Когда решили Мережковские исключить вашего отца из Религиозно-философского общества, то в их квартире происходили бурные заседания. Я выступал на них. Я говорил, что нельзя из-за политических выходов исключать таких членов, как Розанов. Пусть всё, что он говорит, отвратительно, скверно, но его литературное значение от этого не меньше. Он остается как писатель. Я им прямо сказал: “Если бы это сделал Толстой, Соловьев, Достоевский, — исключили ли бы его, как вредного члена, что он мешает им для проведения их идей”. Мережковские требовали, чтобы я подписался, но я не соглашался. Когда настал день — я не пошел на собрание и послал записку: “Примыкаю к мнению большинства”. В этом была моя подлость. Как мог я это сделать? Но, понимаете, я был страшно связан с Мережковскими. Я ходил к ним не как родственник, а как человек, близкий их идеям. Они играли роковую роль в моей жизни. Я не мог порвать с ними, связь была такая, что, порвав ее, я как бы убил часть своей души. Мне надо было выбирать — Розанов или Мережковские? И я выбрал Мережковских. Но, уходя, я сказал: “Я вам этого никогда не

прошу". С этого времени я перестал ходить в Религиозно-Философское общество, и в корне подорвалось мое отношение к Мережковским.

— Знали ли вы о существовании в Религиозно-Философском обществе ордена масонства? Он был основан Мережковскими. И вот из-за этого они не могли оставить Розанова. Они звали меня вступить в него, ко мне приходил один человек, но я наотрез отказался.

В этот вечер он много говорил о моем отце и своем отношении к нему и о Мережковских. Я тогда все записала в дневник.

— Знаете ли вы, — спросил меня Гиппиус, — что Мережковский творил под влиянием вашего отца? Я расскажу вам следующий факт: раз я пришел к Мережковским. Дмитрий Сергеевич сидел на диване и читал только что вышедшую "Легенду о Великом Инквизиторе". Он был в восторге. И после этого начался целый ряд его статей о Достоевском. Только Аполлон Григорьев мог говорить о Пушкине так, как говорил ваш отец о Гоголе. Как для Аполлона Григорьева Пушкин был вопросом жизни, так и для вашего отца выяснение Гоголя, суд над ним был его личным вопросом, и оттого это единственная по силе и глубине критика. И потому так хороша и книга Мережковского "Толстой и Достоевский", что она проникнута духом книги вашего отца.

Об "Уединенном" и "Опавших листьях" Мережковский говорил ему, что, читая их, он зачаровывается обаянием его стиля, и только когда начинает рационально мыслить, — начинает и спорить и ненавидеть.

— Мережковские, — сказал Гиппиус, — всегда играли двойную роль в отношении декадентов. Помните вы его статью в книге "Не мир, но меч", страницы о Добролюбове? Ведь это всё неправда. Они даже его *не принимали вначале* (я ведь очень близок был с Добролюбовым), а после в книге своей он называет его "Франциском Ассизским".

Владимир Васильевич рассказал мне характерный анекдот. Когда он женился, то вскоре после этого события пришел к Мережковским. Они встретили его "завываньем" — как мог он это сделать? Как мог он, читая Ницше, вдруг жениться подобно всем смертным? Владимир Васильевич рассердился и ушел. А через несколько дней он сидел на литературном собрании рядом с папой, и папа, нагнувшись к нему, прошептал:

— С законным браком, батенька!

— И так это вышло хорошо! — воскликнул Гиппиус.
— Только так и нужно было!



Храня земное зренье:
От славы неземной,
Я в ужасе священном,
Закрыл глаза рукой.
Мне осиянный ветер,
Молниеносных крыл,
Лицо мгновенным светом
Сквозь руку озарил.
И вот сквозь руку эту,
Как оттиск на клише,
Остался отблеск света
Печатью на душе.



Своим сияющим теплом:
Сияло солнце и сияло
И землю обошло кругом,
И тихо за холмы упало.
Исчезло солнце за холмом.
Чем больше сумерки темнеют,
Тем ярче — памятью о нем —
Цветы у яблонь розовеют.



Над садом блещут небеса,
Как полная жемчужин чаша.
А между ними — все леса,
Моря и вся планета наша.
Что если-б чаша пролилась,
И звезды хлынули толпою?
Земля, быть может, ни с одною —
В просторах вечных не сошлась.



Неужели, неужели?
Пробуя и так и эдак,
Не отвертись от цели —
Всякого седого деда?
Бабочкой на огонек,
Мотыльком на свет в окошке —
Что не миг — то и шажек...
Потихоньку, понемножку.

А. Величковский

СМОТРИТЕ — СТИХИ

Для начала позвольте выписать, полностью, одно стихотворение:

Осенним вечером, в гостинице, вдвоем,
На грубых простынях привычно засыпая...
Мечтатель, где твой мир? Скиталец, где твой дом?
Не поздно ли искать искусственного рая?

Осенний крупный дождь стучится у окна,
Обои движутся под неподвижным взглядом.
Кто эта женщина? Зачем молчит она?
Зачем лежит она с тобою рядом?

Безлунным вечером, Бог знает где, вдвоем,
В удушии духов, над облаками дыма...
О том, что мы умрем. О том, что мы живем.
О том, как страшно все. И как непоправимо.

А теперь разрешите привести, тоже целиком, другое:

Когда мы просыпались на постели
В чужой каморке, в тот рассветный час,
Когда весь мир лилов, как мы хотели
Не этих губ совсем, не этих глаз.
Мы верили, что где-то есть другая,
Несхожа с той, что рядом на боку.
Холодное плечо отодвигая,
Вставали и бросались к пиджаку.
Всерьез мы принимали все едва ли;
Да, это случай! Анекдот. Пустяк!
И все ж тоскливо недоумевали:
Мечтатель, что же ты?
Мечтатель, как же так?

Не правда ли, стихи отчасти похожи?

Первое написано Георгием Адамовичем — давно (см. его книгу «На Западе», Париж, 1939). Автор второго — Евгений Винокуров («Музыка», Сов. писатель, Москва, 1964).

Остроты, пронзительности Адамовича у Винокурова нет. Но не кажется ли вам, что «парижская нота» отразилась, хоть и не отчетливо, в строках советского поэта? Тем лучше, если отразилась: «парижская нота» (идеологом ее был именно Адамович) явление, по-моему, замечательное.

Однако, речь не о ней. Я просто задумался над тем, что теперь довольно часто подтверждается: что какие-то стихи, написанные в эмиграции, доходят до кого-то в России и кому-то там бывают созвучны. Может быть, мой пример неубедителен; возможно, Винокуров (побывавший в Париже) никаких стихов Адамовича даже не читал. Дело не в этом: есть другие доказательства того, что в России зарубежной поэзией интересуются.

Да и на Западе порой эта поэзия вызывает интерес. В частности привлекла она недавно внимание ряда американских славистов. Профессор Калифорнийского университета в Беркли Семен Карлинский написал книгу о Марине Цветаевой — ценное, обстоятельное исследование. Он же выступил с полезным сообщением о Борисе Поплавском. Профессор Иллинойского университета Темира Пахмусс печатает интересную монографию о Зинаиде Гиппиус. На ту же тему пишут диссертации два других слависта. Профессор Вашингтонского университета в Сеаттле Роджер Хагглунд закончил содержательный труд о Георгии Адамовиче. Другой американский литературовед занят изучением поэзии Анатолия Штейгера. На последнем съезде славистов в Чикаго состоялось выступление эмигрантского поэта, а на следующем их съезде свои стихи будут читать даже четыре поэта-эмигранта.

Я собираюсь поговорить о зарубежной поэзии. Точнее, только о некоторых сборниках, вышедших за последние год-полтора. Но сперва отмечу одну антологию: превосходную Антологию русской поэзии двадцатого века, изданную недавно, с русским текстом и стихотворными переводами на английский, Владимиром Марковым и Меррилом Спарксом (издательство Боббс и Меррилл, Лондон, 1967). Ее выход — большая заслуга и Маркова и Спаркса. Не решаюсь сам судить о качестве перевода; но от людей вполне сведущих слышал, что в общем стихи переведены хорошо. В этой Антологии представлен целый ряд зарубежных поэтов. Но каждый заметит отсутствие в ней нескольких имен, которых из эмигрантской поэзии

(да и из русской поэзии вообще) не выкинешь. Разумеется, составитель свободен. Мы не в праве требовать, чтобы он переводил то, что ему не по душе. Но я бы отвел еще хоть двум эмигрантским поэтам, например, те две страницы, которые уделены Василиску Гнедову. Признаться, эти две страницы мне показались пустыми. «Поэма Молчания» Василиска Гнедова? Молчания — да, молчания хватило бы и на третью страницу, но — поэма? Поэмы я не заметил... Как бы то ни было, повторяю, составители Антологии проделали большую, ценную работу.

Теперь о другой антологии. На-днях случилось мне снова перелистать «Содружество», сборник стихов современных зарубежных поэтов. А сейчас в «Рашн Ревью» я прочел рецензию о нем Юрия Иваска. Эмигрантская печать отозвалась на выход «Содружества» по большей части — заметками довольно поверхностными. Между тем, сборник заслуживает внимания. В нем 550 с лишним страниц, семьдесят семь авторов. Т. П. Фесенко, задумавшая и составившая его, потрудились на совесть. И любителям русской поэзии есть за что сказать ей спасибо.

«Содружество», несмотря на два-три пробела, независевших от составителя, еще раз убеждает, что и теперь, хотя «одних уж нет, а те далече», в эмиграции пишутся стихи, оправдывающие наше существование. Стихи часто просто хорошие, а подчас и новаторские, если помнить, что русским поэтам в новаторстве вовсе не нужно заходить так далеко, как зашла западная поэзия (все равно не переплюнувшая наших футуристов).

Необычных (в большей или меньшей степени) ритмов в «Содружестве» не много, но и не так мало: некоторые ярко талантливые, хочется сказать волшебно легкие строфы Ирины Одоевцевой, крайне своеобразное стихотворение Владимира Вейдле «Смотри, вот речка и козы», сильное «Есть нити, есть сети» Нины Берберовой, интересные логгады Юрия Иваска «Болдино» и «Ассизи», некоторые стихи у Ираиды Легкой и Ирины Бушман и т. д. А в пределах размеров более привычных уху — очень выразительно звучат, разумеется, строки Ивана Елагина, многое у Николая Моршена, «Поэма про ад и рай» Владимира Маркова, «Баллада о моей тени» Ивана Буркина...

«Содружество» не однозвучно. Есть в нем и глубокая серьезность, как, например, в стихах Странника, Георгия Ада-

мовича, Юрия Терапиано; есть, порой, ирония — например, у Глеба Глинки — есть даже веселая шутливость — у Владимира Дукельского; его жизнерадостность оттеняет Юрий Трубецкой своей резкой горечью. Встречаешь, хоть и редко, стихотворения, в которых много русскости — имею в виду Бориса Филиппова, Екатерину Бакунину, Татиану Остроумову. Убедительны, на мой слух, Лидия Алексеева, Ольга Анстей, София Прегель, Глеб Струве, Олег Ильинский, Аглаида Шиманская, Аглая Шишкова, Тамара Величковская, Ольга Можайская, Александр Неймирок, Екатерина Таубер, Анатолий Величковский, Василий Сумбатов, Георгий Эристов — и не только они.

Может быть жаль, что издатель решил показать одних «здравствующих» поэтов: это лишило «Содружество» многих прекрасных стихов. Такого принципа не было в других антологиях: в «На Западе» Юрия Иваска, в «Музе Диаспоры» Юрия Терапиано, в «Чтеце Декламаторе» Н. Мартьянова. Но «Содружество» к этим антологиям многое добавляет.

Перехожу к отдельным сборникам стихов. Для меня здесь особняком стоит «Единство» Георгия Адамовича. Знаю, книгу эту «примут в свое сердце» не все, кое-кого она даже оттолкнет. Тяготение к евангельской простоте и бедности в искусстве, к аскетической трезвости, к сосредоточенности на самом важном, на единственно серьезном — это мало кому близко: и недаром парижская нота встречает иногда такое упрямое нежелание понять ее — даже со стороны людей и тонких и умных. Но следовало бы видеть, что иная бедность богаче богатства. Правда, в некоторых стихах Адамович как бы изменяет, отчасти, этому добровольно принятому обету бедности. Но в целом в нем, конечно, «одно виденье» — как бы евангельское «раздай имение свое и следуй за Мной»: стремление к единому на потребу. По глубине чувства, по силе жажды слов незаменимых, освобожденных от случайности, «предельных», «навсегда окончательных» — эта книга, действительно, томов премногих тяжелей. И мы понимаем, отчего Адамович в свое время писал о «невозможности поэзии»: в частности о невозможности того, чтобы в широком, обильном и пестром цветении литературы поэзия стала той чудотворной частичей, которая бы навсегда преобразила человека.

Теперь о «Косом полете» Ивана Елагина, тоже одной из новинок. Написано крупно, размашисто, красочно.

Вот и мыслью ошарашен я,
Чтобы ветер дул раскрашено,
Дул павлинисто, фазанисто,
Дул гогенисто, сезанисто,
Чтоб по всей его волнистости
Шли сиреневые мглистости,
Чтоб скользили по наклонности
Голубые просветленности...

Большое уменье, большая находчивость. Талант яркий, самоочевидный, но и как выставленный напоказ: видали, мол, как я могу?!

Что с деревом делать осенним,
С оранжевым сотрясеньем,
Плеском и колыханьем,
С блеском его чингисханьим,
С этим живым монистом,
С деревом тысячелистым?
С деревом тысячелистым,
Резким, броским и тряским,
Истым импрессионистом
По хлестким мазкам и краскам!...

Да, я читал порою даже с восхищением, хотя без зависти. Восхищался, но и думал: только напрасно кое-кто считает, будто если стихи бледнее, то и слабее. Нет! Яркость и сочность не синонимы художественной значительности. Взгляните на работы старинных китайских пейзажистов: почти пусто, несколько бледных мазков — а вы чувствуете всю влажную тишину простора с такой силой, какой не забудете. Кстати, еще одно недоразумение связано со стихами Елагина: имею в виду упрощенное представление о том, что значит быть современным. Право же, «современность» поэта не должна обязательно выражаться в нервном ритме, разорванности, крике и в прямолинейной информации о том, что наша эпоха — термоядерная, механистическая, урбанистическая, обезчеловеченная и так далее. Современность сложна, многопланна, отражается она в искусстве разных (хотя бы по темпераменту) художников по-разному (посмотрите на многообразие западного искусства).

Между прочим, о стремлении быть современным хорошо сказал Эммануил Райс в своей книге «Под глухими небесами»: «Как будто поэзия может быть «новой», «старой», «современной» или «устаревшей» и т. д. Если поэзия устарела — значит, она не была никогда настоящей поэзией. А те, кто претендует создавать «современную» поэзию, тем самым расписываются в своем бессилии создать поэзию вневременной ценности, потому что поэзия «современная» сегодня непременно окажется «устаревшей» завтра». (Но самоочевидно, что замечания Райса о «бессилии» к Елагину никак не отнесешь).

Избранные стихи Юрия Терапиано. Имя это в эмиграции известно давно — Терапиано близко стоял к «Числам», до того был редактором «Нового корабля» и «Нового дома», он автор нескольких сборников стихов, составитель антологий «Эстафета» и «Муза диаспоры», литературный критик парижской «Русской Мысли» и т. д. В этих избранных стихах иногда слышится отзвук парижской ноты — Терапиано был одним из ее видных представителей — но отзвук этот отдаленный: основное настроение книги — примиренность, освобожденная от горечи. Говорит Терапиано не громко, «громкости» явно чуждается. Стихи серьезные, глубокие, обращенные к душе и к духу. Вот несколько его строк из написанных недавно:

В содружество тайное с нами
Вступают вода и земля,
Заката лиловое пламя
Ложится на борт корабля.

Прибрежные скалы лаская,
Взлетает волна за волной,
И синяя мудрость морская
Небесной полна глубиной.

Теперь о поэте, на мой взгляд, недооцененном. Это Юрий Иваск. Правда, его третью книгу стихов «Хвала» одобрили несколько критиков, но все еще Иваск-литературовед заслоняет Иваска-поэта. Между тем стихи его достойны пристального внимания. В них изысканная звуковая ткань, своеобразная рифмовка (чаще всего неточные, но поддержанные всей строкой и соседними строками краесозвучия). Ритмический рисунок часто необычен — вместо традиционных размеров Иваск при-

меняет логаэды (я не всегда сторонник таких ритмов, но дело, ведь, не в личных вкусах). Его мексиканские «Зарисовки» совсем новы для русской поэзии: в них пестрота причудливо раскрашенного мексиканского рококо и барокко, вообще многокрасочность мира, очень сильное ощущение того, что в этом мире прекрасно, горячая хвала этому прекрасному, при остром сознании печальной нашей недолговечности. Много чувства, хотя и прикрытого шутливостью. На первый взгляд — раскрашенные игрушки; но игрушечное в них лишь псевдоним значительного. Вот три строфы стихотворения из его итальянского цикла — «Ассизи»:

Настежь окна и душу,
Ранний утренний блеск,
Улыбается, дышит
Пробужденный Франциск.

Умбрией обернулся,
Мглою лилейной — мир,
Розовый развернулся
Новый ассизский Рим

Мантией расстилаюсь,
Брошенной перед ним,
Под ноги попадаясь,
Я распеваю гимн.

Я ничего не сказал еще об избранных стихах Дм. Кленовского. Но ведь автор хорошо известен. Для многочисленных его поклонников эта книга — ценный подарок. Несомненно, что в его поэзии большая стройность и целость, большое единство стиля, верность своей теме и своему тону, благородство, устремленность к высоте. Должно быть еще важнее, что многих Кленовский духовно питает. Действительно, он сеет доброе — случай довольно редкий в наше время. Быть добрым вестником — это, разумеется, большая заслуга поэта. Вместе с тем, не скрою, что лично мне стихи Кленовского, в общем, не близки. Из более близких приведу эти строки:

Его вчера срубили. Что осталось
От всех его упрямых, гордых лет?
Немного щепок, дрозг крестьянских след,
Да свежий пень. Здесь я побуду малость

Я напишу всего десяток строк,
 Но станет в них всё сызнава как надо:
 Дуб, воротясь, прошелестит прохладой
 И распахнется, волен и широк.
 И также быстро оживет наверно
 Узор листвы и веток тяжкий взлет
 И, выскользнув из чашечки неверной,
 На землю первый жолудь упадет.

Хочу упомянуть и о «Книге лирики» Странника. Ее автор прошел большой и необычный путь. Когда-то, за несколько лет до войны, в Брюсселе появился журнал под невероятным в наш век названием «Благонамеренный». Но надо пояснить, что издавал его молодой тогда князь Шаховской, а история русской литературы 18-го века сохранила нам имя кн. Шаховского, издателя журнала с названием в точности таким: и вот потомок «возобновил» дело предка. Был ли тут снобизм? В тоне журнала, кажется, был; но ведь вовсе без снобизма (имею в виду снобизм определенного оттенка и уровня) литература была бы скучновата, серовата. Многое из появившегося в брюссельском «Благонамеренном» украсило русскую литературу. А затем в душе редактора-издателя произошел какой-то перелом. Для него настала пора напряженной духовной жизни и притом — жизни православного пастыря. Он издал ряд книг, раскрывающих его религиозный опыт. И теперь, вот, перед нами его «Книга лирики» — очень чистая, очень одухотворенная.

Много жалости и милости
 В бледном небе надо мной.
 Надо жить без торопливости
 В неизбежности земной.

Листьев нежная сумятица,
 Как дыхание земли.
 И все тайны мира прячутся
 Легким облаком вдали.

Вероятно, не каждый любитель поэзии эту книгу полюбит — мне она тоже, в целом, «несозвучна». Но нельзя не почувствовать ее духовную высоту. Кстати, едва ли все в литературе измеряется лишь узко-художественными достоинствами. В «Докторе Живаго», во многих стихах романа, да и в самом романе — спорных мест сколько угодно, а все-таки хочется «обнажить голову».

А теперь — о книге стихов, часто причудливых и капризных, неровных, но вызывающих живейшее любопытство — я имею в виду стихи Якова Бергера. Его «Весна в Ч.....» (Тель Авив, без даты, но недавняя) прошла почти незамеченной. Между тем многое в ней так остро и свежо, что порой прямо диву даешься. Я встречался с автором в Германии, в конце пятидесятих годов, но не подозревал, что он пишет стихи; знал только, что биография его пестрая, что он был врачом в Сибири и на Дальнем Востоке, что он еврей и еще молод. «Весна в Ч.....» отчасти под знаком футуризма, но главное в ней к влияниям не свести. Вот несколько строк из его стихотворения о Максе Жакобе, выдающемся французском поэте, авторе замечательной книги «Советы молодому поэту», человеку на редкость утонченном, внешне отчасти с повадками Анри де Ренье или Пруста, эстете, еврее, который стал ревностным католиком (он кое-чем напоминает душевно Шарля Дюбоса). Макс Жакоб погиб в нацистском концлагере, ему было около семидесяти. Бергер говорит и о Париже эпохи *fin de siècle* (иногда, впрочем, смешая столетия) и о Париже нацистской оккупации:

Макс Жакоб, Макс Жакоб, Макс Жакоб,
а вы прохаживались в шесть в цилиндре?
поражали должно быть своим багажом,
белоснежным должно быть блистали жабо
(жара и Жорес
в Париже,
в то прежнее, старое-старое лето
должно быть царили?)

Макс Жакоб, Макс Жакоб,
вы садились бывало в «бистро» за конторку, —
а за что, Макс Жакоб,
а за что, Макс Жакоб,
будто желтых жуков,
будто желтых живых жуков
вас в тот вечер однажды втолкнули в коробку?

Какая выразительность достигнута толчеей этих «ж»!

Под конец — о последней, пока что, дошедшей до меня новинке в зарубежной поэзии — «Двоеточии» Николая Моршана. Это очень интересный поэт — и быстро растущий. Стихи у него крепкие и — содержательные. Ему есть что сказать.

...Зевали кефали, смотрели макрели,
Как в небо летучие рыбы летели —
Не то, чтобы в небо, а чуточку ниже,
Но дальше от жижи и к солнцу поближе.

С восторгом проклюнувшегося орленка
Они прорывались сквозь влажную пленку
И мчались по новооткрытым орбитам
Подобно болидам и метеоритам.

И мне бы промчаться зазубренной тенью
Сквозь все отрицания и недоумения,
Сквозь все средостенья прорваться и мне бы
И рыбой, и рыбой, и рыбой по небу!

Как хорошо, с какой стремительностью, с какой «ритмической неопровержимостью» это написано!

В «Двоеточии» чувствуется пытливый и независимый ум, широкий кругозор, внимание к научным открытиям, помогающим (дай Бог!) постичь мир и т. д. Существенен горячий, искренний и убежденный мажор Моршена. Все же хочется с ним спорить, когда он судит об опыте, который, повидимому, для него непроницаем, по крайней мере пока непостижим (может быть, непостижим из-за разности темпераментов). В «программном» стихотворении против парижской ноты он смеется над теми, кто в стихах порой с горечью и отчаянием говорит о неизбежности смерти. Моршен заявляет, что стихи, искусство должны преодолеть смерть — к этому должен стремиться художник. Как это понять? Едва ли Моршен призывает нас силой стиха нарушить вечный закон природы. (Да, Сологуб, Шестов, хоть и по-разному, этот закон оспаривали, Федоров мечтал опровергнуть его... Но в споре не они победили). Значит, у Моршена речь идет о литературном бессмертии? Но если бы и осталось имя в веках — такое ли большое в этом утешение для покойника? Кто знает, не променял бы теперь Пушкин свое литературное бессмертие, скажем, на прежнее веселое бессарабское житье? Нет, «музыка от смерти не спасет». И я не знаю, вдумались ли вполне в это те, кто смеется над «нытиками». Неужели же и над Анненским готов посмеяться Моршен за то, что он и не пытался храбриться? Право, ни упиваться тем, что все мы «бездны мрачной на краю», ни отвечать на смерть гётевским «Вперед по гробам!» поэт не обязан. Скры-

вать свой ужас при мысли о смерти у него нет причин и не надо в стихах лукавить, даже тогда, когда ложь «во спасение», в воспитательных целях. Хорошо, если есть у поэта силы мужественно «глядеть в холодное ничто» или есть вера в «загробное сиянье»; но пусть не отвергает он пренебрежительно другой душевный строй, другое сознание.

Я отвлекся. Как бы то ни было, бесспорна талантливость Моршенина, его упорная работа над стихом, его увлеченность тем, что происходит в мире. И конечно, от наивности он далек. Думаю, что он даст русской поэзии еще много.

Да и другие зарубежные поэты дадут. Этой статьей я именно и хотел сказать, что до сих пор поэты «хорошие и разные» у нас есть. «Думали — нищие мы, нету у нас ничего»... Поверьте, и по сей день мы не обнищали.

Над тремя-четырьмя книгами из вышедших за последнее время внимательный читатель задержится подольше. Он вступит в очень своеобразный душевный и духовный мир. Он почувствует отразившуюся в этих стихах недюжинную «внутреннюю жизнь», прикоснется к творчеству, свободному от столь распространенной всегда и всюду и столь удручающей элементарности сознания, от банальности душевного опыта. Он заметит «необщее выраженье» этих стихов и поймет, как недешева душевная ткань, из которой эта поэзия возникла. Напомню прописную истину: в том, что высокопарно называют искусством слова, нас обычно «интересуют» два элемента: замысел и выражение, «воплощение» этого замысла. Пусть воплощение важнее (Маллармэ был прав, говоря, что «стихи пишутся словами, а не идеями»), но и замысел лежит на чаше весов (это видно уже из того, как оскорбляет нас замысел «развязный», неблагородный, вульгарный). Может быть, осуществление замысла в некоторых стихах тех трех-четырех книг, которые я имею в виду, не всегда совершенно, не всегда прекрасно. Но то, что «замышлено», то связано с самым высоким. И в этих книгах нет претенциозности, нет снобизма. Обвинения в снобизме по адресу некоторых наших поэтов лишь доказывают, по-моему, приблизительность, неотчетливость, суммарность нашей терминологии и нашу склонность принимать высшее (сравнительная степень) за низшее. Между снобизмом и тем трудно определимым, редкостным и драгоценным качеством, о котором идет речь, сходства не так уж много. Но как сказать?

Утонченность? Изысканность? Для русского человека эти понятия менее убедительны, чем для западного. Как бы то ни было, повторяю, претенциозности в этих трех-четыре-х книгах нет.

Тут мы подходим к одной больной теме. Конечно, дешевая актуальность противна, но ведь вопрос о современности поэта этим еще не решен. Пусть в «несозвучности эпохе» поэтов упрекают нередко вульгарные люди — все же от таких упреков так легко отмахнуться нельзя. Ссылка на свободу творчества — довод недостаточный. Все-таки надо бы, чтобы поэзия полнее отзывалась на то, что происходит в мире. Конечно, никакое искусство никогда не давало «полного отклика» на «проблемы эпохи»; но ведь наше время, пожалуй, и в самом деле особенное (хотя почти все живут так, как если бы ничего особенного не происходило). Скажем прямо: какую-то (для каждого поэта свою) долю упреков в несовременности почти все эмигрантские поэты, вероятно, принять должны. Но критикам, кричащим о «несозвучности эпохе», следовало бы как-никак знать, что, во-первых, современность многопланна и разнородна, а, во-вторых, та или иная степень и оттенок «созвучности» или «несозвучности» поэта вызваны целым рядом причин, в том числе и законами развития соответствующей поэзии — и что вообще все гораздо сложнее в искусстве и мире, чем это кажется многим.

Между прочим, очень острое ощущение современности в ее общедоступном плане нередко мешает, как следует, почувствовать вечное. Мешает и почувствовать историю в ее целостности, ощутить прошлое, а без этого нет понимания «перспективы», нет «погруженности» в культуру, такой нужной теперь.

Еще о «детях эпохи». Те эмигрантские поэты (в их числе большие таланты), те из нас, кто склонен декларировать свою принадлежность эпохе, порой вызывают недоумение иностранцев: «как так они современны, когда у них традиционная метрика и все еще рифмы?» Мы можем ответить, что в пределах русского ритмического и рифмованного стиха у нас еще столько неиспользованных возможностей, что нет смысла отказываться от столь выигрышной фонетической системы. Да, конечно. Но все-таки такой ответ лишь частичное объяснение. Верность русских поэтов стопам и рифмам, хотя бы очень неточным — факт во многом загадочный (только не надо его

объяснять якобы неосведомленностью нашей о том, что происходит в западной поэзии).

И еще одно удивляет западных читателей: то, что в наших стихах, в общем, мало игры, и особенно мало «игры ума», в частности той игры ума, которая выражается в разрыве с общепринятой, «ординарной» логикой. «Все общепринято, все слишком общедоступно».

«Слишком общедоступно»... Едва ли следует «непонятному» поэту гордиться своей герметичностью. Ничего нет хорошего в том, что тот или иной художник мало доступен «толпе». Но ничего нет в этом и порочного, «недопустимого». Что-то самое последнее, самое глубокое в искусстве, к сожалению, всегда было и всегда будет уделом только немногих. Нужно стремиться к ясности, но не нужно «предавать» тему, обедняя ее, снижая, вульгаризируя. Если бы некоторые зарубежные поэты могли полней, адекватней выразить себя и свои темы в «непонятных» стихах, надо было бы пожелать, чтобы они писали «темно». Но, повидимому, нас не тянет изрекать «пифийские глаголы», не тянет даже к той словесной игре, которая обогатила футуризм. И западный читатель немного разочарован.

А читатели в России? До некоторых из них кое-какие наши стихи уже дошли, современем дойдет и больше. Многих увлекут, вероятно, словесная яркость, ритмическая выразительность, скажем, Елагина и его сильные строки об одиночестве человека в царстве машинно-городской цивилизации — хотя другие, может быть, предпочтут монолог, тоже словесно яркий, Моршенина, с волнением следящего за тем, как наука приподымает занавес над тайнами мира. Но скорее всего, советского читателя потянет просто к задумчивости. В советской поэзии задумчивости все еще мало, там все больше декларации о любви к человеку, о любви к родине, да полная оптимизма маршировка в пионерском лагере (хотя и есть, конечно, настоящие, значительные поэты, которые к простодушному ликование непричастны). И вот, кажется мне, там в сердцах каких-то русских людей найдет отзвук именно задумчивая грусть многих наших стихов. Грусть, а то и больше — горькая печаль, горечь, как в том стихотворении, которым начинаются эти беглые заметки.

Игорь Чиннов

ДЕРЕВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

С немецкой музыки мы вышли в темень ночи,
Глаз выколи. Направо был овраг.
Старинной музыки светловолосый очерк
Шагнул за нами в травянистый мрак.
Нас встретило ночующее лето
Слепыми молоточками цикад,
А за плечом горели карим светом
Сонаты, начиная утихать.
Казалось, ночь в дверях остановилась,
Стыдясь росы невидимых лугов,
Задумчиво, как сонная сивилла,
Припоминая музыку рогов.
Казалось, прикурнула на разъезде
Меж двух мелодий смуглая щека,
А мы шагнули от сонат к созвездьям,
Едва касаясь кончиком смычка
Большой Медведицы. Еще светились ноты,
Еще лучились светом изнутри,
Как будто там замысловатый кто-то
В старинной музыке расплавил янтари.
Рождалась флейта, и по краю гула
Ее древесный голос ворковал;
Казалось, все пространство изогнулось
По форме звука, певшего хорал.
Казалось, все пространство улыбнулось
Сквозной улыбкой нам перед концом;
Как будто на пороге обернулась
К нам музыка смеющимся лицом.

ДОМ

Я выстрою дом со стеклянной терассой,
Из дикого камня я вмажу очаг,
И будет огромное множество красок
Пылать у могучих стволов на плечах.
Вечерние гости в сообществе сосен,
В сообществе скачущих горных ручьев
У нас заночуют. И царская осень
Им лучшие строфы на память прочтет.
Я им каменистых форелей зажарю,
Настойкой на хвое я их напою,
И складками гор, и лесов этажами
Обставлю я новую виллу свою.
Пускай пролетают большие фазаны,
Стекло задевая вельможным крылом;
И пусть розовеет остывшая за ночь
Крутая скала с рябоватым челом.
Я прямо из комнат — на горные тропы...
И прямо из сада — ружейный прицел.
Я вижу в хрустальном стволе телескопа,
Как заяц за дальней корягой присел.
Я вижу скользящую рябь вагонеток,
Я вижу, как август деревья обжег,
Я вижу вдали из окна кабинета
Рассчитанно легкий олений прыжок.

Олег Ильинский, 1967

О “МАСТЕРЕ И МАРГАРИТЕ”

Замятин как-то писал: «Из двух возможных решений жизни — Россией было выбрано трагическое, с ненавистью и любовью, не останавливающимися ни перед чем». Это об Октябре. Революции и ее делам, людям и жизни, всегда трагической, посвящено многое в творчестве М. Булгакова. И он, почти во всех своих больших вещах, оглядывает Россию и... оглядывается назад. Прошлое освещается современностью, современность — прошлым. «Мастер и Маргарита» — историко-фантастический роман. В нем равно представлены история скорби и трагическая сатира. Страшная вещь этот роман, голос из гробового молчания, замогильная речь писателя!

Приятель А. Грибоедова, балладист, комедиограф и критик, П. Катенин, кажется, первый в России потребовал от перевода ли, анализа ли художественного произведения, полного соответствия лексики, стиха, стиля и идей: «У великих авторов форма не есть вещь произвольная, которую можно переменить не вредя духу сочинения. **Связь их неразрывна...**» Потому-то так и ценна статья Л. Ржевского «Пилатов грех»,¹ — что восстанавливает цензурные бесчинства, выпуски, урезки в романе М. Булгакова.

Связаны, мы — все русские — с Россией кровной связью единокровия и пролитой своей же русской кровью; связаны своей и мировой историей, госпожей железного лица, не терпящей слабости; соединены родным языком, его мощью и гневом, его мягким умилением, рокотом полногласия и древними акордами церковности; связаны еще и теми, кто лег в родную землю: «Два чувства равно близки нам, / В них обретает сердце пищу, / Любовь к родному пепелищу, / Любовь к отеческим гробам». Мы гордимся общим достоянием прошлого. Наш Олег и наш Суворов, наш Пушкин и наш Менделеев, наш

¹ «Новый Журнал», кн. 90-я.

Глинка и наш Чайковский. Но и позор у нас у всех общий. Если мы гордимся Дмитрием Донским, то обязаны стыдиться Малюты Скуратова и Ежова. Горевать, что способность «лежать то пред тем, то пред этим на брюхе, на вчерашнем основана духе». Да, хотим мы испить родниковородной водицы, подышать ветром великих родных просторов, ощупать углы родных домов, перекреститься на крест своей церкви... Но горька вода стала и горше полыни наш хлеб в устах наших. И плохо, ох как тяжело жилось на родной земле писателю-автору «Белой гвардии — дней Турбиных» М. А. Булгакову.

Три слоя видны в поперечном и продольном «разрезе» романа «Мастер и Маргарита». 1) Советчина, дух 30-х годов и конца 20-х. 2) Отклики истории, древности русской и особо классической, перезрелой уже эллинистической культуры Римской Империи. 3) Разговорно-литературный, насыщенный разнообразием и счастливыми «находками» язык большого мастера литературы. Ученый и крупный философ, знаток мифов Греции — А. Лосев писал в 1927 г.² в книге «Философия Имени», что весь Мир есть **слово**: «Если сущность — имя и слово, то, значит и весь мир, вселенная есть имя и слово... Космос есть лестница разной ступени словесности». А что значит и слово в прозвище фамилии Булгаков?

Древнерусское **булгак** — смятение, тревога. Слово тюркского корня и значило то смятение, то **горделивость**, напр., у казахов. Символическая для писателя фамилия! Какая тревога и горделивость в языке почти всех произведений, особо же драм М. Булгакова!

В языке романа — эхо советской действительности. Да хотя бы несколько примеров обычных фразеологических сочетаний или слов, ставших советски-модными: «перестаньте психовать»; «его быстро разъясят»; «виноградной кистью по морде» (кулаком); «массолит»; «ну и попятити (украли) мою одежду»; «вы обхохочетесь»; «замели председателя» (т.е. увезло НКВД); «ударить и крепко ударить по пилатчине и богوماзу» и т. д. Из истории: — турба — отряд (римской кавалерии); ала (крыло, сотня легкой, обычно восточной кавалерии); калигы (род обуви римской пехоты); центурия, центу-

² Вышла по недосмотру цензуры в Туле.

рион; кефи (головной убор); прокуратор; лобное место и др. Имя Христа дано в приблизительно древнееврейской форме Иешуа; месяц апрель-Нисан; слово Ганоцри руссифицировано, значило — христианин, Азazel,³ гемикрания и т. п. Кое-где внезапно ошибочно говорится о сапогах центуриона. К этим обычно верным мазкам исторической окраски подходят и слова (XI в.) очень древние, ныне почти диалектические, но среди духовенства и XIX века известные. Это слова типа «безлепица» (бессмыслица, нелепость). Интереснее всего творчество Булгакова в образах, сравнениях, в выборе символических и ярких фамилий советских граждан. Их значение никому не нужно объяснять, смысл и намеки очевидны: Подложная, Бескудников, Павианов, Богохульский, Денискин, Бездомный, Лиходеев, Ариман и т. д.

Но и самые на первый взгляд невинные имена-фамилии героев вроде Коровьева (подсобника Воланда), мощного демона, не кажутся случайными. Напомню, что «черная корова (ночь) весь мир поборола», что «щеголь да ноги коровьи»; «франт — коровьи ноги» — копыта вместо обуви у черта часто видны, а сам «аки человек есть». С сатирической злобой символики ряда имен, фамилий, сплетается гнев и боль русской, обожженной унижениями души. Вот типичная советская обстановка прежде частной квартиры, переполненной до отказа: «...Пахнуло влажным теплом, и, при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие **корыта**, висящие на стене, и ванну, всю в черных **страшных** пятнах от сбитой эмали...» «...Очутился в кухне. В ней никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно **около десятка** потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, **годами не вытираемое окно**, скупое освещал...» И словно откликом пушкинских слов Гоголю о России поет и плачет к концу книги голос Булгакова, голос одинокого вечно травмированного, а нами и многими любимого писателя: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами! Кто

³ Azazel имеет 2 основных значения, Козел отпущения (см. Левит, XVI, 8). У магометан и в некоторых книгах Черной магии это злой дух. Мусульманские мифы говорят, что за грех ангелы казнили Азazelов.

блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его». Да почит в мире душа, уставшая от туманов и грусти земли русской! Душа драматурга, сатирика и писателя, раба Божия Мухоморова.

Живость и меткость, сила языка то сатирика, то поэта увлекательны: «Требовалось тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения явлений необыкновенных; померещилась ему и пальма на слоновой ноге; мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату и я захлебнусь в ней; ночь валится за полночь. Мне пора. Натягивал утиный козырек кепки на глаза; с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из нее время от времени, вываливались огненные нити. Осетрину прислали второй свежести... Свежесть бывает только одна; неужели среди москвичей есть мошенники? Тьма их съела между маслинами; немедленно исчезла со столика старая скатерть, в желтых пятнах, в воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая (Полет над землей). Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. (Повторяющаяся, как лейтмотив фраза с легкими изменениями): «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана, в крытую коллону между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». Месяц следует за Пилатом и его судьбой и позднее, с Иешуа и верным псом Бангой, он пойдет ввысь по лунной дороге бесконечности, уже вне Времени и вне трехмерного Пространства.

Каждого образованного писателя охватывает, обнимает, проникает во все поры его творчества былая, до него цветшая литература. И то вольно, то невольно, он говорит и своим голосом и голосом других. Его герои строятся в ряды по прежним образцам, чтоб оттолкнувшись от них искать новые. Но часто, пленившись прелестью прежних созданий, он им следует в расположении материала, соединении улыбки с гримасой, в вечном

порыве скорби обрести крылья и подняться по лунной дороге в небо. С кем же беседовала душа, сердце и ум М. Булгакова? Я даю лишь самое существенное, формообразующее и дух дающее. Как мозаичен пол во дворце Ирода-Пилата, так и роман весь чистая мозаика из родных и иноземных камешков. Прежде всего тут Гёте и его Фауст и Маргарита. Оба грешника спасены по разному, но спасены. И «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», заключена в речах и делах дьявола Воланда, говорит же Маргарита в гл. 19-ой: «Дьяволу бы заложила душу, чтобы...». Значительнее с точки зрения стиля и композиции влияние Ш. Де Костера (1827-1879). Давно у нас в России увлекались его «Фламандскими легендами» и особенно романом о XVI веке борьбы Фландрии и гёзов⁴ (1565 г.) против испанцев. Это произведение о Тиле Уленшпигеле и Ламе Гудзаке вещь изумительная. В нем слышны голоса то Раблэ и Монтэня, то хроник XVI века и даже немецких легенд. Автор умер до получения славы, она пришла посмертно. «Библией Фландрии» называют этот героико-сатирический роман. Философия и комика, реализм и каббалистика, демоны и люди, волшебные превращения, шабаш ведьм и дьявола. То архаизмы, то романтические пассажи о **черной магии**. Есть ряд сцен, напр., натирание тела волшебной мазью и полная обнаженность в полете у Булгакова и схожие сцены у Де Костера. Подчеркивание значения **свободы, освобождения** в выкриках героев. Зло — добрая магия и прочее. Юмор с кайенским перцем пополам, трусость и героизм. Фантастика и **ночь ведьм**. Не менее значительно и композиционно стилистическое влияние идей и манеры Э. Т. А. Гофмана и Гей Мейеринга.

У Гофмана следует тут учитывать «Золотой горшок», «Мышиный царь» и «Крошка Цахес». Сцены то ужаса и грозной сатиры, видения и красок, то тонкого добродушного, порою, юмора, то полета романтической фантазии. Попугай и профессор, овощи колдуньи, превращающиеся в отрубленные головы (студент перевернул случайно ее корзину). Победа красоты и доброты к концу — все это найдем в «Золотом горшке»: прежде всего, ведь, тут речь о поэтической душе.

⁴ Прозвание восставших (дворян) во Фландрии и Нидерландах.

Гротеск и вдруг напевная сладость стиля, образов и грусть и радость слитые в сложнейший узор.

Важен и Гей Мейеринг и его «Голем» о Праге и ее легендах, отклики из «Дома доктора Фауста»⁵ и странное смешение сна и действительности; одно переходит в другое использование повторов фраз конца главы для начала другой переносимой действие мгновенно из одной эпохи в другую, из одного Времени и Пространства в другое. Власть чар и магии, колдовство, волшебство и неожиданные черточки реального, но символически объединенного рядом тайнописных знаков с тем, что было и тем, что будет в мире сверхреальном. Дух и сила Гей Мейеринга пронизала ряд композиционных приемов М. Булгакова.⁶ Вспомним и чисто по магии (гл. обр. черной) заклятие судьбы Берлиоза — «управился с ним кто-то совсем другой». И затем: «Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм... пробормотал (Воланд) что-то вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... Шесть — несчастье... вечер — семь...» — и громко и радостно объявил: — «Вам отрежут голову!»

Уже Бронислав Малиновский указывал, что каждый акт магического свойства характеризуется: а) произнесением слов о сути дела-действия, б) совершением заклятия особой личностью и в) для исполнения именно тем, кто есть действующий — **маг**, чары находят, окутывают вещь, человека и т. п. ибо слова, заклятия идут по его священной формуле, это первое, главное. В разбор других действий Воланда или героев Гей Мейеринга я не вхожу.

Родная литература наша, хотя и надстройка по образцам Запада и частью Востока, но она имеет и свое значение присновременное, близко интимное, она доходит через тайну русского слова к русскому сердцу и русскому уму писателя. Она с ним конгениальна. В сочинениях Пушкина есть не только «Сцена из Фауста», но и ряд более ранних стихов, набросков к замыслу о Фаусте, посещающем ад. В третьем разделе читаем:

— «Сегодня бал у сатаны —
На именины мы званы...

⁵ Существует до сих пор в чешской Праге.

⁶ См. особенно окончание гл. 15 и начало 16 у Булгакова.

— Так вот детей земных изгнать?
Какой порядок и молчанье?
Какой **огромный сводов⁷** ряд...»

Говорится и о сере, пыли и костях. Глава 28 «Мастера и Маргариты» названа **«Великий бал у сатаны»**. И все, на мгновение одевшиеся как бы плотью, вскоре, при конце опять только пыль, тень и прах. А. Пушкин сказал о «Невском проспекте» Н. Гоголя при втором издании «Вечеров на хуторе близ Диканьки», что это «самое полное из его (Гоголя) произведений». Истина жизни, смешное и возвышенное, грусть и насмешку отмечал и В. Белинский. «О, не верьте этому Невскому проспекту!... Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется... Далее, ради Бога далее от фонаря! И скорее, сколько можно скорее, проходите мимо... Но и кроме фонаря все дышит обманом... когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валяются с мостов... и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде». А вот, марево является у Булгакова в главе 5 «Было дело в Грибоедове»: — «Но нет, нет! Лгут оболыстители мистики, никаких Караибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры... Нет ничего, и ничего и не было!» А за этим следует восклицание — «О боги, боги мои, яду мне, яду». Это прорвался и повторил свои слова «яду мне, яду», прокуратор Иудеи всадник Золотое Копье — Понтий Пилат из главы второй **«Понтий Пилат»**.

А кто не помнит Гоголевского судью Ляпкин-Тяпкина!? Аммоса Федоровича все помнят, помнят — «А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне» и то, что он не берет взятку, ну разве **«борзыми щенками»**. Впрочем, разве это только Гоголь! В. Капнист в бессмертной «Ябеде», тоже задолго до рождения Гоголя (1798 г.) поминает особо «честного» жулика судью из «Ябеды»; именует членов палаты всех Хватайко, Кривосудовых, Бульбулькиных и Кохтиных. Булгаков в главе 15, где ловят на взятках и валюте Никанора Иваныча в полиции орет: — «Брал! Брал, но брал **нашими советскими!** Прописывал за деньги не

⁷ У Булгакова огромность помещения происходит от пятого измерения.

спору, бывало... Прямо, скажем, все воры в домоуправлении... Но валюты я не брал!»

Теперь попробуем войти в область символов, идей и центральной проблематики романа. Автор сводит счеты с светской критикой, литературой, бюрократией и полицией. Разгром Маргаритой квартиры критика-убийцы (в литературно-политическом смысле) Мастера — отместка за прошлое. Сцены с Котом и Коровьевым в ресторане для привилегированных писателей — месть и ядовитые острые стрелы, тучи стрел-слов. И рядом настоящий гофмановский юмор. Вот, пришла полиция в подозрительный дом «302 бис», после «премудрого» следствия. Идут с маузерами, с ампулами с хлороформом, с марлевыми масками, с сетями и арканом. Дом и крыши соседних зданий заняты милицией. Отмычка открывает дверь квартиры № 50 — «...На каминной полке, рядом с хрустальным кувшином, сидел громадный черный кот. Он держал в своих лапах примус... — М-да... действительно здорово... шепнул один из пришедших. — **Не шалю**,⁸ никого не трогаю, починаю примус, — недружелюбно насупившись, проговорил Кот, — и еще считаю долгом предупредить, что Кот — древнее и неприкосновенное животное»... «Развернулась и взвилась сеть, но бросающий ее промахнулся и захватил ею только кувшин, который со звоном тут же разбился. — Ремиз! — заорал кот. Ура! — и тут он, отставив в сторону примус, выхватил из-за спины браунинг... — Вызываю на дуэль! — проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре, и тут опять в лапах у него оказался браунинг, а примус он пристроил между ветвями люстры».

Этот волшебный кот-бегемот умеет сесть с гривеником в трамвай, а Коровьев «ввинтиться» находит в него же. Кот умеет «жульнически выздоравливать», выпив бензину, от смертельной раны пулей из маузера в сердце. Многие сцены читать то без легкой улыбки, то без смеха, просто нельзя. Это автор-сатирик, автор волшебник слова, бьется с Советчиной, бьется, бьет на-вылет и побеждает. Долой серость, подлость, подхалимаж и наихудший порок — трусость! Чудесная вечная месть злобе, клевете, согбенности спин на Руси.

⁸ Ср. стр. 192 «Квартира № 50 (Воландова, Кота и Коровьева) пошаливала».

Но не в этом одном замысел романа. И к его глубине и поддонной сути идут ясные Ариаднины нити, протянутые светлыми яркими золотыми и черными змейками по фону сложной мозаики. Они вводят в прошлое, в покои все еще живой для нас истории. В месяце нисане⁹ 14-ое и 15-ое числа Страстей Христовых в центре и в ясном фокусе лучей романа о Иешуа и Пилате. Вина и мука и прощение Пилата, Добро через Зло помимо воли Зла. И, наконец, **историчность Христа** и принесенное им **Бессмертие**. Что это именно так я постараюсь доказать, и показать на цитатах. Советский академик проф. Евгений Алексеевич Косминский (рожд. 1886 г.) не раз в учебниках для вузов и в книжках утверждал, что «Христос, как личность не существовал... это доказано наукой...» Это совершенно не верно! Интересующиеся постепенным все более явственным признанием Личности Исторического присутствия Христа, найдут все основное в книге довольно скептического ученого Шарля Гюинеберта «Проблема Иисуса Христа»; сводку всех основных положений от Штрауса, Ренана, Иенсена (ассиролог), Калтгофа и т. д. Желющие знать правду найдут это и в книге «Иисус и его время» Даниэля Ропса (франц. и англ. издания). Первое, что занимает автора романа — спор о бытии Иисуса. Это центр упреков Берлиоза поэту Бездомному и начало спора с Воландом. Если Понтий Пилас историческая фигура, то и Христос — не менее. Но самым интересным в произведении М. Булгакова, мне кажется, являются не те места, где он сознательно отступает от евангельских текстов и даже от апокрифических¹⁰ и т. наз. «*Logia*», а в том, что М. Булгаков говорит от себя или от лиц, действующих в романе: 1) Иисус знает мысли и тайное желание принять яд у Пилата. 2) Он исцеляет от гемикрании прокуратора Иудеи. 3) Иешуа свободно говорит на трех языках — арамейском, греческом и латинском. 4) Пилат начинает понимать (стр. 29-30): **«Бессмертие... пришло бессмертие»**. Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор... 5) Пилат пророчествует Каифе: «...Не будет тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему...» 6) Мастер говорит Бездомному о своих злоключениях и о том,

⁹ Нисан соответствует апрелю (лунность).

¹⁰ Евангелие от Фомы найдено значительно позже смерти М. Булгакова, «*Logia*» же ему известны и им использованы.

что он, по словам критика Аримана, «сделал попытку протащить в печать **апологию** Иисуса Христа». 7) Воланд говорит на своем балу отрезанной голове М. Берлиоза: — «Все сбылось, не правда ли?... Это — факт. А факт самая упрямая в мире вещь... Вы всегда были горячим проповедником той теории, что, по отрезании головы, жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие». И он показывает ожившей голове души давно ушедших из земного мира злодеев и замечает, что есть такая теория, «согласно которой **каждому будет дано по его вере**. Да сбудется же это!» 8) Пилат во сне все мыслит о словах Христа, что все люди добрые; он идет по светящейся дороге и говорит и спорит с Иешуа, плачет о своем трусливом поступке — выдаче Христа на казнь и стонет. — «Мы теперь будем всегда вместе... раз один, то значит, тут же и другой! Помянут меня, сейчас же помянут и тебя, говорит Иешуа». Пилат же во сне отвечает словами благоразумного евангельского разбойника: «— Да, уж ты не забудь, **помяни меня**, сына звездочета, — просил во сне Пилат». И жестокий прокуратор, видя кивок нищего (т.-е. Христа) «от радости плакал и смеялся». Левий Матвей передает слова о покое для Мастера Воланду от имени Христа: «Он (Мастер) не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий, — Передай, что будет сделано, — ответил Воланд». И он, — «Черный Воланд», — демон «кинулся в **провал**, и вслед за ним, шумя обрушилась его свита». Мастер и Маргарита слушают уже одно «беззвучие» идучи «по направлению к **вечному их дому**». Ср. евангельское «В доме Отца Моего обители многи сущи». Мастер заснет с улыбкой на губах, а беречь его вечный сон и беззвучие будет Маргарита — его Муза.

В романе (глава 3) есть очень страшное место, где Воланд узнав об атеизме обоих собеседников — Берлиоза и Бездомного — спрашивает весело у обоих: — «А дьявола тоже нет?» Прощаясь же заклиняет и страстно просит: «Но умоляю вас на прощанье, **поверьте хоть в то, что дьявол существует!** О большем я уж вас не прошу». И Воланд постоянно опровергает это неверие и устами самого автора. Может кто и сомневается в бытии личного Бога, но чуткая душа, живущая в СССР, видит воочию и видит постоянно повсюду злой сатанизм, его слуг и их главу. 9) Булгаков дважды обращается к Достоевскому, которого и Кот-Бегемот называет бессмертным (гл. 28). Некоторые места

бесед Воланда и Берлиоза дышат вдохновением автора «Братьев Карамазовых» — апологета Христа. Таково, по-моему, основное в книге М. Булгакова, книге во многом **автобиографичной** в высшем смысле этого слова. Далеко не со всем мы можем согласиться в исторической трактовке Иисуса Христа, в слабом, сравнительно, конце Иуды и с введением ненужной обольстительницы Низы, Христос, в сущности, лишен учеников-апостолов и т. п. Но основное — победа Христа над Римом в лице Пилата, воскресение и бессмертие душ поданы волнующе, искренно и с верой. Не весь роман равного по силе тона, не все до конца слажено,¹¹ но вещь монументальная и редко кто, — рядовой ли читатель, специалист ли литературовед, — не будет ею ранен в сердце и рана будет кровоточить незримой кровью долго... очень долго. За многое, очень многое — спасибо! И разве нужно со всем в человеке соглашаться, чтобы его горячо любить?

Р. Плетнев

¹¹ Действия Маргариты чуть-чуть выходят из рамок замысла, кое-где напоминают Г. Уэлса «Человек-невидимка».

ДОМЫСЛЫ

Как араб считаю звезды:
Нет числа им, нет конца.
Размышляю у подъезда,
У парадного крыльца.

Наша сущность не едина,
В Ноев всунута ковчег:
В одном смысле ты скотина,
В другом смысле — человек.

Психопат и неврастеник,
В этом смысле, я поэт.
А без смысла, как без денег,
Никакой улады нет.

Эмигранты нынче скисли,
Словно сливки под грозой.
И понятно, в этом смысле
Я неистовый и злой.

Коль иду за девкой следом,
Все же шагом, не бегом;
Разумею в смысле этом,
Не в каком-нибудь другом.

НЕДОУМЕНИЕ

Счастье в жизни, братцы,
Я не ждал, не требовал.
Где ж тут разобраться,
Было ль оно, не было.

Был любим, не скрою,
Сам влюблен без памяти.
Ну и все такое,
Вы, конечно, знаете.

Как закалка стали
В цвете побежалости
Души расцветали
От любви и жалости.

Мужем и женою
С нею стали значиться;
Разного покрою
Завели чудачества...

Старость нас накрыла
Без предупреждения.
Счастье ли то было,
Или навождение?...

Глеб Глинка, 1968

«ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА» О. МАНДЕЛЬШТАМА

«Грифельная ода» одно из самых трудных и загадочных стихотворений Мандельштама. И все же, уже при первом, еще беспомощном и недоумевающем чтении ее, чувствуется, что это несомненно вещь из самых крупных, краеугольных, «беременная» каким-то глубоким смыслом. Философский смысл оды — тема настоящей статьи.

В заглавии оды — литературное эхо «последнего стихотворения» Державина, вернее первой строфы незаконченной оды «На тленность», сохранившейся в грифельном автографе поэта:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Мандельштам, в статье «Девятнадцатый век», видит в этих строках глубокий, пророческий смысл: «Здесь, на ржавом языке одряхлевшего столетия со всею мощью и проницательностью высказана потаенная мысль грядущего — извлечен из него высший урок, дана его основа. Этот урок — релятивизм, относительность: а если что и остается...» Трудно сказать, по каким соображениям Мандельштам приписывает стихам Державина именно мысль о гибели абсолюта в историческом смысле. К счастью, этот вопрос почти не касается интерпретации «Грифельной оды».

Лейтмотивом «Грифельной оды» является образ «реки времен», известный уже поэтам древней Греции. Его модуляции отчасти напоминают знаменитую оду Державина «Водопад». В обоих стихотворениях мы встречаем вполне реалистическое

описание горного потока, и вместе, ряд аллегорических сопоставлений течения его вод с космосом, временем и жизнью человеческой. Встречаем мы в «Грифельной оде» и ряд подробностей, известных нам из «Водопада». Так, например, эпитет «молочный» занимает видное место в обоих стихотворениях. Прилагательное «кремнистый» и образ крутого, усеянного камнями склона горы, играющие столь важную роль в «Грифельной оде», встречаются и у Державина. Игру контрастом дня и ночи, света и тьмы, грома и тишины мы находим и в том и в другом стихотворении. Метрическое построение «Грифельной оды» встречается в некоторых из самых знаменитых од Державина, хотя и не в «Водопаде». Итак, в некотором смысле здесь можно говорить о «вариациях на державинские темы». Известно, конечно, что Мандельштам очень любил и ценил Державина.

Однако же, первые строки стихотворения, содержащие контрапункт к образу «реки времен», откликаются не на Державина, а на знаменитые стихи Лермонтова:

Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.

Здесь следует отметить, что в одном другом стихотворении этого периода («Концерт на вокзале») есть тоже эхо — почти цитата — из этого стихотворения Лермонтова. Можно отметить и то, что пейзаж у Мандельштама — лермонтовский (Крым или Кавказ), а не державинский (Карелия). А еще, что у Мандельштама, как и у Лермонтова, кремнь **блестит**. Дело в том, что кремнь обыкновенно бывает коричневого или темно-серого цвета. Но бывает и светлый. С другой стороны, философское содержание «Грифельной оды», очевидно, имеет мало общего с стихотворением Лермонтова.

Возможно, что в «Грифельной оде» есть еще одно литературное эхо: мотив контраста дня и ночи в четвертой строфе оды сильно напоминает Тютчева («День и ночь», «Святая ночь»).

Несмотря на то, что излюбленное «магическое слово» Мандельштама, «время», встречается в оде только один раз, а столь же любимое слово «век» — ни разу, каждая строфа «Гри-

фельной оды» представляет собою некоторую аллегория **времени.**

Несколько слов о «времени» у Мандельштама. Поэту хорошо известны оба вида времени: время-созидатель и время-разрушитель, время, создающее, соединяющее и сохраняющее, и время, разрушающее и уничтожающее дела людей. Время-созидатель — лучший друг поэта. Время-разрушитель — лютый его враг. Первое — вера в абсолютные этические и эстетические ценности, в их нетленность; это минуты «эстетического состояния», о котором писал Шиллер; это мгновения творческого порыва, философского созерцания и мистического восторга; это

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

Это — так хорошо известные Мандельштаму мгновения радостного ожидания и счастливого узнавания. Второе — отрицание всего этого. Мандельштам прекрасно знал, что всякая истинная поэзия — абсолют. Поддаться «реке времен», быть уверенным в том, что все на свете тленно и имеет лишь относительную ценность, значит отрицать самое поэзию: «Для литературы эволюционная теория особенно опасна, а теория прогресса прямо таки убийственна», сказал он однажды («О природе слова», Собрание сочинений, II, 285).

Можно отметить, что и Державину была известна двойственность времени:

Могущий время скоротечность,
Прошедше с будущим связать,
Вообразать блаженство, вечность
И с мертвыми совет держать,
Пленяться истин красотою,
Надеяться бессмертным быть, —
Сей дух возможен ли косою
Пресечься смерти и не жить?

В счастливые дни своей молодости Мандельштам воспринимал время прежде всего как созидателя духовных и эстетических ценностей. Его ранняя поэзия — ряд радостных встреч с

духом других наций, других эпох, других поэтов. У Мандельштама было феноменально развито чувство времени, века, эпохи. Он обладал «абсолютным слухом» времени.

Но вот настала революция, советская эпоха, и Мандельштам все чаще сталкивается с временем-разрушителем. Он свидетель мучительной смерти, или вернее, казни старого века. Гибнут ценности старого века, и не только относительные, но и абсолютные, общечеловеческие. Скоро и сам поэт чувствует, что его быстро уносит с собою река времен. Он делает некоторые слабые попытки приспособиться к новому веку, вслушаться и в его шум, но все эти попытки кончаются печальным фиаско. К тому же, Мандельштам вскоре чувствует, что после первого, шального вихря разрушения и переворота, время в Советском Союзе начало неметь, gloхнуть, и наконец, и вовсе как-бы застыло:

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время...

Разумеется, что в эту эпоху не один Мандельштам занят вопросами философии времени. Интереснейшие восприятия, образы, метафоры времени мы находим, например, у Вячеслава Иванова, у Пастернака, у Маяковского. В особенности у последнего, чувство времени так же феноменально обостренно, как у Мандельштама. Его философия времени, конечно, диаметрально противоположна философии нашего поэта. Абсолютные ценности, созданные временем, для Маяковского — старье, скука. Время-разрушитель — его друг и союзник. Главное же, Маяковский с энтузиазмом преследует — не новую, впрочем — мысль о механическом преодолении времени человеком и его техникой.

«Грифельная ода» — аллегория борьбы времени, созидателя абсолютных ценностей, с временем-разрушителем. Композиция оды представляет собою сложную систему символических отождествлений, идущих далеко за пределы конвенциональной метафоры и приближающихся к типу ассоциаций т. н. «примитивного мышления» и «логики сновидения». По словам самого поэта:

Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой...

И вот, в «Грифельной оде» являются тождественными или, по крайней мере, тесно связанными друг с другом, с одной стороны, **вода, воздух, время, отвес, крутизна, сдвиг, страх, трепет, тьма, ночь, доска и подкова**, как метафоры реки времен, а с другой стороны, **кремьень, грифель, молоко, мел, рисунок, запись, звезды, свет, день, строй и перстень**, как символы нетленности идеи, творчества, а в особенности творческого, поэтического слова.

Идентичность **воды и воздуха** встречается у Мандельштама и в других стихотворениях, например:

Словно темную воду я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.

Отождествление **воды и времени**, конечно, древнейший и универсальный поэтический трафарет. **Вода** же представляется **темной, глубокой и страшной**, из-за чего и отождествляется с **ночью**. К тому же, в темной ночи, как и в реке времен, тонут светлые создания дня.

Кремьень, грифель, мел — метафоры письма и слова, в частности бессмертного поэтического слова. К тому же, твердость **кремня** — символ нетленности. **Кремьень, мел, грифельный рисунок** светлы и ассоциируются со **светом, днем** и — вечными — **звездами**. **Строй** противостоит хаосу **ночи**.

В основе творческой идеи «Грифельной оды» лежит, пожалуй, следующий парадокс: грифель Державина пишет бессмертные стихи — о реке времен, о тленности, и в момент, когда самому поэту уже грозит забвение темной воды Леты. И вот именно этот парадокс выставляется «Грифельною одою» в ряде метафор, каждая из которых глубоко вникает в экзистенциальную суть времени. Попытки поэта связать **воду с кремнем** метафорически в то же время являются путем, которым он надеется подойти к решению парадокса. В «Грифельной оде» **вода и кремьень**, с их вариациями, действительно выступают как части естественного целого в ряде прекрасных образов, начертанных белым по черному — как стих державинской грифельной оды. Мы видим: звезды и Млечный Путь, похожие на рисунок или письмо на черной доске; молочно-белые водовороты на черном фоне горного потока; кремнистый отвес горы лунной ночью; светлые видения дня, стираемые с доски памяти хищницею-ночью.

Союз воды с кремнем осуществлен посредством метафоры учительства-ученичества. Вода — настойчивый и неустанный учитель, а кремень — внимательный и послушный (всегда ли?) ученик. Образ школы времен является в целом ряде вариаций. Ясно, что все они парадоксальны: с каких пор светлое, оформленное учится у темного и аморфного? Возникает вопрос, не ирония ли это отчаяния? Но вернее Мандельштам здесь вполне искренен, а мнимый парадокс — глубокое проникновение в тайну человеческого существования. Если рассматривать время как явление диалектическое (по теории французского психолога-феноменолога Гастона Башеляр), то его отрицательная, разрушительная сущность равноценна положительной, созидательной его сути. В таком случае лишь безоговорочное принятие обеих сущностей времени выявляет истинную мудрость в отношении человека к времени-созидателю и времени-разрушителю. Символом таковой мудрости является ученичество-учительство, самая идеально-человеческая черта нашего земного существования.

В большинстве своих стихотворений Мандельштам явно тяготеет к положительной, созидательной стороне времени — точно так же, как Маяковский к отрицательной. Но в «Грифельной оде» ему удалось создать синтез обеих сущностей времени, а также очень верно выразить концепцию — тоже, впрочем, выдвинутую Гастоном Башеляр в его феноменологии времени — о многогранности, многослойности и иррациональности времени. В «Грифельной оде» полярность времени проявляется не в одной, а во множестве разнородных метафор. К тому же, «Грифельная ода» прекрасно иллюстрирует правду, осознанную уже св. Августином, но часто забываемую, состоящую в том, что время постижимо как метафора, но непостижимо как понятие.

Мне не вполне удалось разгадать параллелизм

Кремень с водой, с подковой перстень.

Подкова — символ быстротечной Фортуны, а перстень — верности и постоянства. Итак, можно предположить, что их союз обозначает счастливую гармонию «реки времен» и времени-созидателя, символом которого является кремень.

Все три основных образа (**вода, кремень, ученичество**) встречаются чуть ли не в каждой строфе оды, разумеется, в

искуснейших вариациях. Лишь в четвертой и седьмой строфах **ночь** занимает место **воды**, а в пятой **кремь-грифель-мел** уступают место образу **дня**. Если предположить, что «в бабки нежная игра» играется мальчиками-школьниками, то можно сказать, что образ **ученичества** встречается в каждой строфе оды. Итак, образная композиция оды построена на синтезе двух противопоставленных мотивов (**воды и кремня**) посредством третьего (**ученичества**).

И вот, на основании этих общих соображений, попробуем разобрать еще кое-какие детали оды.

Строфа I. Здесь тема оды уже дана вполне, однако, покамест в конкретно-образной форме — точно как в музыкальной композиции (даже программной) лейтмотив нередко впервые дается в простой, эмоционально нейтральной форме.

Овцы, овечий в поэзии Мандельштама не раз встречаются как метафора человечества вне истории, вне времени (напр., в стихотворении «Обиженно уходят на холмы»). Однако, следует иметь в виду и образ небесного пастыря и его стада. Возможно, что в этой строфе поэт вводит мотив времени космического: для человека оно не реальнее сна; и не река небесная (Млечный Путь), а поток, струящийся вниз с вершины горы, является верным символом человеческого существования во времени.

Строфа II. Развертывается далее и отчасти реализуется метафора **овец**. Впрочем, **шапка** — метафора тяжелого, темного, ночного воздуха, ср.

Приподнять, как душный стог,
Воздух, что шапкой томит.
(«Я не знаю, с каких пор»):

Спокойной, овечьей жизни «вне времени» грозит сдвиг, символом которого является горный поток.

Строфа III. Опять-таки прилагательные **козий** и **овечий** обозначают существование вне времени. Далее, повторяется мотив угрожающего этой жизни рокового урока.

Строфа IV. Здесь искусно сплетаются три образа: начало созидательное, яркий и пестрый день, падет жертвой отрицательного начала, «ночи-коршунницы»; ночь же подобна иконоборцу, заменившему пестрое великолепие соборной церкви строгой простотой:

Здесь прихожане дети праха
Где мелом Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.
И доски вместо образов,

Образ черной доски, исписанной мелом или грифелем, в свою очередь является метафорой звездного неба и самой ночи.

Строфа V. Продолжается описание радостно светлого дня, но в контрапункте на месте образа **ночи** вновь выступает образ **воды**, такой же хищной как ночь.

Строфа VI. И вдруг опять нахлынула, как поток, ночь. Образы **воды** и **ночи** скрещиваются и переплетаются, становясь почти тождественными. В этой строфе впервые прорывается субъективное переживание поэта. Ночь — это «ночь советская», известная нам из стихотворения «В Петербурге мы сойдемся снова». Ее недоумевающий ученик: сам поэт.

Строфа VII. Аллегория этой строфы уже явно относится к современности. Поэт, ставший послушным учеником ночи, готовым идти за ней «туда, куда укажет голос», и сам будет впредь писать «горящим мелом». Он готов стать поэтом «записи мгновенной».

Строфа VIII. Начало этой строфы вполне ясно и искренне раскрывает колебание поэта, принявшего учение **воды и ночи**. Ясна и метафора

Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.

Это поэт хочет сказать, что он завидует своим современникам, которые охотно и безоговорочно готовы посвятить свое слово недолговечным делам **текущего времени**. Но как понять метафору

Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве.

Не антитеза ли это предыдущей метафоры?

Строфа IX. Перекликается с первой строфой, замыкая кольцо (или «рондо»). Поэт подтверждает свое решение идти на компромисс между **водой** и **кремнем**, **светом** и **тьмой**. Как Фома неверный, он готов подвергнуть правду старого поэтического слова («кремнистый путь» Лермонтова) строгому и мучительному испытанию.

В заключение мне хочется сказать, что я считаю свои наблюдения весьма неполной и по всей вероятности во многом и неточной интерпретацией «Грифельной оды». Надеюсь, что в будущем мои промахи будут исправлены, а также будут освещены специалистами мною не затронутые, формальные достоинства оды (ритм, звукопись, тональность, модуляция и т. д.).

Виктор Террас

ДРУГАЯ ВЕРА

(“ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ”)

Письма Веры Буниной к Вере Зайцевой были напечатаны в “Русской Мысли”. Теперь, с любезного разрешения Л. Ф. Зурова, в архиве которого находятся их подлинники, предлагаются здесь письма “другой Веры”, Зайцевой — Вере Буниной, за тот же период 20-х—40-х гг. Объяснительные дополнения, примечания и некоторые сокращения сделаны Б. К. Зайцевым.

Весной 1922 года я заболел в Москве сыпным тифом. Двенадцать дней был без сознания, на границе гибели. По ночам жена моя Вера выходила на улицу, обламывала сосульки льда с крыш и заборов, прикладывала мне ко лбу.

Наступила ночь, когда стали коченеть ноги — начинался так называемый менингитизм, от которого спасения нет. Доктор Павлик Муромцев, брат Веры Буниной, лечивший меня, наш приятель, так был подавлен, что решил на другой день утром не приходить: не хотелось видеть покойника. Но Вера не сдавалась. Верила в противоочевидность. Положила мне на грудь образок св. Николая Чудотворца, которого особенно чтילה, молилась и твердила: “Боря будет жив!” — Это была тринадцатая ее бессонная ночь. В ночь эту и произошло таинственное, чего здравый смысл не ждал, одна Вера верила, вопреки всему. Утром ко мне вернулось сознание.

Началось выздоровление. Все это переломило нашу жизнь и судьбу. Явилась возможность выехать за границу — предлог серьезный: в Берлин, на отдых и восстановление сил.

Некогда, в Московском университете, был я слегка знаком со студентом Каменевым. В 1907 году во Флоренции встретался часто с Луначарским. Теперь Каменев был председателем Московского Совета, а Луначарский — министром народного просвещения. Они и помогли мне получить

разрешение на выезд (с женой и дочерью) за границу на поправку. После довольно долгих, все-таки, хлопот, мы смогли в июне тронуться в Берлин.

Вера Бунина, давняя подруга моей жены, жила в этом, 22 году, в Париже. Предлагаемые письма Веры Зайцевой Вере Буниной написаны вначале из Германии, затем из других стран.

Ясно, что приехали мы в Берлин чуть живые. Тон германских писем Веры более чем объясняется обстоятельствами. С Иваном Буниным она всегда была в дружественных отношениях. Оба одинаково ненавидели революцию, насилие и террор, оба уснащали “великий, свободный русский язык” словечками, для печати не всегда подходящими. Но во многом, конечно, были и совсем разные.

Вот первое письмо Веры Зайцевой из Берлина.

20 июня/3 июля 1922 г.

“Дорогие мои, родные Ваня и Верочка, бесконечно рады были получить от тебя письмо, моя близкая, родная!” (Бунины уехали из Москвы гораздо раньше нас. В 1918 году оказались уже в Одессе, откуда и выбрались в Париж — через Болгарию и Сербию. Б. З.).

“До сих пор не верю, что мы вне советской жизни. Так устали, что слов нет. Пока нравится все, воздух, люди, цветы, чистота, а главное — нет кровавого тумана. Писать не могу, слишком все еще близко, а когда увидимся, все расскажу. Но увидимся ли? Теперь еще нет, т. к. валюта не позволяет. (В Берлине мы жили прилично на печатавшееся у Гржебина собрание моих сочинений, но немецкая марка с каждым днем падала безнадежно, для Парижа обращалась в ничто. Б. З.) Но надеемся очень выбраться, только сначала надо поправиться. Борюшка после болезни все еще слаб очень, хотя уже поправляться начал, ну, а про меня и говорить не хочется, одно слово: страсть кобылья. (Она любила это выражение, ею, кажется, и выдуманное. Б. З.) Наташенька бледновата тоже. Все расскажу, когда увидимся! Боже, как мы устали!

Жена у Павлика хорошая русская женщина и пока ему хорошо с ней. Она о нем заботится, *бережет* его. Теперь это главное в советской жизни. Только бы человеку не дать ослабнуть — нет, не могу писать, как все страшно.

Павлик прекрасный, сколько слез пролила я у него на френче в холодной кухне, накалывая лед для бедной головушки Бориной, а потом топили печурку в комнате в 2-3 часа

ночи и говорили об Эросе (это когда Боря выздоравливал). Хороший, редкий человек Павлик. Живет он в одной комнате. Средне живет, как большинство. Радость, конечно, большая, когда Ару-посылку получает от вас, а жена его поддерживает и бережет. Родители твои выглядят хорошо. Веруня, Веруня, мечтала сколько раз встретить *вас* и реветь. Боже мой, если б можно все сказать (*в этом месте чернильное небольшое пятно, вероятно, от капнувшей слезы. Б. З.*). Какая горечь и печаль. Лешку-то не вернешь? Тут Боря, Наташа и еще в коробочке земля с могилы бедного моего. Вот две макушки не помогли. (*Леша — ее сын от первого брака, мой пасынок, расстрелянный большевиками в 1919 году, юноша-офицер. "Две макушки" считается знаком счастливой жизни! Б. З.*)

Милый Ваня! Родной, любимый Борюшка очень благодарит и говорит, что сейчас не надо ему посылать 500 франков. У нас деньги есть пока, нам теперь не надо. Потом — что Бог даст, а теперь у нас есть.

Господь храни вас! Ваня! Мечтаю поговорить с тобой о стервецах. Без конца обнимаю. Хорошо, если на свадьбу к вам попадем. Боря целует". (*Бунины были вместе с 1907 года, но развода с первой женой он не получал долго и "узаконить" все с Верой Муромцевой смог только уже в эмиграции, кажется, в том же 22 году. Б. З.*)

15/28 июля 1922. Остзеебад Мисдрой. (*Местечко между Штральзундом и Штеттином*).

Дорогая моя родная Верунечка, получила от тебя письмо и от Яна.¹ Боря получил тоже. Мы живем на море в Мисдрой'е (не очень для русского уха благозвучно). Погода убийственная, холод и дожди непрерывные. Но я рада, что мы не в Берлине. Все-таки мы мечтаем и добьемся ехать в Италию. Как это мы добудем денег, это фантастично еще, но все же мы надеемся. За 500 фр. спасибо. Боря уже написал благодарное письмо. Веруня, несмотря на погоду, мы поправились очень. Как-то отдохнули в нашей жизни. Здесь живет Толстой,² первое время мы питались в одном пансионе, но теперь устроились с обедами отдельно. Пропасть нас разделяет страшная, и мне кажется, что он это чувствует. Мне вот ни капли не больно, что мы с ним разошлись. Бли-

¹ Так Вера Бунина всегда называла мужа.

² Алексей Толстой, «граф».

зости никогда не было, а были поверхностные распивочные отношения. Ну и Бог с ними. В России, конечно, та часть, на которую он рассчитывает, примет с распростертыми объятьями, ну, а *наши* “без энтузиазма”. Я нашла и его и его жену хорошо упитанными, и тон у них не приемлем для моих ушей и сердца моего. Это люди чужие и Бог с ними. *Наружно мы вежливы, и только.*

Вас, тебя, Ваню я любила всегда и теперь люблю как никогда, вы оба для нас дорогие, близкие, родные. Вера, как бы мне хотелось поговорить с вами. Много не напишешь. О Москве скучаю и надеюсь вернуться. *(Очень распространенное в то время настроение у только что уехавших. Б. З.)* Папа неузнаваем, христианином стал, мягкий, добрый. Мама моя худенькая и очень старая. Сильно нуждались, голодали. Дом *весь* занят, только две проходные комнаты и папин кабинет. Остальное занято семьями рабочих. Жизнь адская. В Москве очень сплоченные были люди, если б не друзья — гибель. *(Думаю, вспоминает она тут и время моей болезни, когда незнакомые оставляли нам на подоконнике деньги, еду. Б. З.)* Все друг друга поддерживали и не кланялись никому. Анофриева держит столовую, обед два с половиною миллиона, из двух блюд.

В Москве сейчас страшное религиозное течение. Церкви все полны. Никогда столько не молились, как сейчас.

...Перемерло народу уйма. Ник. Нилыч Филатов³ был арестован и умер сыпным тифом. Чулковы⁴ до сих пор не могут оправиться после смерти ребенка. Очень сошлись мы с Новиковыми.⁵ Бердяев благороднейший человек. Айхенвальд молодцом держится, но уж очень его травят наши правители. Все это я тебе только пишу и Ване. Милые мои, сколько бы вам порассказать и страшных и смешных вещей. Жизнь столь фантастична в Москве — представить трудно. Ужасный кошмар! Даже не верится, что все это пережито. Да и пережито ли? Наташенька стала розовая, скоро пришла вам карточку, ее и Лешину — его последнюю. Офицерскую боялись везти через границу. Ждем сюда Муратова, это тоже *наш* друг. Написал роман “Эгерия”. (Выйдет у Гржебина) Господь с вами, нежно целую вас, милые мои! Веруня! Родная сестра моя и Ваня братик мой”.

³ Известный в Москве врач.

⁴ Георгий Чулков, писатель.

⁵ Писатель Ив. Новиков.

8 сент. 1922. Рождество Богородицы. (Мисдрой)

Дорогая моя, родная Веруня, получила твое письмо и на сердце стало легче. Неужели же мы не увидимся? Ведь так близко теперь... Мы все еще в нашем Мисдрое. Все уехали, пустота, а нам это нравится. Боря начал писать повесть,⁶ размордел очень. Так счастлива за него.

Веруня моя, кажется, сто лет не виделись! У нас хорошая дочка растет. Ты ее совсем не знаешь. Сниму и пришлю карточку. Как Ян? Поцелуй его за нас, родного нашего.

Вспоминаю, когда вы уезжали⁷ в 18 году, как он меня ветчиной накормил и шляпу мою назвал плантаторской.

Толстые жили здесь все лето, но отношения далекие. Все хорошо бы было, если б он не насканивал со своими сменеховскими разговорами. Мы отклонялись, но 3-4 раза жестоко поговорили. Он очень изменился, мрачный. Ты знаешь, на мой взгляд в его поклонении большевикам главную роль играет материальное благополучие.

Конечно, вздор, что они ему деньги дают, но его привлекает сила их. Между прочим, он уже взял на год квартиру в Берлине и не собирается теперь ехать. Страшно злится, когда его спрашивают, скоро ли он в Москву поедет? В Москве и Петербурге прием ему будет дурной, если он туда поедет. *(В "наших" кругах, подразумевается. В правительственных его приняли превосходно, он все получил, чего искал. Но не уважение — обе стороны в этом держались одинаково. Б. З.)*

Ждем наших друзей из Москвы. А когда мы вернемся — не знаю. Боюсь, что годы и годы придется отсиживать. Страшно за Россию, что будет. Мне Таня⁸ писала так: "Хорошо, что вы во-время уехали. Кольцо сжимается. Живем в безвоздушном пространстве". А тут еще разговор о том, жива ли Россия? Верю, что жива... но помоги моему неверию.

Веруня, я пишу все, что думаю, ты письма Ване не показывай, а то смеяться будет, что понять трудно. [...] Я тоже здесь стираю, глажу, готовлю, но как все это легко после советской России! Там до того доходилась я, что со мной два раза обморок был, весной. Вообще физически здесь хорошо живет.

⁶ Роман «Золотой узор».

⁷ Из России.

⁸ Старшая сестра Веры, оставшаяся в Москве.

Ты, Веруня, очень хорошо стала письма писать. Каждый раз я перечитываю без конца. Какая ты стала?

Вера!! Знаешь, кого я здесь встретила, друзей Лешиных, из их дома он был взят. Если бы они все трое (и Лешенька) уехали! Но они не успели и только спустя полгода перешли границу. Они сюда ко мне приезжали. Как плакали мы все, вспоминая весь ужас. Обнимаю, пиши мне. 1-го октября будем в Берлине. Обнимаю, люблю и всегда молюсь за вас.

28/9 ноября. Курфюрстенштрассе 144, Берлин.

Дорогая моя, родная! 1 окт. по-нашему я вспоминала тебя, день твоего рождения. Нежно целую тебя. Дня три тому назад получила от тебя письмо, теперь вы в Париже. А мы застряли в Берлине, чему я не рада очень, но ехать никуда нельзя, здесь напоминает жизнь советскую. Цены растут чудовищно. Ну, все равно. Как-нибудь проживем. Бог даст все же летом с вами встретимся. Вот было бы счастье! Здесь теперь почти все наши, из Москвы. Бердяевы, Осоргины, Айхенвальд, Муратов (сам приехал, его не выслали). Но жить в Москве совсем нельзя, такие репрессии, что не приведи Бог.

Наташенька учится у учителя (дроби), немецк., геогр., истор. и т. д. и кроме того танцует в балетной школе Девильер, с большим успехом. Это ее очень забавляет. Она очень хорошая, интересная девочка, с чудесным характером. Это такое наше счастье. Завтра 20 лет нашего союза с Борей, 20 лет! Вся жизнь. С Толстыми почти не ведаемся, он зверски хамеет. Отовсюду его исключают, а он хвастает, что зато он богат. Они два сапога пара — только бы деньги, больше им ничего не надо. Когда у них денег много, они счастливы и довольны. Он, говорят, пьет. Но мы нигде не бываем там, где они. У нас своя компания подобралась. Верун мой, любимый, как я хочу тебя и Ваню видеть. Проклятые деньги, из-за них не смогу приехать. Может быть, летом на Рейн вы и мы приедем, хоть месяца три прожить вместе. Получила письмо из Москвы, сахар стоит 12 миллионов фунт. Как там живут — представляешь. У меня чувство, что сердце у меня висит на тонком волоске и постоянно болит. Это физически. Правда, у меня всегда болит сердце — ранка какая-то! 1/13 ноября три года, как погиб Леша, пойдем все в церковь. Бедный, бедный мальчик! Весь этот месяц, день за днем переживала все снова. Что пишет Ваня? Боря пишет повесть. Скоро выйдут на немецком языке его три рассказа.

Какой... город Берлин, бездарный, скучный, да еще эта

деревенщина. Приехавшие из Москвы устраивают “Союз Писателей” — я очень рада, там будем встречаться по субботам. Здесь был “Дом литерат.” (кажется, так наз.), но там мы не бывали, это все советск. учрежд., и “Накануне”.⁹ Веруня, как ваши денежные дела? Мы живем день за днем. Но отлично, сравнительно с Москвой. Чисто, уютно и тепло. Ну, мой родимый, целую тебя, Ваню. Господь храни вас. Боря, Тата целуют тоже. Пиши мне. Да? Буду ждать и сама напишу.

18 нояб. — 2 дек. 1922. Курфюрстенштр. 144. Берлин.

Дорогой друг мой, нежно целуем тебя и Яна и поздравляем. Мы очень рады, что вы повенчаны. Бог над вами, родные мои. Верун, спасибо тебе за заботу о нас, но теперь пока нам денег не надо. Мы живем хорошо, т.-е не голодаем кое-что себе делаем из одежды. А вот папе и Добровым устрой, родная. Я тоже посылаю папе 2 доллара — это пустяки, но все же хоть что-нибудь. Веруня, меня всегда страшно трогают твои письма — до того близка и дорога ты — как никто сейчас и я мысли не допускаю, что мы не увидимся.

В Россию мы не знаем когда вернемся. Там жизнь невыносимая. И знаешь, странное дело. Все, кто сюда приезжает, первое время только и говорят о том, что вернуться — пройдет месяц, и все с грустью признаются, что вернуться туда невыносимо. Здесь Пат Муратов¹⁰ теперь, мы каждый день с ним видимся — это большая для нас радость. Кроме того, мы с ним спаяны ненавистью к нашим негодьям. Столько вместе пережили. Не знаю, писала я тебе или нет, — но сейчас я очень грустна и вообще подавлена Берлином. В Мисдрое было лучше, а здесь бездарный город, никаких ярких впечатлений.

Здесь в миссии праздновали 5-летн. юбилей октябрьской революции, и Граф читал отрывок из романа. После этого вечера встретился коммунист с одним из высланных, Мавичем, и рассказывал ему: “Вот хам этот, “граф”, у нас теперь передние околачивает, переигрывает в своем усердии”. А дней пять назад узнали, что здесь будет живая, красная церковь и Толстому поручено охранять церковные ценности(!???!) жутко от такого места. Мы совершенно теперь уже не встречаемся... Здесь теперь устроили Клуб

⁹ «Сменовеховская» газ., там и Толстой участвовал.

¹⁰ Известный писатель, автор «Образов Италии», наш давний друг.

писателей, больше из высланных людей. Я была только один раз.

29 дек. 1922 (ст. стиль).

С наступающим Новым Годом, мои родные, дорогие Веруня и Ян! Мы живем на людях, т.-е. я очень мало где бываю, а у нас много очень. Сейчас жизнь напоминает московскую, бешеное вздорожание, это печально для нас, хотя мы пристукались. Спасибо тебе за моих стариков — вперед. Если можно, сделай и для Добровых.

Конечно, Художеств. театр готовит себе обратный въезд в Россию. Ты еще не знаешь последнего хамства Маяковского. У него шла в Москве пьеса, где Господь Бог становится перед рабочим на колени. И все это в виршах. Я бы ему предложила... а не писать стихи. Недавно Борис, говоря с Эрэнбургом о Маяковском, спросил его (это было в Клубе Писателей), серьезно ли он считает поэтом этого хама? На что Эрэнбург ответил, что Есенин и Маяковский величайшие поэты. Все это отвратительно.

Я о вас тоскую ужасно. Здесь у меня почти никого нет любимых. Один Павел Павл. Муратов, да с Айхенвальдом душу отвожу, вспоминая прежнюю Россию и обкладывая наших правителей. Наташенька учится по-немецки. И по-прежнему кроткий ребенок. Борюшка работает, пишет повесть. Шмелев у нас был, он совсем старый стал. Я боюсь с тобой увидеться, так я изменилась, совсем старая [...] стала. Скажи Ване, чтобы он мне хоть три строчки написал. Веруня, Юлий Алексеевич¹¹ скончался во сне, лег отдохнуть и во сне скончался, он не страдал. К нему подошли через 10 минут, как он лег, и он был уже мертв. Я его видела за десять дней до кончины. Когда увидимся, все расскажу. Живите, мои дорогие, Бог даст, мы тоже доживем до того, когда в Россию можно будет вместе ехать.¹²

Толстого не видели. Верун мой, есть ли у тебя фотогр. карточки? Я скоро сниму Тату и пришлю тебе. Я тоже сама готовлю, целый день верчусь как белка в колесе. Гуляю с Татой. Читаю, штопаю. Берлин не люблю, но приходится жить здесь. Мы Новый Год встречали дома, а Боря ездил в Скалу и вернулся в 7 час., он там встретил Lolo и вообще

¹¹ Старший брат Ивана, умер в Москве в 1920 году.

¹² Не дожили. Все трое успокоились в Париже, на русском кладбище St. Geneviève des Bois.

многих других, которые в Париже жили. Под наше Рождество втроем ходили в церковь, а на другой день к обедне с Татой ездила в Тегель (кладбище русских).

Боря, Тата и я нежно целуем вас. Пиши мне, моя Душа родная. Яна целуй. Господь вас храни.

21 февр. 1923 г.

Дорогая моя Веруня, что-то ты давно не пишешь? Ваня писал, что был болен, а потом и ты захворала. Милый Друг мой, получила грустное письмо от Тани,¹³ что была больна очень моя мама, а теперь Лидия Федоровна¹⁴ серьезно захворала. Знаешь ли ты это? Веруня моя, у меня такое чувство, что мы стариков наших больше *здесь* не увидим. Я верю, что в Той Жизни и Юлий Алексеевич, и моя мама, и твоя, и Лешенька, все *мы* будем вместе. А я так привыкла терять близких, что как-то меня это и не очень ушибает больше. Я тебе пишу все это для того, чтоб ты держалась крепче в этой жизни и не падала духом. Умерла мать Макса Волошина, скажи Бальмонту. Веруня, если б не занятие Рур, я бы приехала к тебе хоть на недельку. Сил нет, как хочется быть с тобой. Ваню, моего дорогого повидать. Летом должны мы быть вместе. Ведь и мы, вероятно, скоро не вернемся в Россию.

У Толстых родился сын 14 фунтов гигант. Она¹⁵ чуть не умерла. Я была у нее один раз. Очень уж он сытый, и вечный разговор о доблести Красной армии и уме наших правителей. Бог с ними. Наташенька моя, мой Жар Птенчик, страшно милая. Она велела написать, что тебя нежно целует и Яна и что она вас хорошо знает по моим рассказам. Как она трогательно молится за всех по вечерам, и за живых и за мертвых. И кончает она молитву: Богородица, Дева, Матерь Бога, сохрани православную Россию (3 раза).

Это сказал один священник, что если все будут так молиться, то Россия спасется от большевиков. Сейчас очень серьезно Тэффи больна. Лежит в клиниках. Я к ней пойду. На две минуты пустят меня. Веруня, все эти дни я особенно близка к тебе. Ничего не значит, что мое старое тело¹⁶ в

¹³ Старшая сестра Веры в Москве.

¹⁴ Мать Веры Буниной.

¹⁵ Тогдашняя жена Ал. Толстого, Нат. Крандиевская.

¹⁶ Ей было тогда 45 лет, она была очень жива и молода.

Берлине, но Душой я с тобой, моя дорогая Беатриче (как тебя дядя Доля¹⁷ звал. Он старый и большевик!!!). Господь храни вас.

3 апр. 1923.

Моя дорогая, родная Веруня! Через 5 дней наше Светлое Христово Воскресенье, а послезавтра именины дорогой Лидии Федоровны. Поздравляю тебя, моя дорогая, с дорогой именинницей. На этой неделе мы говорили, и я очень много думала о тебе и о ней. Веруня! Моя Веруня! Твое письмо я получила и плакала, плакала, и еще больше хочу тебя видеть. Не отвечала тебе потому, что возилась с одной страдальцей.

А из Москвы следующие новости. Лидин женился на красавице — в апреле, год тому назад, а недели три тому назад она умерла в Москве, заразили во время родов. И так каждый день что-ниб. ужасное. Мою маму чуть не засадили в М.Ч.К. за то, что она позволила поставить узел какой-то, в коридор, одной пролетарке, а там оказались краденые вещи. Кошмар, Веруня! Когда “Ара”¹⁸ им послана? Спасибо тебе, тысячу раз целую тебя. Напиши мне, дорогой мой.

Последняя литературная новость — Горький выставил Толстого. Он, т.-е. Горький, журнал¹⁹ хочет издавать и пригласил Толстого, но условие — уйти из “Накануне”. Толстой сказал — я уйду, мне там мало платят. Горький спросил: а если в монархич. журнал вас пригласят и хорошо платить будут, вы пойдете? Толстой: Да. — Горький вышел из комнаты. Толстой сидел с его сыном, пьянствовал, остался ночевать и утром уехал — Горький к нему не вышел. (Это было у Горького²⁰). Мне рассказывал это Гржебин. Мы не видались ни с тем, ни с другим. Посылаю тебе вырезку из “Накануне”. Кланяйся Шмелеву и скажи, что *они* его почему-то за своего считают. Я так злюсь, когда они хороших людей [...] лижут. Милый мой, пишу тебе все, все, пустяковое, важное, а о самом большом, тяжелом не могу писать. Должны увидеться. Борюшка благодарит Ваню за письмо, напишет ему сам. Какие чудесные стихи Яна “Петух на цер-

¹⁷ Адольф Штраус, любитель и знаток Данте. Брат матери моей Веры.

¹⁸ Американские продовольственные посылки.

¹⁹ Он и издавал в Германии «Беседу»; Г. тогда был в оппозиции Советам. Журнал левый, но не советский.

²⁰ Очевидно, в Герингсдорфе, на Балт. море, где Г. тогда жил.

ковном кресте”, “Ночью”. Целуй его от меня. Друг друга поцелуйте. Мы очень хорошо говели, молились о вас — просфорочку вынула. Ну, Господь с вами. Дорогой мой, любимый друг.

6 мая 1923. Курфюрстенштр. 144. Берлин.

Дорогая моя Веруня, отчего так давно не пишешь? Я тебе это третье письмо пишу, неужели не доходят? Я лежу уже 3-ю неделю. У меня грипп. Ползучее воспаление обоих легких плюс расширение сердца. Как встану, а это через неделю или полторы — поедем в Кави. Мих. Андр. Осоргин там, и жизнь там не дороже здешней, а доктор велел меня на солнце, т. к. легкие оказались слабы. Да вообще вся я расклеилась. Милый мой, незабвенный Друг, напиши, куда вы поедете? Что Ваня? Как ты? Что из Москвы пишут? Приехала Олечка из Москвы, дочь Тани,²¹ и говорит, что нам (а ей 26 лет) нельзя там жить, потому что мы *прежняя* Россия, а если жить как современные, т.-е. не имея ни чести, ни совести, можно отлично жить. Все почти церкви переходят в “живые” (и она говорит, что это самое ужасное). Веруня! Нет героев, умерли герои. Как все это страшно.

В день именин Мамы твоей я была в церкви, молилась за нее, а вечером была на Двенадцати Евангелиях. И все думаю, думаю, как жить? В *высоком* смысле. Что-то иногда хочется *сделать* для России, а не только языком трепать.

Алексей Ник.²² уехал в Москву, они там вчетвером будут отделявать какой-то особняк: Клёстов, Вересаев, Толстой, а четвертый не знаю, кто. Наташа²³ тут с детьми. Когда узнала, что я больна, пришла ко мне (он уже уехал в Москву).

Боря тоже захварывает, и я боюсь, что он тоже сляжет. Уже жарница, ласточки визжат, а я как колода лежу, вся в компрессах. Наташенька, радость наша, помогает, все делает, что по хозяйству. Дорогой Друг мой, пиши же мне. Боря работает, но теперь меньше, т. к. с моей болезнью хлопот масса. Были мы у заутрени,²⁴ всех вспоминала вас. Олечка говорит, что Папа мой удивительно бодр, добр, а Мамочка очень плоха. Так пала духом, хворает всю зиму. Ты

²¹ Старшая сестра Веры, оставалась в Москве.

²² Толстой.

²³ Жена Толстого, урожд. Крандиевская, поэтесса.

²⁴ Очевидно, до болезни.

мне писала, что “Ара” Папе и Добровым послана (в каком месяце?) Все это мне ответь. Мы из Италии (пробудем там 1½ мес.) приедем опять сюда. Какие дивные стихотв. Ваины в “Медном Всадн.” Поцелуй его, моего Брата дорогого. Перед смертью хотелось бы вас повидать. А где Бальмонт? Боже мой! Как ему плохо!

Ну, родная, устала. Очень устала. Господь храни вас всегда. Получил ли Ян письмо от Бори? Без конца целую.

28 июля, 1923.

Дорогая моя, золотая Верочка, я тебе не отвечала 2 месяца. Весной у меня было воспаление легких, а у Бори плеврит. Мы живем в Прерове, на берегу моря. Перед самым отъездом из Берлина Наташе делали операцию в носу — очень ей это было на пользу. Она изумительно поправилась. Было две недели жары, мы купались, но вот уже 2 недели дождь и холод. Это ужасно! Дорогая моя Веруня, напиши мне сейчас же, если тут невозможно будет жить, то возможно ли нам отступить на Париж? *(В Германии произвели девальвацию, цены бурно возрасли, и в политическом отношении стало беспокойно. Б. З.)* Второй раз переживать революцию нет никаких сил, ни физических, ни моральных, а здесь на это похоже. Цены взбадриваются каждый день на десятки тысяч. Уже проживаем 6 миллионов в месяц, нет, теперь больше. Сахару достать почти невозможно... все это мерзко. Многие уже поговаривают о возвращении назад. А мы... не можем. Лучше смерть, чем опять туда. Верун, если бы не Наташа, я бы не думала ни о чем, но ее хочется сохранить. Она отличный Человек, и все чувствует, и ей тоже видимо жутко. Она мне вчера говорит: “Мама, какие мы все несчастливые, неужели и тут революция будет?” И так это грустно сказала и посмотрела на меня. Борюшка работает пока, но и его все это мучает. Весь народ здесь мучается. О, Господи! Что же это такое? Прости, мой дружок, что жалею, но я Боре стараюсь не показывать, *как* я волнуюсь. Что же его зря терзать? Напиши, как вы живете? Читали мы Ванину сказку. Милый Ян, поцелуй его бесконечно нежно. Так хорошо, так прекрасно написал. Его словечки все так дороги — читаем мы вслух с Олей Полиевктовой.²⁵ Она тут теперь живет, Бердяевы, Муратовы, Осоргины, Рабенек²⁶ и многие другие, все москвичи.

²⁵ Племянница Веры, дочь ее старшей сестры Тани.

²⁶ Танцовщица, если не ошибаюсь, в духе Дункан.

Боря совсем не поправился, я больше, а Наташа отлично выглядит. Дорогой мой, что знаешь о Москве? Как себя чувствуешь? Что дорогой Ян? Господь вас храни. Верю, что увидимся. В Италию нам визу отказали (красн. паспорт). Теперь по-иному хлопочем.²⁷ Все же верим, что туда поедем. Боря там (в Риме) приглашен лекцию читать. *Пока* это секрет. Где Шмелев? Про всех пиши. Сейчас же ответь насчет Парижа. Все трое целуем.

Это — последнее письмо Веры Зайцевой Вере Буниной из Германии. Дальнейшее складывалось не совсем так, как Вера думала. Я сам тоже заболел. Когда оба поправились, то на окончательную поправку поехали с Наташей в Преров, на Балтийское море, в тот же край, где в прошлом году летом были. В этом Прерове снимали помещение в нижнем этаже большого дома, а над нами жил С. Л. Франк с семьей, еще выше Н. А. Бердяев. Там я, как и другие писатели-эмигранты, получил от проф. Ло Гатто приглашение прочесть в Риме нечто о России в Istituto per Europa Orientale.

Чтения в Риме происходили в ноябре (1923 г.), но мы, Зайцевы, оказались в Италии уже в сентябре — ненадолго в Вероне, потом в Венеции, Флоренции и наконец осели на лигурийском побережье в очаровательном рыбацком местечке Кави ди Лаванья — там провели остаток осени, оттуда ездил я в Рим читать. Сохранились два письма Веры Вере из Кави во Францию.

18 окт. 1923.

Дорогой мой Дружок, я очень рада, что ты все еще в Грассе, быть может, я одна приеду к тебе на 1-2 дня. Это выяснится на-днях. До сих пор Боря не был еще в Риме. Ждет письма о дне лекции.

1 октября мы праздновали по настоящему твое Рождение. Пили вино (цел. Фиаско Кианти). Фрукты, пирожные, конфеты, чай и “макароны”. В гостях у нас был Кочаровский, приятель Фондаминского, “Кавийский фантазматорист”²⁸ и я вспоминала этот день с ранней молодости до 1912 года, когда последн. раз была у вас. За Всех, всех пили мы; вспомнила, как кто-то сказал: “Какая музыкальная

²⁷ И получили.

²⁸ Слово моей выдумки.

семья Муромцевых”, имея в виду Лутона²⁹ и меня. (Кстати, где он?)

Если Боря не скоро поедет или очень скоро съездит в Рим, а я после него, оставив Наташу с ним, приеду к вам. Я жалею, что не знала, что вы еще в Грассе. Во всяком случае, если вы останетесь после 10 ноября, то заранее напиши мне.

Эти дни мне очень тяжки, под день твоего рождения, под Покрова Пресвятой Богородицы был арестован Леша в 1919 г. И я до такой степени во власти воспоминаний, что мне трудно очень. Но нельзя поддаваться *унынию* — это, Веруня, большой грех. Я молюсь за Лешу, Лидию Фед.³⁰ и еще за друзей раза по три в день. Мне легче. И *им легче*. Это наверное знаю. Как об Юлии Алексеевиче³¹ сердце болит тоже. Я тебе писала или нет? Перед его кончиной, за пять или 6 дней, я у него была. Он сказал сиделке: “Вот моя сестра, Алексеевна”. Слабо улыбнулся. Я ему принесла статью Ванину (вытащили из Кремля знакомые) и принесли нам. Он очень равнодушно отнесся. Как-то был уже вне жизни. Прочел и сказал: “А что, по твоему, я мог бы до них доехать?” Когда я уходила, я его перекрестила и *он меня перекрестил*. Я очень внутренне удивилась, а потом поняла. Мы всегда *все* слишком поздно понимаем. Веруня, я на-днях... (конца этого письма нет).

*Все та же осень 1923, Кави ди Лаванья, очевидно, позже
18 окт. Начало письма утеряно.*

...жду друзей моих и Лешиных (от которых он и был взят). Они во Франции; я их зову сюда заехать, к нам. Верун, есть ли у вас квартира в Париже? Вообще, напиши мне, как это делается, ищут комнаты. Мне почему-то кажется, что мы в Париж не попадем. Боюсь я его. Мы все-таки страшно замученные и страшно мне за Бору.

Я к тебе с Наташей только потому не приехала, что она безумно кашляла, 6 недель прошло коклюша и она продолжала задыхаться. Тут³² она изумительно поправилась. Мы, т.-е. Боря и я, тоже потолстели до неузнаваемости. Поду-

²⁹ Знакомый Муромцевых, не помню его фамилию. «Лутон» — это члечка. Ни моя Вера, ни он к семье Муромцевых не принадлежали, в этом и комизм замечания.

³⁰ Мать Веры Буниной.

³¹ Брат Ив. Бунина.

³² В Кави.

май, с 1914 года я тут в первый раз сама себе хозяйка. А то Притыкино (отвратно), затем уплотнение в Москве, в Берлине хозяин,³³ а тут у нас три великолепных комнаты, кухня. Клозет на таком балконе, что не уйдешь. Здесь жизнь райская, но кэ фэр, фэр-то кэ?³⁴ Не Знаю. Играю в Банко ди Лотто. Проигрываю. Борик себя чувствует хорошо. Вчера получила я из Москвы письмо от Жилкиных³⁵ — ужасно они живут. Только Т. процветает. Пишет: Толстой ездит по провинции с Василевским³⁶ и читает лекции... Зарабатывает уйму. В Петербурге наняли роскошную квартиру (там никого нет), а в Москве не мог.

Его пьеса “Любовь, книга золотая” была принята в Студ. Худ. Театра, а теперь вернули. Он, пишет Жилкин, очень уязвлен. Но Жилкины с ним все покончили. А писатели некоторые с ним любезны (конечно, из новых). Андрей Соболев³⁷ в нищете, написал покаянное письмо и, кажется, очень страдает. Грозится повеситься. Вообще ужасно грустное письмо, трагическое. Они все оставшиеся писатели и интелл. только что не голодают, но измучены в лоск. Андрея Белого не пустили в Россию.³⁸ Сюда к нам Осоргин придет погостить. Он в Париже будет жить. Из Берлина бегство поголовное. У кого нет заработка.

Верик, радость. Целую моего милого Ваню. Голубую кровь и белую кость. Боря, Тата целуют. 1 октября она была очень довольна, что мы праздновали твое Рождение. Господь храни вас.

Бунины раньше нас обосновались во Франции, не позже 1920 года. Жили в Париже, в том Пасси, тихом и тогда не столь нарядном округе (аррондисман) города, где, как и в соседнем Отей, провело и закончило свое земное странствие старшее поколение литературной русской эмиграции. Явление, думаю, беспрецедентное в истории: вся тогдашняя дей-

³³ Герр Больте. Мы снимали у него две комнаты на Курфюрстенштрассе.

³⁴ Из расск. Тэффи.

³⁵ И. В. Жилкин, член Госуд. Думы, партии не то кадетов, не то народн. социалистов.

³⁶ Не знаю, с каким именно.

³⁷ Писатель, с.-р. Бедствуя, перешел к коммунистам. Позже покончил самоубийством.

³⁸ В конце концов, пустили, позже. Но не на радость.

ствующая армия писательская ушла с Родины из-за невозможности думать и писать по-своему (вовсе даже не в области политики).

Париж стал центром изгнанничества. К этому ему не привыкать стать: издавна был он средоточием свободы, и не зря на Плас де л'Альма бронзовый Мицкевич, хоть и велик ростом на пьедестале своем, экстатически зовет куда-то.

Бунин, Мережковский, Бальмонт, Куприн, Шмелев, Ремизов, Алданов, Осоргин — все они обитатели Пасси и Отей, большинство тут же в Париже и головушки свои сложило, упокоившись кто на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, кто на других.

Бунины, кроме Парижа, избрали себе как второе место-пребывание чудесный городок на юге Франции, в Провансе, Грасс. Сначала ездили туда только на лето, позже жили по-долгу, зимой в Париж только наезжая. Дальнейшая переписка двух Вер — Зайцевой и Буниной — идет между Парижем, куда мы докатились из Италии, и Грассом Буниных.

(Продолжение следует)

Бор. Зайцев

ПИСЬМА К. ФЕДИНА К Е. ЗАМЯТИНУ

ПУБЛИКАЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ Г. ЕРМОЛАЕВА И А. ШЕЙНА

Большинство публикуемых ниже писем были написаны, когда и отправитель и адресат находились вне России. Федин и Замятин были дружны с начала 20-х годов. Вместе с М. Зощенко, В. Кавериным, Вс. Ивановым, Н. Тихоновым и другими Федин входил тогда в содружество “Серапионовых братьев”, группу молодых талантливых писателей, веривших в самоценность искусства, независимо от политических взглядов его творцов. Свободолюбец Замятин был одним из художественных наставников и близким другом “Серапионов”. В 1929 году, когда литература стояла на пороге полного подчинения политике, началась свирепая травля Замятина. Запоздалым поводом к ней послужило опубликование его запрещенного в СССР романа “Мы” в пражском эмигрантском журнале “Воля России” весной 1927 года. В 1931 году Замятин обратился к Сталину с просьбой о разрешении на выезд за границу, ибо невозможность писать в Советском Союзе была для него равносильна смертному приговору. Благодаря вмешательству Горького Замятину было разрешено покинуть пределы СССР на один год. Он выехал в ноябре 1931 года и не вернулся. Последние годы жизни он провел во Франции, где и умер в Париже в 1937 году.

Пребывание Федина за границей в 1930-х годах было вызвано иными причинами. Дважды он ездил туда лечиться от туберкулеза легких. Первый раз он выехал лечиться 22 августа 1931 года с намерением попасть в Шварцвальд (Германия). Однако, в Берлине немецкий врач направил его в Давос (Швейцария), где он пробыл в санатории с начала сентября 1931 года до конца мая 1932 года. Затем он лечился полгода в Сан-Блазиене (Шварцвальд) и в декабре 1932 года вернулся в Ленинград. В следующем году Федину не удалось поехать в Давос. Швейцарское правительство отказалось впустить его из-за статьи о Ромене Роллане (см. соответствующие примечания к письмам от 21.VI.1932 г. и 13.XI.1933 г.). Вопрос о лечении в Германии отпадал из-за

прихода к власти национал-социалистов. Поэтому в конце сентября 1933 года Федин отправился из Ленинграда через Москву в северную Италию, в Меран. В декабре он принял двухнедельное путешествие по Италии и до возвращения в Советский Союз посетил Париж, где встретил Новый 1934-ый год с Замятиным.

За разрешение напечатать письма Федина мы приносим глубокую благодарность Тамаре Антоновне Величковой и профессору Филиппу Артуровичу Мозли. Мы благодарим также Льва Флориановича Магеровского за его любезное содействие при нашем изучении архива Замятина в Колумбийском университете.

К сожалению, мы не смогли установить личность нескольких малоизвестных лиц, упомянутых в письмах. В таких случаях никаких примечаний сделано не было.

Г. Ермолаев и А. Шейн.

С[ан]-Блазиен, — адрес в конце письма Доры.¹
21.VI.[19]32.

Милые Людмила Николаевна и Женечка!²

В свински-долгом моем молчании много случайного. Адрес ваш я узнал только из последнего — майского — письма Жени. Вы, Л[юдмила] Н[иколаевна], написали мне адрес так, что ни я, ни добровольцы, вызывавшиеся его расшифровать,³ решить Вашей крестословицы не могли. Мог бы, конечно, написать через Познера,⁴ но это казалось сложным. Добавьте ко всему прочему мою лень — вот вам и весь “комплекс” объяснений моего молчания. Но я все время собирался написать, хотел написать, и все чего-то не выходило. Так уж я устроен.

С середины мая наступили в моей жизни перемены: 17-го я впервые спустился с гор вниз — ездил на Женевское озеро, осмотрел все швейцарское побережье, от Вильнёв до Женевы, от Роллана⁵ до Лиги Наций. И не как-нибудь индифферентно, а буквально. Живя в Монтрё, ездил дважды к Роллану, с которым — письменно — познакомил меня Горький. Пишу сейчас “Роллана в туфлях” или “в халате” — не знаю, что, собственно, выйдет. Затем был в Женеве, на заседании Совета Лиги Наций. Зрелище, подобное заседанию расширенного пленума домоуправления, с тою разницей, что домоуправление у нас куда красочней! Был и в Лозанне, заходил к Цезарю Ру⁶ — учителю В. Гедройц.⁷ Кстати, знаете

ли Вы, что Гедройц умерла в марте? Она, в свое время, дала мне письмо к Ру и он помог моему въезду в Швейцарию.

Через неделю путешествия вернулся я в Давос. Нашли меня мои эскулапы в хорошем состоянии, после чего решено было, что меня можно спустить метров на 800 ниже — выдержу. Я и выдерживаю — уже здесь, в Шварцвальде. Попрежнему (или почти попрежнему, т[ак] к[ак] даже хорошая семья плохо способствует лечению) лежу, и пролежу, вероятно, все лето, и осень, и — м[ожет] б[ыть] часть зимы, скажем — до Рождества. А там — домой. Чувствую себя хорошо, думаю, что тут будет не хуже, чем в Давосе. Но о Давосе вспоминаю с нежной благодарностью. Ведь только благодаря ему (и пневм[отора]ксу) выскочил я из ловушки, о которой *теперь*, *post factum*, доктора говорят, что она была ловушкой крепкой, капканом, и что меня уже считали не жильцом на этом превосходном свете. И вот подите! Ах, Давос, Давос!...

Пребыванию в Берлине, куда я поехал, чтобы встретить Д[ору] С[ергеевну] с Ниной,⁸ я отдал должное. По изречению берлинского своего врача — “с цепи сорвался”. Но ничего. Хотя и устал, однако, сейчас снова “в форме”,

Д[ора] С[ергеевна] пишет Вам о приезде Слонимского.⁹ Интересно, что он будет рассказывать о пертурбациях в литер[атурной] жизни, о РАППе¹⁰ и пр[очем]. Смятение в среде рапповцев, судя по письмам Сергеева¹¹ (уехавшего сейчас... в Нарым... но не сосланного туда,¹² конечно) много сильнее, чем это видно по газетам. Д[ора] С[ергеевна] рассказывает, что “оживился” Юшка¹³ и подобные ему “попутчики”. Меня включили в орг[анизационный] комитет по учреждению нового Союза.¹⁴ Но узнал я об этом из газет и никаких подробностей о ходе дел у меня нет.

Женя! О твоём письме в ред[акцию] “Лит[ературной] газ[еты]” Д[ора] С[ергеевна] рассказывает следующее: Зоя¹⁵ спросила у Авербаха¹⁶ (ныне — падшего ангела), получено ли твоё письмо.¹⁷ Аверб[ах] ответил: “Получено, но напечатано не будет. Замятин пишет о том, чего он не говорил. Но не пишет о том *что* он говорил”. Зоя переслала письмо Алексею Максимовичу,¹⁸ т[ак] к[ак] он его от тебя не получал.

Письма, думаю я, не напечатают и теперь. Дело все в том, что ты борешься против искажения фактов, передержек газетчиков т[о] е[сть] против *частностей*, и оставляешь нетронутым вопрос о главном, *об общем*. Ведь цель и смысл искажений и передержек — доказать, что ты — контр-

революционер.¹⁹ Твоя задача должна бы состоять в обратном. Но ты всегда выступал, уличая своих противников в нечистоплотности и вранье, сосредоточивая удар на низменных средствах, к которым они прибегают, а не на цели, которую они преследуют. В данном случае, добиваясь твоего опорочения, тебя начали обвинять чуть ли не в прямом “предательстве”. Мне кажется, надо было изо всей сели (*и по существу*) ударить по этой клевете. Дело следовало бы свести не к контр-обвинению Иванова, Петрова и пр[очих], а к разгрому негодных намерений сделать из тебя жупел злокозненной контры. Ты же и на этот раз, как прежде, оставил вопрос открытым — *как же ты относишься к революции* (само собою — к революции, происходящей сейчас у нас, а не к абстрактному явлению революции)?

Боюсь, что этот вопрос, в кругу твоего личного бытия, относится к *вечным*. И ты никогда ничего решительного тут не скажешь. А можно ли тут отмолчаться?

Как хорошо было бы встретиться нам именно теперь, т[о] е[сть] — еще за границей. Этот год — 32-й — будет переломом не только в *большой*, общественной и политической жизни, но и в маленьких отдельных “жизнях”. Я думаю, ты здесь еще больше увидел, чем я, еще больше *узнал* — *лицо*, образ нынешнего дня. Наступающего дня. Ты его наверное предвидел, этот образ. Но вот теперь он перед тобою — перед нами — в реальности. И — по-моему — надо снова решать, как пятнадцать лет назад.

Ну, вот, как много написалось. Жду ответа. Не мстите мне за молчание тем-же. Людм[ила] Николаевна! Целую руку. Женя! — обнимаю и целую. Приезжайте-ка на побывку! Сыграем в покер.

Ваш Конст. Ф.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Дора Сергеевна Федина, урожд. Александер (1895-1953) — жена Федина, проводила летние месяцы 1932 г. вместе с мужем в Сан-Блазиене, куда ей удалось выехать с помощью Максима Горького. Письма ее в архиве Замятина нет.

² Людмила Николаевна Замятина, урожд. Усова (ум. 9 апреля 1965 г.) — жена Е. И. Замятина (1884-1937).

³ В подлиннике по старому правописанию: разшифровать.

⁴ Владимир Соломонович Познер (р. 1905) — писатель, быв. член содружества «Серапионовы братья», переехал во Францию в 1921 г., член французской компартии.

⁵ Ромен Роллан (1868-1945) — французский писатель, которого Федин посетил дважды в мае 1923 г. в городке Вильнёве, вблизи Монтрё. О встречах с Ролланом Федин рассказал в статье «У Роллана» («Известия», 13 июля 1932 г.) Статья содержала довольно резкие суждения об отношении швейцарцев к Роллану и вызвала критические отклики в швейцарской и французской прессе. Хотя Федин обвинил своих критиков в клевете, следующее издание его статьи (альманах «Год двенадцатый», 1936, № 9) вышло со значительными изменениями. Из статьи, например, были удалены, и впоследствии не восстановлены, — начало, характеризующее швейцарское побережье Женевского озера как «место скопления утробно-желудочной ненависти к имени Романа Роллана»; упрек в неблагодарности, брошенный одной швейцарской газетой Роллану, который, по ее словам, только и знает, что защищает большевиков и никак не удосужится написать что-нибудь о трудолюбивых швейцарцах; и жалоба Роллана на советские периодические издания, которые обращаются к нему за печатным материалом и сразу же по исполнении просьб прекращают с ним всяческие сношения.

⁶ Цезарь Ру (1857-1934) — выдающийся швейцарский хирург, профессор оперативной хирургии в высшей медицинской школе в Лозанне.

⁷ Вероятно, Вера Игнатьевна Гедройц, писавшая с 1910 г. под псевдонимом Сергей Гедройц. Ее три повести («Кафтанчик», 1930; «Лях», 1931; «Отрыв», 1931) были выпущены «Издательством писателей в Ленинграде», одним из основателей и руководителей которого был Федин.

⁸ Нина Константиновна Федина (р. 1922) — дочь Федина.

⁹ Михаил Леонидович Слонимский (р. 1897) — писатель, один из членов содружества «Серапионовы братья», был в заграничной командировке в Германии летом 1932 г. и навестил Федина в Сан-Блазиене.

¹⁰ РАПП — Российская ассоциация пролетарских писателей. Являлась проводником линии партии в литературе и ставила своей целью создание специфической пролетарской литературы. Распущена постановлением ЦК партии от 23 апреля 1932 г.

¹¹ Михаил Алексеевич Сергеев (р. 1888) — критик, издатель и этнограф, изучавший русский Север.

¹² Слова «но не сосланного» являются заменой вычеркнутых слов «с экспедицией».

¹³ Наверно Юрий Карлович Олеша (1899-1960) — писатель-путчик. Его интересное произведение «Кое-что из секретных записей путчика Занда» («Тридцать дней», 1932, № 1) вызвало усиление нападков на него пролетарских критиков в первой половине 1932 г.

¹⁴ Союз советских писателей — учрежден постановлением ЦК пар-

тии от 23 апреля 1932 г. с целью объединения пролетарских писателей и попутчиков в одной организации и под одним руководством. В задачу Организационного комитета под председательством редактора «Известий» И. М. Гронского входило практическое создание Союза и подготовка Первого всесоюзного съезда советских писателей.

¹⁵ Очевидно, Зоя Александровна Никитина, урожд. Гацкевич — жена писателя Н. Н. Никитина (1897-1963), одного из «Серапионов». Вторым браком за писателем М. Э. Козаковым (1897-1954).

¹⁶ Леопольд Леонидович Авербах (1903-1938) — литературный критик, глава РАПП (1928-1932).

¹⁷ Письмо в редакцию «Литературной газеты», написанное в Париже 30 марта 1932 г. в ответ на статьи некоего Мих Скачкова «Гастроли Евгения Замятина» и «Пražские защитники Е. Замятина», помещенные в «Литературной газете» от 4 февраля и 11 марта 1932 г. В своем письме Замятин опроверг измышления чешской коммунистической газеты «Руде право» и самого Скачкова, заклеймивших как «вылазку классового врага» его лекцию о современном русском театре, прочитанную в Праге 29 декабря 1931 г.

¹⁸ Горькому.

¹⁹ В подлиннике описка: конрреволюционер.

Сан-Блазнен, 27.IX.1932.

Милый Женя,

Посылаю тебе чудо из чудес: — твое письмо, напечатанное в «Лит[ературной] Газете»! Без комментария, без примечания,¹ без сносок, без выносок, без обещания редакции «вернуться», без «в общем и целом», без «однако», без «но». А говорят: нет никакой мистики. Как бы не так! Отлично есть! Вообще чего только нет?! Все есть!...

Не писал долго, ибо: 1) был занят проводами Д[оры] С[ергеевны] с Ниной — душевно и организационно; 2) пытался создать хоть подобие некоторого отбоя нападкам на Роллана за его слова о швейцарцах и СССР («обиделись»² швейцарцы, рассердились французы, Бог знает какой только гадости не написали о старике в связи с моим фельетоном);³ 3) ругался с Правлением Изд[ательства] Пис[ателей] в Л[енинграде]» из-за «ухода» Алянского;⁴ там все изолгались даже до-сверхъестественности; 4) ругался с Мишей Слон[имским] по тому же поводу; 5) утешал Сам[уила] Мироновича.

Как всегда, на самом последнем месте (о, судьба, безжалостная старуха!) обретается последняя из причин: писал роман,⁵ работал. Продолжаю заниматься этим и теперь. Нервно, конечно. Тема чудовищная, материал ползет, уходит

из-под рук, коробится, как картон на солнце. От “исторической” правдивости, от контроля “временем” приходится отказать, на хронологию — плюнуть. Никаких “эпопей” я не хочу, а роман просто *мал* для такого материала. Но “что-то” должно получиться...

Здоровье вовсе не плохо, кашля почти совсем нет; рентген, анализы, акустич[еские] показатели и пр[очее] — все это очень удовлетворительно. Летом я похворал, недели три держался бронхит. К счастью — легкие уцелели. Сердце дает себя знать, пневмоторакс даром не пройдет, хорошо, что сам-то он “проходит” без катастроф.

Проекты у меня такие: здесь пробуду октябрь-ноябрь, затем — в Берлин, недели на две, затем — домой, т[о] е[сть] — к рождеству. Надеюсь, что к тому времени установится зима. С другой стороны, этот план диктуется тем, что к декабрю у меня улетучатся остатки денег и что по “высоким” соображениям мне уже пора возвращаться...

Дома еще ничего не налажено. Предполагаю я переехать в Детское.⁶ Д[ора] С[ергеевна] сейчас усердно хлопочет об этом. Но из Детского бегут, ибо сил нет из-за каждой селетки ездить в Лен[ин]град. Д[ора] С[ергеевна] без прислуги, и за 2 недели успела разместить по очередям, трамваям, проспектам и базарам все приобретенное за лето в С[ан]-Блазиене. Так-что Детское, необходимое мне, угрожает Д[оре] С[ергеев]не. — я то, м[ожет] б[ыть], от туберкулеза избавлюсь, да она как бы его не заполучила. Однако, не оставаться же в Л[енин]граде! — там меня живо загонят в гроб... Условия, пишет Д[ора] С[ергеевна], тяжелы до крайности; за истекший год такие перемены, что и вообразить трудно.

Получаешь ли ты газеты? Много интересного. Школа реорганизована, сейчас взялись за ВУЗ'ы, за аспирантуру. Техника посажена в мягкие кресла, общественные дисциплины сидят в кухне, на табуретке.

Сейчас в центре — 40-летие деят[ельности] Горького; только-что отшумел юбилей Александринки⁷ (Певцов — народный, Мичурина — тоже,⁸ и прямо сонмы заслуженных).

Ну, вот. Так и было. Будь здоров, обнимаю тебя. Передай самый хороший привет Людмиле Николаевне. Фото Ваши чудесные, Иосиф Яковлевич привел меня в умиление. Посылаю “две” фото. Моя дочь ходит в школу, счастлива.

Твой Конст. Федин.

Р. С. Д[ора] С[ергеевна] хотела пригласить к себе Агр[афену] Павл[овну], но она оказалась занятой.

И письмо и открытку получил. Знаешь ли ты, что умер Волошин?⁹

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ См. прим. 17 к предыдущему письму. Письмо Замятина было опубликовано в «Литературной газете» от 17 и в «Известиях» от 18 сентября 1932 г.

² В подлиннике: «обидились».

³ См. прим. 5 к предыдущему письму.

⁴ Самуил Миронович Алянский (р. 1891) — издатель, основатель частного петроградского издательства «Алконост» (1918-1923), выпустившего в 1922 г. первый альманах «Серапионовых братьев».

⁵ Роман «Похищение Европы» — впервые напечатан в журнале «Звезда»: первая книга в №№ 4-8, 11-12 за 1933 г., вторая — в №№ 6-10, 12 за 1935 г.

⁶ Бывшее Царское Село. С 1937 г. — Пушкин. В Детском Селе, куда Федины переехали в 1933 году, находился туберкулезный диспансер, которым заведовал лечивший Федина доктор Крижевский.

⁷ Столетие бывшего Александринского театра, открытого в Петербурге 31 августа (12 сентября) 1832 г. Теперь — Ленинградский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

⁸ Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета актерам Иллариону Николаевичу Певцову (1879-1934) и Вере Аркадьевне Мичуриной-Самойловой (1866-1948) было присвоено звание народных артистов Республики.

⁹ Максимилиан Александрович Волошин (р. 1877) — поэт, умер 11 августа 1932 г.

[Меран, октябрь 1933 г.]

Милый Женя,

вот тебе мой адрес: *Merano, Pensione Alhambra (Italia)*. Как только получишь оный — напиши, *правильно ли я адресую это* “письмо”, и я напишу тебе подробнее. Привет и объятия тебе и Людм[иле] Никол[аевне] от меня и от Доры Серг[еевны] (она дома, а я тут бобылем)!

Твой К. Ф.

Не можешь ли ты мне сообщить так же и адрес В. Познера? И адрес Р. Гуля!¹

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Роман Борисович Гуль (р. 1896) — писатель, с которым Федин встречался во время своих заграничных поездок. По совету Р. Б. и О. А. Гуль, тяжело больной Федин обратился осенью 1931 г. к берлинскому врачу К. К. Кюне и был направлен им на лечение в Давос (Швейцария), как единственное место, где пневмоторакс обоих легких и воздух Давоса подавали надежду на выздоровление.

Меран, 13.XI.33.

Милый Женя!

С чего же начинать? Пожалуй, с того, что о тебе слишком мало слышно там, *дома*, и что все, с кем ни встретишься, всегда спрашивают — не знаю ли о твоих планах я, не пишешь ли ты и пр[очее]. От времени до времени Доре Сергеевне звонит Аграфена Павловна — нет ли письмаца от Людмилы Николаевны? При этом обычно устанавливается, что последнее письмоцо было послано ей, Аграф[ене] Пав[лов]не, а не Доре Сергеевне. Агр[афена] П[авловна] “докладывает” о своем житье-бытье, нынче, как будто, улучшившимся, т[ак] к[ак] Агр[афена] П[авловна] поступила на к[акую]-т[о] службу, не помню сейчас — на какую именно. Главная ее забота — квартира. До моего отъезда из Питера (т[о] е[сть] до конца сентября) там было все попрежнему, кв[артир]а закреплена за тобой, только кто-то там все же слегка “уплотнил” жильцов (признаюсь, слышал краем уха). Очень важно дальнейшее: как быть, когда наступают “сроки”. Это — предмет постоянного беспокойства. И даже сейчас, рапортуя тебе об этом, сомневаюсь, — не произошло ли за последнее время к[аких-]н[ибудь] перемен. Все течет, как известно... Вскоре после моего приезда в Л[енин]град, посетил меня твой полпред — Зоя. Она весьма энергично представляла твои интересы, но — видно — приходилось ей иногда туговато, и “роковой вопрос” — что же дальше? — мучил ее, пожалуй, больше чем Агр[афену] П[авлов]ну. Что мог я сказать? Все без перемен и в полном равновесии, репрезентируйте дальше! С тем она и ушла. Сердце ее занято Козаковым,¹ так что с неясностью в вопросе Замятина она должна примириться без особых страданий. Мучения же были, так ск[азать], дипломатические, потому что и ее спрашивают (при получении гонорара во Всероскомдраме или при иных обстоятельствах) — что? когда? как?

Ну, вот. Теперь о переписке с тобою и с Людмилой Ни-

колаевной. У тебя из-за моего молчания и позорно-ленивых ответов Д[оры] С[ергеев]ны могло создаться впечатление, что я избегаю переписываться с тобою и с Л[юдмилой] Н[иколаев]ной. Заверяю тебя — нисколько. Д[ора] С[ергеевна] занята, как все наши советские хозяйюшки, по горло, а если и освобождается от хлопот, то рада полениваться. Я работал довольно усердно, а остальное время отдавал режиму — “лёжке”, гулянью, спанью т[ак] к[ак] без этого жить уже не могу, со своей “пневмой” и навыками, которые образовались за время лечения и, в сущности, — спасли меня. Л[юдмила] Н[иколаев]на написала, что ты, будто-бы, отправил мне послание в начале года (не так ли?). Я от тебя за все время пребывания в России ничего не получал, а Людм[ила] Ник[олаевна] писала только Д[оре] С[ергеев]не, но не мне. Так что ежели брать дело формально, то я твоим должником по части писем не состою, и поднимаю этот разговор только потому, что переписка с тобою, хотя бы и жиденькая, казалась бы мне более естественным состоянием, чем гробовое молчание, установившееся между нами после моего отъезда из С[ан]-Блазиена.

Что там? Да, пожалуй, без особых перемен. Внешне очень меняются города. Питер залит электричеством — без преувеличений. Москва — асфальтом. Движение в Москве аховое, город дрожит от жизни. Милиционеры по муштровке (они теперь ведь ведомства ГПУ) не уступают германским шупо.² Городские работы ведутся по-американски, т[о] е[сть] педантически чисто, с подметанием, с укладкой инструментов, с окраской и отделкой временных загоронок, которыми обносят места работ и проч[ее]. В этом смысле образцово велись работы на Мясницкой по укладке бетонной подушки под мостовую (там метро): работы велись только ночью, а днем все было словно вылизано! В Питере много улучшений, на Невском три ряда огней, на Литейном и на многих др[угих] улицах — два, Выборгская сторона асфальтирована, в том числе некот[орые] набережные; но движение увеличивается вяло, только грузовое. Трамваи и у нас и в Москве решительно недоступны, автобусов не хватает, хотя их прибавляют все время и в Москве они уже стали настоящим подспорьем. Но... хвосты за керосином временами достигают астрономических размеров (стоят сутками, как на Шаляпина!); дома красятся только с фасадов; прошлую зиму только военными по экстраординарности усилиями потушили сыпняк (носивший псевдоним “форма” № 2”); народ тош, устал и пьет. Вот чего много

— особых питейных — вроде баров: пьют в стоячку, за высокими, как конторки, столами, закусывают готовыми бутербродиками, вроде чего-то каменноугольно-фекального. Пьют зело! Одно утешение: милиция безукоризненна и шуток — ни-ни! Тон всей жизни дают “Торгсины”,³ которых чуть меньше, чем питейных. Народ несет туда бо-звать откуда — крестики, колечки, брошки, серебро и живет, справляет именины, несмотря ни на что, так сказать... В остальном быт прежний.

Все это пишу, само собой, для тебя лично. То есть для разумно-личного употребления. При встрече (на которую надеюсь) расскажу о многом другом, о бездонности противоречий, все углубляющихся (хотя как, собственно, бездна может углубляться — не могу знать; может — в ширину?!). О знакомых перечислять было бы трудно и о некоторых — уж слишком *грустно*. Опять-таки — до встречи.

Перед отъездом я прожил неделю в Москве. Был у Бориса,⁴ в день его рождения; на торжестве присутствовало 100 женщин и мало писателей; одиночеству человек в лит-мысле сильно. Была Анна Андреевна,⁵ которая живет в общем *трудно!* Был у Горького, в Горках и на Никитской. Последний раз — на вечере с участием трех членов правительства, *самых* высоких.⁶ Братья-писатели вели себя униженно. Алеша⁷ шутовал, скоморошничал всю ночь. Другие — петушками, или кто как мог. Обстановка предельно-грустная, но, т[ак] ск[азать], показательная.

Вокруг Алеши много шантрапы, он это сам хорошо видит, но махнул рукою.

Я жил лето в Детском, очень хорошо: окна в парк, в “Собственный садик” — знаешь ли это место? Общался с Юрием Шапорою⁸ и другими музыкантами, в т[ом] ч[исле] — Поповым,⁹ виртуозом и мастером, впрочем, еще молодым. Детское хиреет, пыль в городе такими винтами — красота! Ходит Шишков¹⁰ в белых штанах, в желтых башмачках с задраннымиверху носиками, в пикейной жилеточке. Душа человек!

Ну, ладно. Эпос окончен. Теперь — лирика. Почему и как очутился в Меране? Швейцария меня не впустила — в наказание за мое общение с Ролланом.¹¹ Хлопотали швейцарцы. Дело дошло до президента. Роллан тоже участвовал. Дважды отказ! В Германии мне быть не к лицу: меня палили в Гамбурге (с Гейне, *bitte sehr!*) и во Франкфурте н/М.¹² Между тем, я решил осень провести в хороших

клим[атических] условиях, т[ак] к[ак] надо поддерживать левое легкое, на котором еду. И вот попал! Тут льет библейский дождь, и день так, день этак! Конечно, это — “первые за последние 15 лет”. Вообще же место чудесное... Ехал через Варш[аву]-Вену. Жил три дня в Вене, потом спустился в Венецию, где тоже три дня сходил с ума: — все рассказы о ней — лепет; там глупеешь от романтизма города, право. Тут я работаю: кончаю 1-ю книгу “Похищения Европы”; хочу довести печатание в “Звезде” до конца в этом году. Если все пойдет по “плану” — попробую предпринять поездку либо по Италии (на юг), либо во Францию (юг-Париж), либо — соединив оба маршрута в один. План же таков: кончить работу и освободиться к середине декабря; месяц употребить на передвижение и жизнь в к[аких-] н[ибудь] “достойных” местах; к 20-ым числам января вернуться в Питер. Денег у меня будет в обрез, т[ак] к[ак] вообще я живу на остаток средств, которые мне были даны прошлый раз на лечение. (Кстати: этот “остаток” оказался не вполне неприкосновенным. Представь! В мое отсутствие, без моего ведома у меня “занимает” деньги мой печальный друг Денис! Это надо ухитриться!) Не можешь ли ты, Женя, узнать, могу ли я рассчитывать на франц[узскую] визу, если начну хлопотать о ней теперь? Может ли мне помочь Познер? Или ты? Достаточно ли будет моего письм[енного] прошения или придется куда-нибудь заявляться лично? Ответь мне на это поскорее (если сразу не соберешься написать пространно, обо “всем”).

О Бунине приходится каждый раз писать: “русский писатель Бунин”. Сам Бунин сказал по поводу ноб[елевской] премии: “великий для меня день”. И на вопрос, поедет ли он в Стокгольм, ответил: “Непременно поеду!” И еще: “... автор ‘Жизни Арсеньева’” — это никак не звучит, для иностранцев особенно. Впрочем, с ноб[елевскими] премиями случались вещи похуже: прошлый год лит[ературную] премию получила вдова секретаря комиссии шведск[ой] академии по распред[елению] нобелевских премий.¹³ Секретарь то, оказывается, писал стихи!... И литературно и... по-человечности Бунин, надо признать, заслужил. Но неужели же русская литература может быть “озарена”... нобелевск[ой] премией?...

Ну, целую тебя. Передай сердечный привет Людм[иле] Ник[олаевне].

Твой К. Ф.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ См. примечание 15 к письму от 21 июня 1932 г.

² Полицейские. Нем.: Шутцполицай (сокр. шупо).

³ От слов: торговля с иностранцами. Специальные магазины для приобретения золота. Во время голода начала 1930 годов население могло получать в торгсинах продукты и товары в обмен на золотые и серебряные деньги и изделия.

⁴ Писатель Борис Андреевич Пильняк (1894-1937).

⁵ Вероятно, поэтесса Анна Андреевна Ахматова (1889-1966).

⁶ Эта встреча была на квартире Горького 26 октября 1932 г., когда Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ» и высказал свое мнение о социалистическом реализме.

⁷ Алексей Николаевич Толстой (1883-1945), который, по определению И. А. Бунина, был «восхитительный в своей откровенности циник».

⁸ Юрий Александрович Шапорин (1887-1966) — композитор, в 1919-1934 годах — заведующий музыкальной частью и дирижер Большого драматического театра и Театра драмы имени Пушкина в Ленинграде. С Шапориным Федин познакомился в 1923-1924 годах, не раз встречался и дружески беседовал с ним. Общение Федина с Шапориным сыграло большую роль в творческой истории романа «Братя», герой которого музыкант, композитор.

⁹ Гавриил Николаевич Попов (р. 1904) — композитор, написал музыку к фильму «Чапаев» (1934).

¹⁰ Вячеслав Яковлевич Шишков (1873-1945) — писатель.

¹¹ См. прим. 5 к письму от 21 июня 1932 г. Официально швейцарское правительство отказало Федину во въездной визе на основании того, что во время своего пребывания в Давосе он посетил Роллана, не имея разрешения на поездку в другой кантон.

¹² Имеется в виду сожжение немецкого перевода романа Федина «Города и годы», вышедшего по-немецки в 1927 г. в издательстве Малик Ферляг в Берлине.

¹³ Неточность. В «прошлом», т.-е. 1932 г., нобелевскую премию получил английский писатель Джон Голсуорси (1867-1933). Поэту и долголетнему секретарю Шведской академии Э. А. Карфельдту (1864-1931) премия была присуждена посмертно в 1931 г.

Меран, 3.XII.[19]33.

Милый Женя,

вот копия анкеты, поданной мною в франц[узское] консульство в Милане. Бумаги пошли по почте вчера, 2-го XII, и будут поданы во франц[узское] консульство завтра — 4-го декабря — нашим вицеконсулом в Милане, который, по

моей просьбе, наводил справки и кроме того обратится к французам с письмом, прося ускорить отправку дела в Париж и освободить меня от личной явки при подаче анкет, что требуется французскими правилами. Словом: бумаги в пути, прошу тебя побывать у Кремьё и заручиться его поддержкой. Решение я жду по возможности до Рождества, т[ак] к[ак] планы мои таковы: числа 8-го дек[абря] я отправляюсь в Рим; буду в Неаполе; на обратном пути навещу Флоренцию и возм[ожно] — Болонью; к рождественскому кануну вернусь в Меран, где проживу дня три; затем — Милан (виза) и под Новый год в Прж. “Новый год — в Париже”, это мой “лазунг”. От тебя будет зависеть помочь осуществлению сей пятилетки.

От Вовы¹ было письмо, на которое не знаю — что ответить: он просит сообщить кое-какие подробности о моей персоне и собирается “похлопотать”. Я напишу ему, что дело уже на ходу, хорошо?

Без твоего разрешения я указал в анкете местом предпол[агаемого] жительства в Париже — твою квартиру (что тебя ни коим образом не стеснит, полагаю, что жить буду где-нибудь “на воле”), и затем: сов[етский] вице-консул в письме к франц[узскому] консулу укажет, что в Париже ходатайствует об ускорении дела зав[едующий] отд[елом] прессы Мининдел’а Мсье Кремьё — полагаю, что и против сей дипломатии ты не будешь возражать.

Вот и все. Пиши все время на Меран, с которым я буду поддерживать связь.

Твой Конст. Ф.

Людмила Николаевна, милая,

Если мне визу дадут, то в Париже мне придется сделать очередные вдувания (наполнения пневмоторакса). Пospoшайте, пожалуйста, о хорошем спец.-враче! Искренний привет!

ПРИМЕЧАНИЕ:

¹ Владимир Познер. См. прим. 4 к письму от 21 июня 1932 г.

Меран, 23.XII.1933.

Милый Женя,

Вернувшись вчера из двухнедельной поездки по Италии, я нашел твою открыточку от 12.XII. — и больше ничего — по делу о визе! Между тем я непременно хочу встретить

Нов[ый] год в Париже, с вами вместе! Зайди, пожалуйста, еще разок к Мсье Бланшэ — м[ожет] б[ыть] дело уже в шляпе? Я сегодня пишу в Милан. В случае надобности, оплати Мининделе почт[овые] расходы (экспресс), м[ожет] б[ыть] даже — телеграфные, я с тобою рассчитаюсь.

Обнимаю.

Твой К. Ф.

Людмиле Никол[аевне] привет от меня и Д[оры] С[ергеевны].

Меран, 24.XII.[19]33.

Милая Людмила Николаевна,

Сейчас пришла Ваша открыточка. Благодарю, благодарю!

План мой: выехать в Милан 29-го, пробыть там день и приехать в Париж 31-го. В случае перемен или к[акой-] н[ибудь] незадачи, телеграфирую.

Очень рад, что увидимся. И что (вероятно!) встретим Нов[ый] год. Сегодня по случаю сочельника ужин в пансионе с елкой, с пряниками, орехами. Вот так-то.

Ев[гения] Ив[ановича] обнимаю.

Küss' die Hand!

Ihr K. F.

Ленинград, 16.IV.[19]34 г.

Дорогие Людмила Николаевна и Евгений Иванович, — сиречь Женя, — уф! засадил, наконец, за машинку Дору Сергеевну, потому что иначе никогда бы не собрался ответить на Ваше хорошее письмо. Причину тому Вы знаете — не могли же Вы забыть обычных будничных условий работы литератора в Ленинграде. Я уж не говорю о куче писем, которые копятся неделями на столе и с укоризною покашиваются на тебя и утром и вечером, как только сядешь за стол. Но рукописи, но гранки, но верстка, но книги, которые приносят молодые авторы, чтобы старик их просмотрел, и книги, которые приносят старики, чтобы молодой человек оценил их по-молодому, но неисчислимые телефонные звонки и пр[очее] и пр[очее] — еще тысяча всяких “но”. И тем не менее — каюсь, грешен, потому что надо бы было Вам написать в первую очередь после того, как мы с Вами хорошо и сердечно проводили время в Париже. По старой памяти, надеюсь, простите.

О Вас здесь все очень много спрашивали, потому что все очень хорошо и крепко Вас помнят и ждут. Я за Вас наобещал всем, что летом Вы непременно приедете. Действительно — собирайтесь-ка. И приезжайте к нам прямо в Детское — мы туда скоро перебираемся.

Письмо Ваше меня действительно тронуло, потому что я лишний раз убедился, насколько Вы скучаете по Ленинграду и насколько Вы ему принадлежите. Из всех разговоров с Вами я понял, что, несмотря на связи и знакомства, интересы и вкусы, приобретенные Вами в Париже, Вы на девять десятых живете у нас.

Что это опять Женя пишет, что он стал прихварывать и плохо спать? Неужели опять ишиас? Мой ишиас меня беспокоил только изредка и всякий раз не настолько, чтобы я был убежден, что это действительно в ишиасе дело. А так, что-то такое вокруг тех мест, где ишиас бывает — то в бедре, то в пятке, что-то неопределенное. Конечно, с эдаким ишиасом, как у меня, жить не так трудно. Но когда я вспомню, как ползал и хромал Женя, так что даже ажаны¹ движение останавливали, когда он перебирался через дорогу, сердце мое проникается прямо-таки христианским сочувствием.

Работе над романом² мешают те самые мелочи, о которых смотри вначале. Между тем, писать страшно хочется. План остался, более или менее, без перемен, т[о] е[сть] вторая часть будет так, как я задумал раньше и как рассказывал при встрече. Надеюсь, что начну писать пристально, по-настоящему с мая месяца, как только переберемся в Детское и как только (со всей жестокостью) развяжусь с мелочами, мешающими серьезному делу.

Дома у меня, более или менее, попрежнему — Дора Сергеевна круглая и вообще молодцом, Ниночка весной немножко прихварывает, но учится с охотой и пионерствует честно. Я чувствую себя хорошо. Единственно, что раздражает — деловая и неделовая суета. Со старыми знакомыми встречаюсь в общем мало. Заходят часто двое Миш,³ собираюсь на-днях на Бридж к Августе Николаевне, вместе с Радловыми;⁴ в Детском после возвращения не бывал. Кстати, плоховат стал Кузьма Сергеевич,⁵ жалуется.

Из Парижан вспоминал сегодня Рубакина,⁶ дела которого с “Америкой” неважны, пришлось его огорчить. Множество эпизодов парижского моего пребывания рассказывал близким, умиляясь. Написал фельетон о театрах,⁷ в которых вместе с Вами бывал. Напечатается — вышло. Каганский

прислал письмецо, но книжку еще не выпустил. Что-ж сделаешь?

Кланяйтесь всем знакомым. Юрию⁸ сердечный привет. Обещанную книжку я ему послал. Напомните, пожалуйста, ему, что он обещал мне книжку фотографий ночного Парижа. Об этой книжке я тут нарасказал Бог знает что, а показать-то — слабó! Пожалуйста, пишите.

Обнимаю Вас! Будьте здоровы! Ваш

Конст. Федин.

Тон письма получился какой-то напевный — так пишут “родственники”. Это ничего: пусть на Вас слегка пахнет Лебедяню.⁹

[Конст. Федин].

Уж Вы простите меня, дорогая Людмила Николаевна, что долго не отвечаю на Ваше письмо. Мы очень часто с К[онстантином] А[лександровичем] говорим о Вас и хотим, чтобы Вы были с нами в Питере. Я очень рада, что К[онстантин] А[лександрович] дома и что самочувствие его хорошее. Только устает он очень. Нина стала большая, самостоятельная. Ну, еще раз — не сердитесь на меня, милая! Целую Вас крепко. Сердечный привет Е[вгению] И[вановичу].

Ваша Д. Федина.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Полицейские. Фр.: ажан де полис (сокр. ажан).

² «Похищение Европы», вторая книга.

³ Писатели Михаил Михайлович Зощенко (1895-1958) и Слонимский.

⁴ Наверно, художник Николай Эрнестович Радлов (р. 1889) с женой, но может быть его брат Сергей Эрнестович (1892-1958), драматический и оперный режиссер, с женой Анной Дмитриевной, урожд. Дармалатовой (1891-1949) — поэтессой и переводчицей.

⁵ Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939) — живописец, театральный художник и профессор Ленинградской Академии художеств.

⁶ Очевидно, доктор Александр Николаевич Рубакин (р. 1889) — старший сын известного библиофила Н. А. Рубакина (1862-1946). В 1936 г. в переводе А. Н. Рубакина вышел доклад Н. И. Бухарина о современной культуре, прочитанный 3 апреля того же года на собрании французского «Общества по изучению советской культуры». По освобождению в 1943 г. из концлагеря в северной Африке пере-

ехал в Советский Союз, где опубликовал несколько книг, в том числе очерк жизни своего отца: «Рубакин. Лоцман книжного моря» (Москва, 1967).

⁷ «В парижских театрах» («Правда», 6 мая 1934 г.).

⁸ Юрий Павлович Анненков (р. 1889) — театральный художник, живописец, график, писатель.

⁹ Лебедянь — уездный город в быв. Тамбовской губернии, где родился Замятин.

Детское, 21.VI.1934.

Милые Людмила Николаевна и Женя,

хоть и с запозданием, а я давно-давно послал Вам большое письмо, на которое Вы не ответили. Почему? Напишите нам в Детское, Екатерин[инский] дворец. Когда Вы собираетесь? Знаете ли Вы уже, что Женя — член союза Сов[етских] Писателей? Я получил сейчас из Москвы телеграмму о его принятии. Напишите.

Ваш К. Федин.

Целую крепко милую Людмилу Николаевну и жду в Детское. Сердечный привет Е[вгению] И[вановичу].

Д. Федина.

3. ГИППИУС: ДНЕВНИК 1933 Г.

Этот дневник Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945), озаглавлен ею “№ 1. Январь–Май, 1933 г.” История его такова: в 1933 г. в Париже вышел роман “Отечество” Т. Таманина (псевдоним Татьяны Ивановны Манухиной). П. Н. Милюков, редактор газеты “Последние Новости” в Париже, поручил З. Н. Гиппиус написать рецензию на этот роман. Статья Гиппиус “Живая книга: о романе ‘Отечество’”, написанная под одним из псевдонимов Гиппиус, Антон Крайний, появилась в “Последних Новостях” 12-го января 1933 г. (№ 4313). Отмечая целый ряд художественных недостатков в романе, как, например, его — местами — риторический стиль, чрезмерную идеализацию главного героя романа Алеши Полежаева и психологически неубедительный рисунок любви между Алешей и Марьей Федоровной, участницей конспиративной организации в Петербурге, Антон Крайний в целом отозвался о книге Т. Таманина положительно. Форма романа, его идея и общая его религиозная направленность были близки Гиппиус. Похвалила она и отсутствие “большевистских ужасов”, “наказаний и кровопролитий”, характерных для литературы в эмиграции начала 20-х г.г. С особой благосклонностью Антон Крайний отозвался о “нравовучении” романа: новая вера в Бога, приобретенная на пути принятия страдания и тяжести полного одиночества, сохранит русскую единость — национальную святость — в сердцах носителей идеи русского христианства. Поклонница Достоевского и его “русского Христа”, Гиппиус горячо приветствовала “истину”, открывшуюся Алеше Полежаеву, даже за счет художественных недостатков романа с его растянутостью, тяжеловесностью и искусственностью некоторых положений.

В течение всей своей жизни Гиппиус стремилась к созданию религиозной культуры. Как и Достоевский, Гиппиус утверждала, что в человеке происходит вечный поединок с самим собой. Его главная борьба носит возвышенный внутренний характер. Отсюда и критика Гиппиус писателей группы “Знание” и Горького, возглавлявшего эту группу, которые провозглашали необходимость борьбы обществен-

ной, т.-е. борьбы внешней. Искусство для Гиппиус было прежде всего духовным переживанием, возвышением духа, борющегося за создание “живого, трепетного союза” любви и вечности, любви, жизни и смерти. Верная эстетике символизма, она смотрела на поэзию, как на средство проникновения в тайны Мистического Бытия. Исходным положением в ее религиозной философии было убеждение, что человек вечно стремится, и должен стремиться, к Богу во имя достижения личной свободы и любви к жизни в духе проповеди Алеши Карамазова. Поэтому Гиппиус с большим интересом и сочувствием отнеслась к попытке Т. Таманина указать человеку на путь к новому религиозному сознанию.

Роман Т. Таманина вызвал и положительную и отрицательную критику в газетах “русского Парижа”. В своем пост-скрипtum к статье Антона Крайнего Милюков с одобрением писал о стремлении Алеши Полежаева найти и обосновать “новый Иерусалим”. Милюков также заметил, что герой живет и действует независимо от личных устремлений автора. Художественная правда, таким образом, побеждает тенденциозность романа. В статье Крайнего Милюков отметил недостаточность анализа художественных достоинств “Отечества”: очарованный христианской идеей, лежащей в основе произведения, Крайний не обратил внимания на “художественность” романа. Рецензия другого критика, Владислава Ходасевича, отрицала всякое наличие художественных достоинств в “Отечестве”. И поскольку, по мнению Ходасевича, роман лишен художественной ценности, свою критику он направил на отзыв Антона Крайнего. В своих рецензиях “О форме и содержании: по поводу статьи З. Н. Гиппиус ‘Современность’ в девятой книге ‘Чисел’ (А. Крайний)”, появившейся в газете “Возрождение” 15 июня 1933 г. (№ 2935) и “Отечество”: “книги и люди”, напечатанной в “Возрождении” 26 января 1933 г. (№ 2729), Ходасевич подверг резкой критике статью Антона Крайнего за воздержание от более детального анализа формы и художественных приемов в “Отечестве”, а также и за известную предвзятость в интерпретации религиозной и философской мысли романа Т. Таманина. “В основе эстетических воззрений З. Гиппиус лежит отделение формы от содержания”, писал раздраженный критик (“Возрождение”, № 2935), уже не считаясь с раскрытием псевдонима автора. “В ее критических статьях о форме почти не говорится, а если говорится, то вскользь, общими местами и совершенно раздельно от содержания, вне связи с ним... Вот и пускает-

ся она в критику с чрезвычайно маленьким багажом, свободно уместающимся в дамском ридикюльчике старинного фасона. В нем лежит свернутый сантиметр, которым она прежде всего измеряет 'содержание'. Что так или иначе не соответствует мыслям и темам, затверженным ею от учителей, она порицает. Что соответствует — хвалит. Что касается вопросов формы, то тут у нее нет даже сантиметра... Критик, отказывающийся или неумеющий вникнуть в форму, отказывается или не умеет по настоящему прочесть произведение. Для такого прочтения порой приходится ему заниматься и 'словосочетаниями', и 'статистикой', к которым г-жа Гиппиус относится свысока".

Ходасевич не ошибся, указав на отсутствие интереса у Гиппиус к литературоведческой "статистике", на ее нежелание заниматься вопросами формы, композиции, параллелизма, антитезы, метафоры и т. д. Сила критического подхода Зинаиды Гиппиус к художественным произведениям была в ином: — в безошибочной способности — по слову кн. Святополк-Мирского — "зоркости на различие подлинного от производного, и отменного от второстепенного". ("Веяние смерти в предреволюционной литературе", "Версты", 1927, № 2). "Я был бы лично счастлив, как критик, считать себя учеником Антона Крайнего", писал Святополк-Мирский, имея в виду способность Гиппиус "налету" проникать в философское содержание вещи и определять "литературную доминанту" того или иного художественного произведения.

Следует указать, что Татьяна Ивановна Манухина была одним из близких друзей Гиппиус, с которой последняя делилась самыми своими сокровенными мыслями — о религии, о Царстве Третьего Завета, о любви и вере в их единстве и т. д. Познакомились они еще в Петербурге до революции 1917 г. Поскольку Гиппиус разделяла религиозную направленность романа, естественно было и ее желание помочь своему еще неискушенному в ремесле художественной литературы другу, как и ее стремление облечь произведение Т. Таманина в надлежащие "поэтические одежды". Отношения между Гиппиус и Милюковым были натянутыми. В частности, Гиппиус раздражало отношение Милюкова к религии. А отсутствие у него интереса к модернизму служило предметом их частых стычек. Об отношениях между Гиппиус и Ходасевичем красноречиво говорит ее эпиграмма, напечатанная уже после смерти Гиппиус в "Мостах" в 1966 г. (№ 12, стр. 373), в которой поэтесса намекает на приписы-

ваемую Ходасевичу склонность к резкости и бестактности.

О литературной полемике, связанной с появлением ее статей о романе "Отечество" в 1933 г., Гиппиус записала в своем дневнике следующее:

"Главное мое движение ко всякому человеку, с которым чувствую возможность хотя бы близости, — это непереносимое желание ему помочь, что-то дать от себя, что ему годится, из своего имени (а ему, такому, наверное что-нибудь годится, как и мне пригодится из его). Это взаимное "служение именем" всегда бывает, естественно должно быть; почти без мысли и сам берешь, и даешь. Да и само даже оно делается. Притом во всех степенях: при моей вообще активности, я иной раз почти к чужому, если у него есть движение ко мне, готова пойти хоть с полусловом, полусоветом.

Но, тут, с Т. И., уж было тогда совсем ярко: мне казалось *наверно*, что ей необходимо написать эту книгу, начать и кончить, что так надо, и моя помощь в том и будет, что я ей это "надо" — передам. У нее, конечно, и свое "надо" — было; мое только встретилось с ним и помогло ему окончательно осознаться.

За десять лет наших растущих (на мой взгляд) отношений и вырастания романа — я так сроднилась с этой работой (хотя фактически знала ее лишь по отрывкам, в разное время, и притом читанным мне, а не мной, глазами) — что она стала мне казаться чем-то неотъемлемо-входящим в наши отношения. Роман этот и действительно был одной из очень реальных наших связей; и, пожалуй, в конце, почти единственной, так как, чем дальше, тем реальные связи между нами все больше рвались.... От идеализации Т. И. я всегда была далека; я — не то, что судила о ней, а думала о ней ясно; теневые ее стороны были мне видны, все "бреши", порой случайные, порой нет, в ее богатстве. О недостатках этих сейчас не время говорить, да и бесполезно. Кое в чем я, вероятно, ошибалась; кое в чем уверена была, кое-что имела под сомнением. Но вот была моя безоблачная вера: я верила, во-первых, что мы в сокровеннейших глубинах самого главного — согласны (сгармонированы); что этого довольно для меня опять "со-гласного" пути; что все это Т. И. понимает, как я; что все это, и наши отношения (наша любовь) — для Т. И. такая-же драгоценность, как для меня; что никогда, ни при каких обстоятельствах, не может в них войти что-нибудь фальшивое, детонирующее, даже недоразуменное, ибо основа их — *доверие* (в полном значении этого слова).... Таков был мой адамант веры, а о

“служении всем имением” уже и говорить нечего; это было естественно, только бы найти, какое имение сейчас другому нужно.

Поэтому-то, между прочим, и удивила меня “благодарность” Т. И., когда ее роман был кончен и когда я с радостью почувствовала, что могу послужить ему с бесконечным перечитыванием рукописи и корректур. Одно только сердечно кололо меня: я не всем “имением” послужила этому родному, через Т. И., детищу ее: могла бы больше. Оно, детище, и помимо того, что Т[ани]но, было мне внутренне близко, со мной, с моим, “со-гласно”. Имение-же мое, — ну как бы известный *maison de couture*; рада я была бы содействовать наилучшему обряжению этого детища, но мне его не показали, только наспех, в последнюю минуту, уже в готовом платье. Пример не возвышенный, но так оно было.

Книга эта — *замечательная*. Она написана неровно, тяжело, особенно в начале; слов так много, что они съедают друг друга, она душит пухлостью, неловкой неумелостью, упрямством неопытности. И вдруг — места такой силы, и образности, и значения, — что прямо останавливаешься. Вдруг загорается подлинная жизнь. Чувствуешь, что горит она и под неуклюжей ватой слов везде, в других местах; в конце концов, конечно, пусть вата, это внешне; а все же хотелось бы, просто желание, — убрать вату, чтобы свободно заблестели огни. Т. И. это *могла бы* сделать (я верила и сейчас верю), еслиб... много “еслиб”, и одно из них — еслиб, к концу этих десяти лет, не “разлюбила” свою работу, и не только закончила ее, но и не довершила. Какое-то сложное у нее было к ней отношение, не разберешь. Мне оно, во всяком случае, не нравилось. И эти уверения, что “я не писательница”, и что она “не придает значения”, и “вполне сознает”, и что вообще ей “все равно...”

Я не штопальщица, но я двадцать раз порю заштопанную дыру, пока не сделаю в пределе моего умения. Роман написан — и такой важный! — не в пределе умения и сил автора. Вот только этим — передать Т. И. мое убеждение, что ей надо, и она может, *довершить* данное, — вот этим еще я и могла бы послужить, так как вижу недовершение. Но — все равно, хорошо, что книга *есть*; хоть без довершений — да совершена.

Затем (в той же это смутной линии ее отношения к своей книге, а может быть, и еще где-то) — очень меня досадно обидело это впутыванье Ив. Ив-ча [Иван Иванович Манухин, муж Т. И. Манухиной, врач. *Т. П.*]. Именно обидело —

за Т. И. и за роман. Тут не в литературных нравах дело, а просто в бестактности, и двух линий тут быть не может... Я совершенно понимаю, что Ив. Ив., со своей заботой и страстью, — трогателен, но это ничего не меняет. Словом, мне это было неприятно и странно. Пусть дело внешнее, но издание книги — тоже дело внешнее, и надо его сделать благолепно. Именно благолепия то вокруг и не было, а Ив. Ив. несся вперед, совершенно не замечая ни улыбочек над его рвением супружеским,* ни вообще ничего.

Не могу осуждать улыбавшихся, я бы сама улыбалась и насмешничала, будь это вчуже. Но тут я обижалась, раздражалась и досадовала. Поправить дело могла только Т. И. Но она его не поправляла...

Написать об “Алеше” мне очень, конечно, хотелось. Когда зашла об этом речь и о возможности, что Ив. Ив. добьется для меня на это разрешения у Милюкова (на этот исключительный случай) — то я сразу поняла, как мне трудно будет пробраться между разносторонними подводными камнями, из которых один — все-таки мое писательское и человеческое достоинство. Я уж давно стерла почти все слишком острые углы его... Но совсем забыть о нем — трудно. Я знаю, как относится ко мне Милюков (и знаю его). Усилиями “подружившихся” с ним Ман[ухины]х (“на почве страдания”, как говорит один доктор) мне было исторгнуто у Мил[юкова] позволение печатать иногда в П[оследних] Нов[остях] рассказы, — только! Но мне это было важно, для заработка, я на это пошла, отлично зная, что это позволение дается “contre соеш” и что мстительный профессор воспользуется подходящим случаем, чтобы ему мною не надоедали. Он, конечно, мною не занят, но всякое напоминание лишне обо мне... лучше бы не было. В последние годы он (очень искренно, должно быть) стал признавать себя знатоком не одной политики, но и в сферах, дотоле его не касавшихся: литературы, искусства вообще, дел церковных и религиозных и т. д. Очень искренно, полагаю; однако, подсознательно, он, вероятно, чувствует, что я одна из тех, которые отлично видят, как пристала ему эта новая одежда все-спеца и продолжают думать, как и раньше, что в этих новых сферах он просто ничего не понимает. Хотя так думающие безгласны, и голос только у него (чем он и поль-

* Вплоть до Вышеславцева [Борис Петрович Вышеславцев, русский философ религиозно-идеалистического направления. Т. П.].

зуются) — но все же неприятно, что они и молча это думают.

Я его не виню, я только объясняю. Я, ведь, все приняла, съела “contre coeur” — свою нежелательность, и протекцию Манухиных с благодарностью приняла...

Я многое спрятала в карман, из моих “правил”, но не все. Раз такая черта мне поставлена, — я ее соблюдаю, я выполняю и уз своей хитростью, или случаем, не рву. “Случай” с дозволением написать *статью*, и, при этом, “на один единственный раз” с “полной свободой” — я приняла опять, фактически, но воспользоваться “полной свободой на один этот случай” — нет, этого мне что-то не позволяло. Ведь “свобода” моя выразилась бы в утверждении, главным образом, того, что составляет сердце романа и дает ему всю его единственную значительность. Я бы стала говорить не об “идее”, а об “действе” религиозном, о мере и месте искусства, о “современности” романа, о... да и много ли еще о чем, что во всех пунктах было бы отрицанием (внутренним) Милюкова. “По случаю” он бы, пожалуй, напечатал... но стоит ли объяснять, что этого я не могла сделать, и почему?

И я решила *такой* свободой не пользоваться, написать, по всей совести и уменью, только критику, ни к кому не подлаживаясь, а в смысле Милюкова — ограничить себя. Впрочем, насчет “подлада” я и не умею, никогда не выходило. И еще: Мил[юков] романа не понял (в его острие) и особенно растолковывать ему я вовсе не желала. (Ведь он потом и в моей статье не понял, что утверждение “гармоничности” есть высшая художественная похвала! Это даже комично. Ходасевич — тот так понял, что за это всю брань и обрушил... на меня, роман ему был неинтересный). Впрочем, думается, что Милюков тут, полубессознательно, надавил на подвернувшиеся “настроения” Ив[ана] Ив[анови]ча. Особой хитрости для этого не требовалось. Само шло.

Что мое писание “не понравится” Ив. Ив. — я не сомневалась, и очень просто об этом не думала. Ему могли понравиться самые сплошные и грубые превознесения, или что-то такое, на что я вообще была безнадежно-неспособна. Не думала я еще и потому, что во всем была да такой степени с Т., в таком, казалось мне, со-гласном понимании, до последнего слова, что я говорила с ней просто как с самой собой. Говорили мы и о всяких возможных — и вероятных — недоброжелательных отзывах, — она все, как будто, знала и смотрела на это — опять как я.

Подчеркну: никогда еще не выражалась, для меня, так

ясно наша *религиозная близость* (т.-е. нигде я ее большей *выраженности* не чувствовала) как вот тут, в этом романе.

(Опять, м. б., обманность “слов”? Не знаю. Но я бы “свое” этими-же могла бы сказать обо всем, что там сказано).

Статья моя была готова в срок. В нее вошли и записи самой Т. И. Я ее прочла обоим вечером. Ив. Ив-чу, очевидно, не очень понравилось (естественно, что бы ему могло тут быть понятно). Стал возражать против упоминания о растянутости и многословности (легкой, но все-же я не могла этого не сказать). Однако, ничего, и повез ее Милюкову. Что там было — я в сущности не знаю, а по отрывкам мало интересовалась, пребывая в мирной уверенности, что все хорошо, т. к. я сделала свое по совести и силам. Когда статья появилась с послесловием Милюкова, чрезвычайно к существу романа неприятным (т.-е. к самому дорожному “нам”, как я думала) и с обычной его, внешней, *gaffe* (я, мол, не отметила “художественности” романа!) я досадливо пожала плечами и пошла к Т. И. Там меня ожидало что-то вроде первой неожиданности и первого недоумения. Едва я начала разговор в тоне спокойной своей уверенности в нашем общем отношении к послесловию и т. д., как Т. И. сказала: “Мое отношение ты знаешь (ну, конечно, подумала я), однако, Ваня рвет и мечет против тебя. Так что ты лучше с ним не встречайся пока. ‘Все’ (?) говорят, что ты погубила книгу, а спасло ее только послесловие Милюкова”.

Я раскрыла рот, но не знала, с какого конца начать, да и нужно ли реагировать. Кто, во-первых, эти “все”? Определенного ответа не получила, но уже тогда начала соображать, что эти “все” (на них и впоследствии опирались) — не более как хвалительное окружение Милюкова, которых только эти случаи для хвалений и интересуют. Ив. Ив., конечно, лишь “кур во щак”, но посадить его в щи ни малейшего труда и не было.

Затем, в среду днем (12 янв.) Т[анины] им[енины] я была у них. Мы вместе сидели...

В четверг утром я прочла в *Воз[рождении]* статью Ходасевича, как будто о романе Т. И., а в сущности направленную против меня, озлобленную и весьма неприличную, потому уже, что не считаясь с моим псевдонимом, он приписывал ее прямо мне. (Незадолго перед тем он меня же всячески ругал за роман в “Числах”). Роман Т. И. он лишь стирал попутно.

Зная все “за-кулисы”, зная, что весь Ход[асевич] —

“закулиса”, и вообще к таким вещам имел свое отношение, я пожалала плечами и лишь улыбнулась, представив, в какой раж может войти Ив. Ив. против Ходасевича. И сейчас-же забыла об этом, тем более, что у меня сгрудились в эти дни какие-то ужасные неприятности и хлопоты...

Вечером — звонок. Ив. Ив., один, без Тани...

Посмотрел горло Д[митрия] С[ергееви]ча [Мережковского], нашел небольшую красноту. А теперь, говорит, у меня к тебе дело. Мы пошли в гостиную (и Д. С.). Володя [Владимир Ананьевич Злобин, секретарь Мережковских. Т. П.], как всегда вечером, чтобы мне не мешать, занимался в кухне.

Выяснилось, что он (Ив. Ив.) сейчас идет к Милюкову и ему нужно передать — буду ли я *отвечать Ходасевичу*, на его статью об “Отечестве”. Мил[юков] ему, Ив. Ив-чу, звонил по телефону, спрашивая. Я не помню, в передаче Ив. Ив., точных слов Мил[юкова], но, будто-бы, он, как “опытный журналист”, находит, что мне нужно ответить, что нельзя не стать на защиту (чего? романа? моего мнения о нем? себя?) и т. д. Я попыталась, было, без надежды на успех, объяснить, что “защиты” в этих делах не водится, что Мил. в области литер.-журналистской критики отнюдь не “опытен”, и в нее никогда не входил, что мнение о “художественности” или “нехудожественности” хотя бы даже Достоевского, нельзя “доказать”, что молчание, в этих случаях, всего действительнее... Что мне особенно неловко вступаться — как бы за себя, ибо ведь это же против меня все направлено... Кроме того, ведь в “Посл. Нов.” с Милюковым я очень ограничена, но к чему все это было Ив. Ив.? Он без рассуждений вверился М[илюков]у: “Такой добрый человек. Так сердечно отнесся к Танюше”, говорил он мне и раньше, разумея далее, очень ясно: “Не то, что ты”.

Оттого ли, что к Ив. Ив. я уже никакой интуиции не имею, оттого ли, что занята была своими беспокойствами, но никакого особенно-страстного ража я в нем не заметила. Вообще, мне казалось, что он идет к М. без определенных желаний, и хочет знать, к чему я склоняюсь, какая моя позиция. Я даже сказала, что могла бы написать лишь “по поводу”, косвенно, и к Х-чу отнеслась с той “добротой”, которая была бы ему чувствительнее всякой ругани. Но услышав одно слово “доброта” (без остального), И. И. взволновался и стал, напротив, говорить, чтобы я изничтожила “этого мальчишку” последними словами. (Как бы это было практично и умно!)

Но, повторяю, мы говорили сравнительно мирно; так, что даже, в передней, я сказала: “смотри же, завтра попроси Танюшу мне написать или сам зайди сказать, чем у вас с Милюковым кончилось”. Он что-то ответил, не помню, верно и не слышала, это было уже в дверях...

На другой день — ничего. На третий — тоже ничего... Но Т.-то могла мне написать? К концу недели я стала думать, не больна ли она сама, и тут (кстати, Д. С. поправился) я написала ей об этом записочку.

С этого момента, собственно, и начинается тот... не то кошмар, не то обычный “случай жизни”, к которому, однако, я и посейчас не могу отнестись без недоумения, без удивления, без какого-то непонимания и без глупой горечи. Глупой ли?

Как же было?

Насколько помнится, я, не получив ответа на записку, просила позвонить. Мне сказали: Т. И. ответит, а Ив. Ив. — выходит (я слышала, что он нездоров, думала, м. б., это и есть причина молчания).

Перед обедом письмо. Я его прочла до конца, потом опять сначала, думая, что уж не я ли сошла с ума. Вкратце — что я “сама знаю причину ее молчания”, что “между нами неправда” (моя), так что нам не для чего и видаться. (У меня есть это письмо, но не хочу его перечитывать).

Одним словом — нормально понять это было невозможно, для фантастических же предположений границ я никаких не видела: может быть — она вообразила, что я тайно перешла в магометанство, или кто-нибудь сказал ей, что видел меня в [советском] полпредстве, или что я сообщница Горгулова [русский эмигрант, убивший президента Думера в 1932 г. *Т. П.*], или что я нахожусь в тайной связи с Ходасевичем, или его статья инспирирована мною, или... ну, право, что угодно, без границ.

И вот: с тех пор прошло около 4-х месяцев; я изо всех сил моего разума и чувства пыта[юсь] выяснить себе этот “случай”; найти причину, найти “вину”, — я просто рада была бы найти хоть свою вину, определенную и серьезную. Но ничего из наших объяснений, ни сначала письменных, ни потом личных... ничего, говорю я, не выходило... Очевидно, пересматривать надо было что-то в прошлом, до “случая”; там искать мне свою вину. Или что?

Вот кое-что из “понятного”, но тоже требующего раннего пересмотра... Я, в продолжении этого вечера [когда Ив. Ив. был в последний раз у Зинаиды Николаевны], как рас-

сказывает Ив. Ив., отнеслась к истории с ответом Ход-чу и даже к самому роману, с пренебрежительно-холодным равнодушием, так, что меня “все это уже не интересует” и “оставьте меня в покое” (слова Т. И.). Тут я соображаю: в этом состоянии поехав к Мил., — конечно, нашел Ив. Ив. очень питательную для его — состояния — среду. Слишком естественно было со стороны Мил-ва подлить своего масла в этот костер. Вот уж не виню М-ва, — он сделал это... натурально. Соображенья мои подтвердились мельком сказанными Т. Ив-ой словами... “Милюков давно говорил: ‘смотрите, З. Н. вам еще изменит’”.

Прибавлю к этому, что Т. И. еще в личных объяснениях, в письмах, предупреждала, что... ее желание “о романе никогда больше не говорить”. А среди объяснений личных даже сказала, что теперь она чувствует невозможность говорить со мной о чем бы то ни было, что может касаться каких-либо ее работ и писаний.

Очень хорошо. Все это, извне как бы понятное (если представить, что Т. вошла в настроения Ив. Ив. и Мил-а. Заразилась!), мне-то делается не совсем уж таким ясным; в это-же время Т. И. утверждает свое *прежнее* отношение к своему роману и к его истории, т.-е. говорит: что она совершенно равнодушно отнеслась к статье Ход-ча, что вовсе не стремилась, чтобы я на нее отвечала и ее защищала... При этом я этим ее утверждениям — верю. Т.-е. абсолютно верю, что она говорит, как думает.

Однако, допустив, что не “думает”, а что это действительно так, нужно перестать понимать, с любой точки зрения, в чем же была моя-то перед ней и перед романом (или перед чем?) “неправда”, и как именно этот случай заставил ее увидеть мои “темные стороны”? Убедиться, что я “не прежде всего человек, а писательница”?

Если последнее я отрицаю, то уж, конечно, не думала никогда отрицать своих “темных сторон”, да и скрывать их никогда особенно не старалась, особенно перед такими близкими, какой считала Т. Ив-ну. И не думала, что она видит “только светлые”. Но это “темное”, что увидела во мне при данном *случае* Т. И. — остается непостижимым. Вероятно, тут надо отказаться от “понимания” в известном порядке. И от догадок о “точке зрения” Т. И., потому что ее, в обычном смысле, у нее нет. Оттого и “объяснения” наши ни к чему, ибо в объяснениях — слова, а мы их употребляем в разном значении. “Перестроиться” в прошлом — необходимо, потому что “случай” не изменил нас, а только вывел

наружу то, что “там” было; под одним и тем же словом мы разумели (чувственно) разное. Я была убеждена в “со-гласности”, и не только разумом одним убеждена; но я уже говорила, что чистая интуиция у меня слаба, во всяком случае не примат...

Не входя в действительно сложный круг всего “случая”, я ограничусь одной вероятной нитью: Т. И., все равно под влиянием каких и чьих внешних толчков, — не моих только, — интуитивно — невыразимым путем пришла к *ощущению*, что между нами нет той согласности (гармонии), — вернее у нее ко мне нет, — о которой я все время, до конца, продолжала думать (и ощущать), что она есть. Права ли она объективно (если да, то, конечно, и в прошлом был только призрак) или не права, — это уже не интересно и значения не имеет. Если один из двух, для себя, убеждается в “призрачности” того, что “между” двумя, — это “между”, тем самым действительно делается призраком.

Поэтому и я должна принять “*призрачность*”, как данную непреложность, со всеми отсюда последствиями... Признав невыразимость пути Т. в данном “случае”, я принимаю его непонятность для себя, беру его таким, отказываюсь от всяких попыток иного подхода и дальнейших раскаииваний.

Многого, самого глубокого, я здесь не касалась; и у меня есть кое-что несказанное и незаписуемое, хотя бы для себя. И тем менее, если для себя: я, ведь, и так знаю, а это — главное, для памяти, так как все непонятное особенно быстро, во внешних чертах, в фактах, из памяти выскальзывает. Помнить же нужно: кто знает, не увижу ли через несколько времени в этих фактах какой-нибудь своей “вины”, которой сейчас не вижу?

Вот только одна точка в принятой мной непонятности, которую не могу не отметить и уж, так и быть, скажу словами. Пусть и в самом глубоком, в том, что глубже интуиций, в религиозном чувстве или в богоощущении, наша согласованность была призрачной; пусть, говоря “белое”, для одной души оно виделось зеленым, для другой красным. Эта полная разность душ может проявляться в ряде мелких и крупных знаков, в отпечатке их на том или другом. Так вот: *если* слова хоть кое-как, хоть отдаленно, цвет души отражают; *если* в “Алешу” какая-то часть души ее автора попала, — *почему* я не чувствую там душу другого цвета? Тут мне никакие рассуждения не помогают, и не помогут: это остается, это так останется.

И наконец: почему я Т., которую не понимаю, никогда

не пойму ее — в нашем “между”, и которая так же искренно и безнадежно ничего не поймет во мне, — почему я ее все-таки люблю?

Теперь я хочу еще, отвлекшись от себя и всего субъективного... вот что мне пришло в голову: уж и не вправду ли я, прежде всего, литератор? Не оттого ли, инстинктивно, принялась и эту всю тяжелую историю записывать? Я обещала себе — по сознательной совести; по ней и проверила сейчас себя. Нет, я в самом деле записывала только то, что легко забыть: последовательность фактов. В них надо было искать свою вину, или свою неправду, — но я ее не нашла. Найду ли потом — не знаю. Но за то “непонятность”, с которой я воображала борьбу, я приняла, ибо с такими непонятностями бороться тщетно.

Мелочи? О, нет”.

Как следует из дневника Гиппиус 1893-1904 г.г., “Contes d’amour”, она всегда считала процесс писания писем, дневников, мемуаров таким же творческим актом, как и писание стихов. Ее дневник 1933 г. является ценным документом и биографического и историко-литературного значения.

University of Illinois.

Темира Пахмус

1917-Й ГОД*

Первое мая. 1-е мая 1918 г. Я долго его не забуду. Все социалистические организации отказались праздновать его в этом году. Но большевики не сдались: собрали по складам всю красную материю, обтянули все трибуны на площадях, повесили все правительственные здания, понавесили флагов. На домах красуются плакаты: «Долой буржуев, спекулянтов и контр-революционеров!» Затем выдали на каждого «едока» по четверти фунта конфет и по полфунта подсолнечного масла (за деньги, конечно!) и праздник готов. На Ходынском поле, как в старое доброе время, был дан смотр советской гвардии. Троцкий, которого войска прождали около трех часов, обошел красногвардейцев, но вместо традиционной чарки водки, мог пожаловать их только словами. По улицам двигалось шествие, участниками которого были советские служащие и солдаты. Они изображали «народ», тот знакомый нам «народ», который в Париже под окнами Наполеона требовал «наследника», а потом столь же «горячо» приветствовал Луи-Филиппа.

А настоящий народ, живой, подлинный, стоял на тротуарах зрителем, безмолвствовал, и лишь думал: «каких денег стоит этот праздник? Лучше бы нас одели и накормили». Одна из анархических газет отметила казенный характер праздника, и за это была закрыта.

На каждой площади большевики поставили по памятнику борцам за свободу. Памятники эти миниатюрны, сделаны наспех из плохого гипса, и производят жалкое впечатление, как и сам праздник этого Первого Мая. Мне вспоминается манифестация в 1905 году во время похорон социал-демократа Баумана, убитого черносотенцами. Царский режим, хотя и покачнулся в тот момент, но власти зорко следили за настроением народа и были готовы каждую минуту напомнить ему о том, что сила на их стороне. И несмотря на это, толпы, целые толпы

* См. кн. 90, 91 «Н. Ж.»

рабочих и интеллигентов, взявшись за руки по десять человек в ряд, шли за гробом. Эти ряды тянулись без конца. «Шла столетняя толпа», — так отметили все газеты эту манифестацию. Ученики консерватории, образовав оркестр, играли похоронный марш. А теперь? Советские служащие шли по казенному приказу и солдаты «по долгу службы», а военный оркестр наигрывал уличную песню «По улицам ходила большая крокодила...» Повидимому, не явился еще в Совдепии свой Руже-де-Лилль, чтобы воспеть «доблести» коммунистической власти, и потому большевикам пришлось удовлетвориться одной «Крокодилой».

Получила разрешение на свидание, которое должно состояться на первый день Пасхи. Не легко досталось мне это разрешение. Принимал посетителей помощник Дзержинского. Передо мной стояла очередь «просителей». Я была последней.

— Что угодно? — обратился он ко мне безразличным тоном.

Я назвала себя и объяснила причину моего прихода. Чиновник, с которым я разговаривала, вдруг велел закрыть обе половинки дверей, которые были до этого открыты настежь. У двери внезапно выросли два матроса. Все эти превращения случились моментально, с явным желанием произвести впечатление.

— Вы просите свидания с вашим мужем и спрашиваете причину его ареста? — громким и отчетливым голосом произнес он. — Свидания вам не дам. Арестован за то, что он контрреволюционер, — произнес он как-то особенно эффектно последнее слово.

Я спокойно взглянула на него и сказала:

— Революционер, социалист не может быть контрреволюционером.

Советский чиновник ничего не ответил, но, помолчав, сказал уже пониженным голосом:

— Приходите завтра сюда, мой помощник вам выдаст пропуск на свидание.

Скоро Пасха. Григося, как все дети, ждет ее с нетерпением. С большим трудом я запасла два фунта сливочного масла, один фунт варенья и две банки мясных консервов. Все это лежало у меня в чуланчике в передней. Сегодня смотрю — ничего нет. Нет никакого сомнения, что все эти продукты взяли сол-

даты во время обыска. Член Чрезвычайки послал обыскать все углы. Вернувшись с обхода, они заявили, что предосудительно-го ничего не оказалось. Но мои запасы исчезли. Купить снова стоит больших денег. А у меня их мало.

Досадно, что они украли у меня все. Хоть бы что-нибудь оставили. Бедный Григоря останется на Пасху без масла и без варенья. Друзья обещали достать денег. Хорошо, если бы я получила их до праздника.

Сегодняшнее свидание с мужем — кошмар! По случаю праздника Пасхи уголовных привели на свидание одновременно с политическими. Свидание происходило в общей зале за двумя решетками. Виделось человек до тридцати. Когда все начали говорить, поднялся шум, крик. Уголовные ругались со своими родными — что-то не поделили между собою. По соседству с нами мускулистый арестант кричал пришедшей к нему на свидание женщине:

— Так и скажи, я не посмотрю, что я за решеткой! Мы и из-за решетки выйдем, когда нам понадобится...

Голова шла кругом, мне хотелось передать мужу многое, успокоить, сказать, что адреса и явки уничтожены, и большевики не имеют представления об его участии в «нелегальной» организации. Но среди этого шума и гама я ничего не могла вспомнить и не смела ничего сказать.

Наша квартира состоит из трех комнат. Две выходят окнами на двор, третья — на улицу. Между ними — передняя и кухня. Я заперла две смежные комнаты, и мы с сыном живем в одной. Я измучилась в поисках продовольствия. В 1912 году муж тяжело болел туберкулезом. Процесс остановился и болезненное легкое зарубцевалось, но врач предупреждал меня, что при отсутствии нормальных жизненных условий процесс может опять возобновиться. В большевистской тюрьме не кормят, дают лишь кипяток и кусок черного хлеба. Надо доставать продукты для питания арестованного. А что и где можно достать? Нет ни яиц, ни молока, ни масла. Наша пища — конина, кислая капуста, вобла и полугнилой картофель. Порой я не могу уже слышать одного запаха сухой воблы. Ее нужно долго, долго мочить, чтобы она сделалась удобоваримой.

Григося перешел из приготовительного класса в первый без экзаменов. У него очень хорошие отметки. Но я не рада ваканциям. Боюсь, что теперь он не будет занят в школе днем, а будет гулять на дворе, или на улице, а там бесконечные схватки между детьми. Особенно я боюсь его прогулок на улицах и в скверах: раз ребенок чисто одет, он буржуй и его надо бить. Толпа уличных мальчишек набрасывается на детей, как дикая свора, и начинается такая драка, что нет возможности их остановить или разнять.

Агитация в советской печати против интеллигенции действует на родителей, их настроение передается детям, а те свои убеждения применяют на практике. Тяжело видеть этих маленьких «коммунистов», проводящих целые дни на улице. Несчастные дети, продукт «нового» ленинского коммунизма, занимаются спекуляцией. Целые дни проводят у дверей советских чайных, продают по невероятным ценам куски сахара, которые они получают сверх нормы, как дети рабочих. У них есть своя биржа, где они назначают цены продуктам. Они твердо держатся установленной цены. Их биржа — Смоленский рынок, Проточный переулок, Трубная площадь, Сухаревка. На вырученные деньги одни кутят, живут скверной жизнью улицы; другие, более практичные, на выручку от проданного закупают другие товары, — кокаин, табак. Многие из них уже извели все виды разврата. И это в детские годы.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне вспоминается прошлое. Это было лет десять тому назад, в годы нашей эмиграции.

Перед отъездом за границу мы жили в Финляндии, на даче по соседству с Лениными. В один из вечеров мы беседовали по душам, мечтали о свободной России... Мать Ленина сказала: «У Нади нет своих детей. Но когда Россия будет свободна, она народных детей сделает своими». Помнит ли Надежда Константиновна Ленина эти слова?

По злой воле судьбы ее муж стоит во главе правительства и как раз теперь дети народа проходят школу коммунизма, через разврат и преступность.

Тюремная приемная Таганки переполнена родственниками арестованных. Все мы ждем очереди на свидание. Свидание всего пять минут, но ждем долго. Хорошо еще, что приходится ждать в самом помещении. В Бутырской тюрьме ждут на улице.

Родственники и близкие длинной, бесконечной лентой тянутся вдоль тюремной стены.

Арестованы — офицеры, врачи, адвокаты, рабочие, священники, крестьяне... Недавно привезен в тюрьму священник Воскресенский. Он посажен в одну камеру с моим мужем. По отзыву мужа Воскресенский очень умный, интеллигентный человек. Он был вне политики и не принадлежал ни к какой партии. Пользовался большим влиянием и доверием у своих прихожан. Вся его вина заключалась в том, что он произносил проповеди, где ссылался на пророков Ветхого Завета. Большевики усмотрели в этом прямой протест против большевистского режима, и он был арестован. Арестовали с грубым издевательством. Держали сперва в провинциальной тюрьме с неделю, затем, разбудив ночью, велели собраться.

Куда?

— В Москву.

— Как же я поеду в такой холод в легкой одежде? Дайте знать моим домашним, чтобы принесли в тюрьму что-нибудь теплое.

Но большевики поступили по своему и повезли его в легкой одежде. По приезде в Москву, его и еще двух священников, повели пешком через весь город в Таганскую тюрьму. Дорогой, когда их вели, большевистский элемент города глумился над ними и осыпал их насмешками и бранью. Сегодня в приемной я видела его сына. Вид измученный, состояние духа подавленное.

— Что они собираются сделать с отцом? — обращался он ко мне несколько раз с вопросом.

Я утешала его, как могла. Но он только отрицательно качал головой. Верно, его память уже хранила имена священников, расстрелянных большевиками.

Его позвали на свидание. Через пять минут, выходя, он сказал мне:

— Суд над отцом назначен в июле.

Я ничего не успела спросить: меня вызвали на свидание. Я получила свидание без решетки, хотя я имела те же пять минут, но они показались длиннее и милее.

Муж рассказал, что отношение начальства тюрьмы к нему очень корректное. Ему разрешили заниматься в библиотеке. Он

занят сейчас разборкой архива, а потом собирается написать по собранным материалам книгу.

— Да! К нам привели знаменитого епископа Варнаву. Проходя мимо его камеры, я заглянул в «волчок». Он показался мне таким несчастным и таким нездешним в своей длинной монашеской одежде с клобуком на голове. Я узнал, что он с утра сидит без пищи, и послал ему яиц и хлеба. На другой день, когда ему принесли передачу, он ответил мне тем же, послав вдобавок мне два красных тюльпана. Они стоят у меня в камере на окне.

Все чаще и чаще стали появляться в газетах сообщения, что Г. В. Плеханов чувствует себя плохо, почти умирает. Он не может до сих пор оправиться от ужасной ночи, пережитой им в октябрьские дни, когда к нему, к больному, ворвались красногвардейцы и потребовали «выдать оружие», якобы спрятанное у него.

К родоначальнику русского социализма, отдавшему всю свою жизнь на борьбу за освобождение рабочих, послали грубых, темных солдат, которые в течение одной ночи обыскивали его три раза.

Его тонкая натура не выдержала этой грубости, у него открылось кровохарканье. Он умирает; он, который первый сказал: «Если в России революция победит, то победит как рабочая революция». Он, который верил в будущее возрождение России, и сейчас же после революции поехал на свою любимую родину, поехал не через Германию, не с разрешения немецкого штаба, а через германские мины, где накануне только погиб с.-р. Карпович. Плеханов спасся от мин, но не спасся от грубой, некультурной силы, которую разбудил Ленин в русском народе и которую хотел «просветить» Плеханов. Плеханов умирает.

Плеханов умер. Умер не у себя в России, а в Финляндии, в санатории. Это известие я принесла мужу на свидание. У него стояли слезы в глазах.

— Никогда больше не услышу его, но в память его буду бороться с большевиками до конца, в его памяти буду черпать мужество!

На заседании Московского Комитета «Единство» постановлено выпустить возможно больше листов по поводу смерти

Г. В. Плеханова. Комитет организует ряд «гражданских панихид» в различных районах Москвы. На собрании Комитета нам сообщили, что извещения о «гражданских панихидах» срываются на улицах неизвестно кем.

Решили передать расклейку извещений рабочим типографии Левинсон и кроме того, мы, члены Комитета, поделили районы, где будем собственноручно приклеивать листки с извещением о кончине Г. В. Плеханова.

Сегодня я целый день без усталости бродила по моему району и наклеивала воззвания. Только уже около восьми часов вечера пошла домой вымыть руки, чтобы идти на «гражданскую панихиду».

Огромная аудитория на Девичьем поле была полна, когда я вошла туда. На стене висел большой портрет Г. В. Плеханова, перевязанный черным крепом. Я села на свободное место в первом ряду. Слово взял т. Бородулин. Он всегда умел говорить как-то особенно задумчиво, просто, а сегодня его слова звучали, как рыдания. Я чувствовала, что мое лицо было мокро от слез, но не было силы двинуться, вынуть платок, чтобы утереть эти слезы. Говорят «мертвым не стыдно», вот и я словно умерла, мне не было стыдно, ни моей ослабленной воли, ни моего распухшего лица. Это чувствовали и переживали все мы, плехановцы, пришедшие на эту панихиду. С Плехановым мы хоронили многое...

Плеханова хоронили 9-го июня в Петрограде, на Волковом кладбище, возле могил Белинского и Добролюбова.

Бородулин дал мне газету «Новая Жизнь» от 11-го июня, где был помещен отчет о похоронах Г. В. Плеханова. Когда я читала этот отчет, мне вспомнились похороны Бебеля: комитеты, союзы, группы, кружки, официальные представители пролетариата прислали прощальный привет, венки, букеты, цветы. На одной из лент было изречение Гёте: «Но ведь он был наш! Пусть звучит это гордое слово громче, чем громкий голос скорби!» Но советская власть издала приказ, чтобы петроградские рабочие не участвовали в похоронной процессии Плеханова. «Но ведь он был наш»... И сознательная часть рабочих не послушалась этого приказа и многочисленные политические, профессиональные, научные, студенческие и др. организации и множество социалистической и демократической интеллигенции

Петрограда, а также целый ряд общественных, литературных и кооперативных учреждений приняли участие в похоронах, — сообщает «Новая Жизнь».

«В 12 часов гроб на руках друзей был вынесен из помещения Вольно-экономического общества под звуки «Коль славен», исполненного матросским оркестром быв. яхты «Штандарт». Депутаций и венков было бесконечно много. Обращал внимание венков от монархиста В. М. Пуришкевича — «Политическому врагу, великому русскому патриоту Георгию Валентиновичу Плеханову...»

В 2 часа 15 минут траурный кортеж остановился на Казанской площади, усеянной сплошной массой народа. Оркестр играл похоронный марш Шопена. Небольшую речь с балкона произнес рабочий Берг от имени Собрания Уполномоченных фабрик и заводов.

К 5-ти часам вечера процессия подошла к Волкову кладбищу. Мостки, где была приготовлена могила для Плеханова, находились около могилы Белинского. Гроб поставлен у края могилы. Мимо него проходят бесконечные делегации с венками и знаменами. Прощальное слово первым произносит ближайший друг Георгия Валентиновича — Л. Дейч.

‘У Христа был только Иуда, — говорит Дейч, — среди учеников Плеханова их было много... История покажет, кто был прав. Плеханов ли, который четыре года назад заявил о необходимости защиты России или те, кто его за это называли чуть ли не изменником...’, — говорил взволнованный до слез Л. Дейч».

Газета приводит целый ряд речей: председателя совета уполномоченных фабрик и заводов, председателя общества «Культуры и Свободы», рабочего Путиловского завода. Рабочий Смирнов сказал: «Смерть этого большого человека давит мысль и чувства. Мы зарываем его в могилу в дни национального бедствия, когда страна управляется расстрелами, когда земля поливается кровью рабочих, когда у нас нет правосудия и задушено свободное печатное слово. Мы хороним Плеханова в этот ужасный момент, а русское общество хранит упорное молчание. Где те, кто так же умел бороться, как наш покойный учитель? Лед равнодушия должен тронуться или окончательная гибель неминуема».

От имени газеты «Искра» говорил один из редакторов —

А. Н. Потресов. С большим волнением он говорил: «Плеханов был нашей национальной честью, национальной гордостью, но он же стал нашей величайшей национальной жертвой».

Под пение Вечной Памяти гроб Г. В. Плеханова медленно опускают в могилу».

Дело моего мужа числится за Московским революционным трибуналом. Его ни разу не допрашивали и не предъявляли никаких обвинений. Тюрьма набита битком. В камеру к мужу поселили еще одного, хотя камера «одиночная». Между заключенными в тюрьме есть 14 и 15-летние гимназисты. Для большевиков и они опасные контр-революционеры.

В тюрьму привезли капитана Щастного. Он спас Балтийский миноносный флот от немцев, вопреки желанию Троцкого. За это попал в тюрьму. Щастного будет судить вновь созданное судебное учреждение: Верховный Трибунал, которому будут передавать людей, обвиняющихся в государственных преступлениях. Дело Щастного идет первым.

Сегодня я была в Московском Трибунале, чтобы узнать, в каком положении дело моего мужа. К моему удивлению, дело передано в Верховный Трибунал.

— Почему оно туда попало? Ведь не было ни одного допроса, из которого вы могли бы убедиться, что дело нужно перевести в Верховный Трибунал?

В ответ чиновники только пожимают плечами.

Спускаясь по лестнице, я задержалась на второй площадке из-за наплыва публики. Всматриваясь в лица посетителей и служащих, я увидела вдруг рабочего Алексея, с которым я работала в 1905-1906 году в Замоскворецком и Городском районах партии. В 1910 году мы с ним встретились в Москве, на вечеринке в одной из народных читален на Грузинской улице, и в эту встречу он упорно проповедывал отказ от политической борьбы, ссылаясь на «бессилие рабочих». На площадке лестницы трибунала он был без шапки, с папкой под мышкой.

— Катерина Ивановна! — воскликнул он как-то растерянно и протянул мне руку.

— Ответьте мне раньше, вы здесь служите?

— Да, я работаю в архиве.

— Слушайте, Алексей! Вы, который меня знаете давно по

работе, неужели вы по совести меня можете считать контр-революционеркой?

— Что вы! Катерина Ивановна!

— Но ваше учреждение, где вы работаете, обвиняет моего мужа, значит и меня, в контр-революционности. Могу ли я вам после этого подать руку? Нет, не могу! Не сердитесь!

Я повернулась и пошла.

Мой муж объявил голодовку.

Ко мне приехала представительница Политического Красного Креста и сообщила об этом. Просила меня немедленно ехать в тюрьму и «отговорить» мужа от этого «безумного поступка». Было воскресенье, трамваи не ходили, и я пошла пешком. С Никитской до Таганки путь не близкий. Мне казалось, что я никогда не дойду. В тюрьме я была в 6 часов вечера. Начальник тюрьмы, вежливый поляк, несмотря на поздний час, разрешил мне свидание. Мой муж вышел ко мне очень бледный и вместо обычных приветственных слов, начал так:

— Я согласен на свидание, если ты не будешь меня уговаривать отказаться от голодовки.

Я молчала.

— Что Григося? Здоров?

Я ответила. Мы сказали еще два-три слова, затем муж обратился к дежурному:

— Свидание кончено! Проводите меня обратно в камеру.

Я видела, что сейчас всякая моя попытка воздействовать на мужа бесполезна. Я бросилась к адвокатам, к товарищам по организации, прося совета, что делать.

Муж продолжал голодовку. Московский Комитет «Единства» вынес постановление просить Алексинского ради интересов организации и общего дела, прекратить голодовку. Комитет отправил к нему двух товарищей, чтобы довести это постановление до его сведения. Это был уже шестой день голодовки.

В тюрьме мне сообщили, что пульс у него заметно слабеет, лежит он неподвижно, почти без сознания. Я поехала в Следственную Комиссию Верховного Трибунала требовать освобождения мужа. Мне удалось увидеть генерального прокурора Крыленко (партийная кличка — товарищ Абрам) и его помощницу Розмирович. Я сообщила им, в каком состоянии находится мой муж.

Человек почти при смерти. Ведь не к смертной же казни вы его приговорить собираетесь!

Оставьте нам письменное заявление, — сказала Розмирович.

Но ведь мне дорог каждый час!

Укажите в заявлении мотив вашей просьбы и зайдите за ответом через час, — ответила она.

Я написала. Ответ дадут через час. Этот час я бродила по улицам, не имея сил вернуться домой, ни говорить с товарищами. Через час была снова в Комиссии.

— В освобождении вашего мужа отказано. Но принимая во внимание его тяжелое состояние, вам дано право перевезти его в частную лечебницу, где он будет содержаться под караулом. Вы, как фельдшерица, можете за ним ухаживать, его друзья могут его навещать. Перевозить разрешаем только в нашем автомобиле. Вы имеете в виду какую-нибудь лечебницу? Нет. Так мы вам посоветуем лечебницу, где лежал уже раз один наш подследственный и остался очень доволен. Если вы согласны, то вот бумаги о переводе.

— Я буду у вас через полчаса. Я должна посоветоваться с товарищами.

Бюро нашей организации находилось недалеко от Комиссии. Я буквально бежала туда. В этот момент там происходило заседание Комитета. Я попросила прервать заседание, изложила положение дела и просила товарищей высказать свое мнение. Все единогласно согласились, что в таком состоянии, в каком находится сейчас мой муж, лучше всего согласиться на перевод его в лечебницу. Со мной пошли три члена Комитета. В Комиссии я спросила г-жу Розмирович, долго ли будет находиться мой муж в лечебнице.

Пока не поправится.

— А потом, вы освободите его?...

— Весьма вероятно! Сейчас вам отказано в освобождении, потому что он так слаб, что мы не можем отдать его вам в таком виде. Когда же поправится, то дело другое, тогда мы и поговорим об освобождении.

Мне дали бумаги о переводе и разрешение товарищам сопровождать в тюрьму. В автомобиль с нами сели двое конвойных в штатском. По приезде в тюрьму начальник заявил мне,

что мой муж не хочет ни с кем видаться и ни с кем вступать в разговор.

— Но вас я все-таки проведу к нему в камеру.

Мы пошли по коридору. Сердце мое билось: как он чувствует себя? — хотелось мне спросить, но я боялась услышать плохой ответ. Начальник постучал в дверь. Загремел замок, дверь открылась, мы вошли в коридор одиночных камер. Посреди был пролет, а направо и налево узенькие балконы с перилами; на эти балконы выходило бесконечное количество дверей. Мы остановились около одной из первых.

— Отворите! — сказал начальник тюрьмы.

Опять загремел замок, зашумел засов и мы вошли в камеру.

У меня захватило дух. На койке, на грязном белье, смертельно бледный, осунувшийся, лежал мой муж. Взгляд его был безразличный, я бы сказала — остановившийся.

— Милый мой, хороший, — я стала на колени и целовала его холодные, влажные руки. — Милый, перестань голодать, поедem в частную лечебницу! Там я с тобой буду и всех друзей сможешь видеть! Поедем, прошу тебя!

— Я требую освобождения, и никуда отсюда не поеду, пока этого не добьюсь.

— Милый, освобождение придет! Ведь сразу нельзя. Уверяю, что придет! Клянусь тебе! Тебя товарищи ждут в приемной, и автомобиль тоже ждет!

— Товарищи? Зачем?

— Они привезли постановление Московского Комитета «Единство», чтобы ты прекратил голодовку, так как твоя жизнь нужна России.

— Таня, я поеду, если меня ждет освобождение. Но помни, что убийство Шингарева и Кокошкина совершилось в такой же обстановке. Если ехать на смерть, то я предпочитаю умереть здесь. Этот переезд считаю ловушкой.

В этот момент, глядя на ослабевшего мужа, и чувствуя, как исчезает его пульс под моими пальцами, я думала лишь об одном: надо как можно скорее прервать эту голодовку и сохранить его жизнь. Потому я ответила твердо:

— Не бойся, этого не будет.

Пришел фельдшер, впрыснул ему камфору, помог ему одеться. Взяв его под руку, мы повели его в кабинет начальника

тюрьмы, где ожидали его товарищи. Они обняли его, посадили в кресло и один из них начал читать постановление Комитета. Но дочитать до конца не успели, потому что я видела, что муж от слабости почти теряет сознание.

— Не надо читать! Дайте мне бумагу, я прочту ему после, — сказала я.

Мы усадили его в автомобиль. Тюремные сторожа и администрация вышли провожать.

— Кто эти два? — прошептал мой муж, указывая на двух конвойных в штатском.

— Они для охраны даны, — успокаивала я.

В лечебнице мужа положили в отдельную комнату. К нему сейчас же позвали доктора, а меня вызвали в приемную. Там сидели начальница лечебницы, офицер и 12 солдат.

— Вы жена Алексинского? — спросил меня офицер.

Я утвердительно кивнула головой.

— Посидите здесь несколько минут. А вы, — обратился он к солдатам, — встаньте так, как я сказал.

Солдаты вышли.

— Вашим друзьям, с которыми вы приехали, я сказал, чтоб они уходили. Без пропуска их не пропустят. Вы тоже можете идти. Дольше вам оставаться запрещено.

У меня потемнело в глазах, все поплыло передо мной: солдат, офицер, смена...

— Как! Уйти от больного мужа? Мне же разрешили оставаться с ним!

— А где разрешение?

Разрешение? Вместо ответа, я лишилась чувств и упала на пол. Помню лишь, как моя голова ударилась об пол. Я пришла в себя в саду, где доктор успокаивал меня. Сказал, что сегодня мне разрешили ночевать без разрешения, а завтра я должна оформить свое пребывание здесь.

— А теперь идите к вашему мужу, он несколько раз справлялся о вас. Его уже покормили.

Когда я вошла к нему в комнату, он укоризненно покачал головой.

— Ты ушла так надолго! Я уже думал, что ты не вернешься. Тут всё входили солдаты. Таня, ты обманула меня. Это не освобождение — это ловушка!

Я молчала, подавленная. На улице стемнело. Зажгли фо-

нари. По тротуару шагала фигура часового с ружьем. На душе становилось все тоскливее. Зачем я привезла его сюда? Здесь мы во власти 12-ти солдат. В тюрьме было покойнее, а тут... полный произвол и зависимость от 12-ти солдат.

Муж задремал от слабости и усталости. Я пошла спросить ключ от комнаты.

— Перед вашим приездом красногвардейский офицер вынул все ключи.

Ночью входили к нам солдаты. Я сидела и наблюдала за мужем. Начались мои бессонные ночи.

Потянулись однообразные дни. Разрешение на пребывание в лечебнице мне выдали, но об освобождении не было и речи. Муж все время лежал от слабости в постели. Обычная его температура была 35°-35,5°. В лечебнице питание было плохое и нужно было искать провизию на стороне. Большевики новым декретом разбили всех граждан на категории. Всех категорий четыре. В зависимости от категории граждане получают то или иное количество продуктов и жизненных возможностей.

К первой категории относятся граждане, работающие в ответственных советских учреждениях и также беременные и кормящие грудью женщины; ко второй — все советские служащие, рабочие и дети; к третьей — служащие не в советских учреждениях и домашние хозяйки; к четвертой — лица без определенных профессий. Четвертая категория лишала права иметь квартиру и пользоваться электрическим освещением. В четвертую категорию сейчас же переводились лица, имеющие прислугу, т.-е. «буржуи». За выполнением всех этих правил должен следить председатель домового комитета. Первая категория получала в день 1 фунт черного хлеба, вторая — 3/4 фунта, третья — 1/2 фунта, четвертая — 1/4 фунта. То же соотношение было и в других продуктах.

Я попала в третью категорию. Продукты по этой категории выдаются в незначительном количестве, их не хватает мне одной, и нечего и думать делить их с мужем. Я начала путешествовать по вокзалам в поисках хлеба, масла и сахара. По целым часам я простаиваю у вокзала, ожидая приезда крестьян с мешками.

На крестьян набрасывается масса народа. Хлеб, масло,

сало вырывают друг у друга. Интеллигентную публику осыпают насмешками:

— Ну, пришла четвертая категория! Идите, буржуи, домой!

Лечебница, где лежит мой муж, помещается на Девичьем поле. Купив кусок хлеба или масла, я бегу к мужу, где во время моего отсутствия меня заменяет мой сын. Каждый раз, когда я иду назад в лечебницу, я думаю:

— Что с мужем?

В советских газетах все чаще появляются статьи против моего мужа. Эти статьи читают конвойные. Будет вполне естественно, если у них возникнет вопрос: «Зачем мы его стережем? Не лучше ли просто убрать его?» Если случится так, то я буду чувствовать виноватой только себя: зачем перевезла его из тюрьмы?!

Зашла к Кропоткиным. Они живут неподалеку от меня в небольшом особняке на Никитском бульваре. П. А. Кропоткин нездоров, ослабел, лежит. Ему для восстановления сил прописан портвейн. Прописали... но не дали. У меня сохранилась начатая бутылка портвейна для мужа. Я быстро пошла домой и вернулась с вином к Кропоткиным. П. А. был, повидимому, очень тронут моим вниманием. Он поставил бутылку портвейна около себя на столике, пожал мне обе руки и сказал, улыбаясь:

— Возвращаете меня к жизни... Сколько мне еще надо написать, работать!... Но я слабею с каждым днем. Большевики предложили мне работать с ними, но я отказался... Не могу с ними...

Он, обессиленный, откинулся на подушку. Его жена сделала мне знак, что нужно уходить.

— А как Григорий Алексеевич? Передайте ему мой привет и выражение моей искренней симпатии и сочувствия. Я люблю его за его прямоту и смелость!

Грустная вышла я от Кропоткиных. Кропоткин слабеет. Смерть его уже караулит... Плеханова уже нет. Уходят те, которые так верили в будущее возрождение России. И оба, и Плеханов, и Кропоткин одинаково считали, что совместная работа с большевиками для них немыслима.

«Капитан Щастный приговорен к смертной казни и приго-

вор этой ночью приведен в исполнение», — прочли мы в газетах. Человек спас флот от захвата врагами и за это убит. Терновый венец вместо лаврового. Такова участь, которую большевицкая революция уготовила русским патриотам!

По ночам моего мужа начали мучить кошмары. Он видит Щастного, идущего по коридору тюрьмы на казнь. Солдат, входящих по ночам к нам в комнату, он принимает за конвой Щастного.

— Опомнитесь! Что вы делаете? Кого уводите? Русского патриота! — стонал он.

Я измучилась, глядя на него. Чувствовала, что у меня нет больше сил ни физических, ни душевных. В одну из таких ночей муж приподнялся в кровати, подозвал меня и сказал:

— Бери бумагу и карандаш! Пиши от моего имени телеграмму Ленину, пусть вместо Щастного расстреляют меня!

Я написала телеграмму.

Иди на телеграф!

Милый, сейчас ночь! Телеграф закрыт. Я пойду рано утром.

Иди сейчас!

Я дала ему порошок морфия, и всячески успокаивала его. К утру он заснул.

Так нельзя дальше жить. Необходим побег. Я пошла к Д., который меня давно убеждал решиться на это. Он одобрил мое решение. Я получила адреса и связи.

Вернувшись в лечебницу, я твердо решила убеждать моего мужа, что сидеть у большевиков в плену сейчас беспредельно.

— Ты права. Я не могу больше продолжать жить так, — сказал он мне.

— У нас есть выход — это побег.

— Побег? Никогда не соглашусь. Потом они станут говорить, что я клеветник и трус, ибо бежал от суда. Нет, я не согласен. Я уже сдался раз, когда Р. М. Плеханова через тебя просила меня прекратить издание моих «Без Лишних Слов», где я обвинял Ленина в измене и получении денег от германского правительства. Тогда я остановился на полпути. Я сделал это, не желая помешать Плеханову войти в правительство. Теперь все мое дело в Верховном Трибунале основано на моих разоблачениях о Ленине. Пусть меня судят скорей.

Но я твердо решила, что побег необходим. Я привезла его в эту лечебницу, и я должна его отсюда вывезти во что бы то ни стало! Не считаясь с ответом мужа, я начала действовать. Был выработан план, намечены были люди. Оставалось лишь приступить к подготовке. Но в газетах стали появляться известия с Украины, все тревожнее и тревожнее: немецкие отряды, поставив у власти Скоропадского, расправляются с крестьянами. Эсэровская газета пишет так: «Нет крестьянина, у которого не была бы выпорота спина!» Но несмотря на это, большевики продолжают заискивать перед германским послом графом Мирбахом до холопства. Левые эс-эры в лице Марии Спиридоновой резко обрушиваются за это на большевиков.

На Всероссийском Съезде Советов Мария Спиридонова, которая сперва так восторженно приветствовала большевистский переворот, называя его преддверием рая земного (за это получила прозвище Евы) — в своей речи обличает реакционную политику большевиков: «Если так будет продолжаться, то она, как в годы самодержавия, опять возьмет в свои руки бомбу!» В ответ на эти слова на съезде со стороны большевиков раздались крики негодования.

Через несколько дней, 6 июля, был убит граф Мирбах. Его убийца — левый эс-эр Яков Блюмкин. Левые эс-эры подняли восстание против большевиков. Настали жуткие дни. Жизнь Москвы как бы замерла. Никто не покидал своих домов. Восстание эс-эров успеха не имело; они были одни, не пожелав воспользоваться ничьей помощью, и потому их выступление было скоро подавлено.

Эти события отодвинули проект побега моего мужа.

Преемником Корнилова называют адмирала Колчака. Мой муж мне рассказывал о нем в прошлом году, когда вернулся из Севастополя. Сами матросы отзываются о Колчаке, как о человеке редкого мужества и благородства. Все эти рыцарские качества прежде были так тесно связаны с званием революционера, а теперь? Чернов трусливо бросает свой пост председателя Учредительного Собрания, а о Керенском и говорить не хочется...

Как мало рыцарского в их поведении. Наши национальные герои этой эпохи видно придут из другого лагеря.

Газеты сообщают об убийстве царской семьи... Будто бы убийство произошло в ночь на среду, 4 июля. Убиты все, все и дети! Бедные, бедные дети! Даже и их не пощадили! Кто убивал их и при каких обстоятельствах — ничего нельзя узнать. Но народная молва говорит, что царь отказался подписать Брест-Литовский мир с немцами. Где правда? Может быть, когда-нибудь история откроет нам истину. Бедная царская семья!

Здоровье моего мужа ухудшилось. Я попросила врачей при Комиссариате Здравоохранения его освидетельствовать. Приехали два большевицких столпа: Семашко и Обух. Освидетельствовав моего мужа, они не могли не признать, что у него возобновился легочный процесс. Они признали также, что для лечения необходимо прежде всего освобождение.

На основании этого заключения я собралась идти в Комиссию Верховного Трибунала к следователю Кингиссеру, которому поручено дело моего мужа. Он эстонец и, по мнению мужа, немецкий агент. Но покушение Фанни Каплан на Ленина опять задержало ход дела моего мужа. Я послала письменное заявление. Ответа не было. Состояние здоровья Ленина после покушения было тяжелое и большевики потеряли голову. Адвокаты мне советовали пока не напоминать о себе, потому что под горячую руку они могут предпринять против моего мужа что-нибудь не совсем приятное.

Интеллигентов — в том числе и врачей — травили, создали для них различные ограничения в правах, но когда Ленина ранили, сейчас же были вызваны лучшие хирурги и терапевты, далеко не коммунистических воззрений, а обыкновенные «буржуи», но светила науки, к которым врачи-коммунисты прислушивались с почтением.

Следственная комиссия прислала ответ на мое заявление:

«Принимая во внимание тяжелое состояние здоровья подсудимого Г. А. Алексинского, Следственная Комиссия Верховного Трибунала предлагает перевезти его в одну из лечебниц в окрестностях Москвы, под наблюдением местного Совета рабочих депутатов».

Что такое местный Совдеп? Это часто всякий сброд. Я, конечно, отказалась от предложения Следственной Комиссии.

От недостатка питания или, вернее, от систематического недоедания, от бесконечных волнений, я заболела цынгой. Я так истощена, что тело покрывается синяками, десна кровоточат, зубы шатаются.

Вчера, стоя в очереди на Арбате, у магазина Грачева за колбасой, я почувствовала себя плохо. Но я должна была получить 3/4 фунта колбасы и потому продолжала стоять. Простояв еще не более получаса, я почувствовала, что вся покрылась потом и медленно опустилась на тротуар.

Сейчас же раздались крики:

— Зовите скорее милицейского! Не видите, человек умирает!

Затем, помню, что кто-то спросил: куда отвезти?

Я пришла в себя и попросила отвезти меня в лечебницу. Я пролежала целый день. Сегодня мне лучше. Как легко умереть! Нужно торопиться с побегом.

Была опять на явке нелегальной организации, видела лиц причастных к организации побега мужа. Из соседней комнаты вышла молодая дама. На лице ее были написаны нечеловеческие страдания. Я только в скульптуре видела изображение таких мук. Двигалась она, как автомат.

— Кто эта дама? — спросила я, когда она ушла.

— Жена офицера. Ее муж третьего дня был арестован, этой ночью расстрелян. Она знает, где он зарыт и просит его выкопать и похоронить. Мы обещали ей помочь.

Горе! Всюду горе! Чужое горе, вернее наше общее, только поддерживает во мне мужество.

Мы уговорились, где встретиться и когда. Мне сообщили «пароль». После этого я поехала к родителям за сыном и отвезла его к дальним родственникам на дачу, прося приютить его, пока я улажу дела мужа.

Мне не везет с моим планом. Возникли новые препятствия: объявлена общая регистрация бывших офицеров. Происходила она при такой обстановке: офицеры с документами являлись в назначенные для регистрации казармы, но оттуда не возвращались. Это известие быстро облетело Москву. К казармам бросились матери, жены, дети, сестры, отцы. Вход в казармы им преградили солдаты-китайцы, ни слова не понимаю-

шие по-русски. Приближалась ночь, но призванные офицеры все еще не выходили из казарм. Родственники не расходились. К воротам подъехали два автомобиля. Через несколько минут из ворот казарм выходит десяток офицеров, садятся в поданные автомобили и уезжают.

Кто-то крикнул:

— Это коммунисты!

Толпа начала кричать им вслед:

— Опричники, палачи! Долой!

Кто-то отдал приказ китайцам, и те без предупреждения дали по толпе залп, другой, третий.

С криками и проклятиями толпа рассеялась. Назначили друг другу встретиться здесь же на утро. На утро толпа была вдвое больше.

Что хотели сделать с офицерами, точно неизвестно. Говорили, что хотели сделать опрос офицеров: кто желает добровольно итти на службу в армию к большевикам? Будто бы несогласных предполагали сначала отправить в концентрационные лагеря, как контр-революционеров. За точность не ручаюсь, но знаю, что обеспокоенные протестом и вмешательством родных, большевики решили освободить офицеров группами. Я видела офицеров, которым пришлось пробыть там два дня. Оба дня они пробыли без пищи, ночью лежали на грязной земле казарменного двора. Каждый заданный им вопрос сопровождался невероятной бранью конвойных солдат. За что все это? За то, что эти офицеры исполняли свой долг во время войны?

Регистрация, результаты которой трудно было предвидеть, заставила многих офицеров скрыться из Москвы. Среди скрывшихся были главные организаторы побега моего мужа. Но я все-таки не теряла надежду. Больше всего мне хотелось убедить мужа, чтобы он согласился бежать. Его здоровье оставалось плохим. Он не вставал еще с постели и, лежа, работал над выписками из архива Таганской тюрьмы.

Я подсела к нему на постель и шопотом стала рассказывать о благополучных хлопотах об освобождении и говорить о медлительности, с которой движается его дело. Я уверяла, что большевики не доведут дело до суда, им это не выгодно. Они предпочитают вечно держать его под замком.

И ты превратишься в того человека в железной маске, о котором писал Вольтер, — сказала я.

Муж слушал меня молча. Тогда я стала убеждать его, что побег это единственный выход из тупика, в который мы попали.

Я убеждала долго и подробно. Муж слушал меня. Не спорил, не возражал. Сказал лишь два слова:

— Хорошо! Согласен!

И снова принялся за рукописи, как будто ничто не должно было измениться в его положении.

Мне нужно было часто уходить по делам, но, как нарочно, все время сменялся конвой, и к моему мужу посылали людей грубых, врывавшихся ночью в его комнату и нарочно беспокоивших его.

— Иди, не бойся, — говорил муж.

Я уходила.

Все подготовлено. Назначены патрули, спутники, сигнальщик и ответственный организатор побега. Мне объяснили сигналы, дали адреса, где мы будем скрываться. Накануне побега ко мне зайдут на мою городскую квартиру за бельем, которое переправят на конспиративную квартиру для передачи нам.

Ночи были темные, и организаторы были уверены в удаче.

В назначенный день я была на своей городской квартире. Жду час, другой, третий... Никого. Стемнело. Никто не пришел. Что случилось? Все погибло! Я едва дошла до лечебницы.

— Не удалось? — спросил меня муж, увидя мое расстроенное лицо.

— Никто не пришел!

Новый неожиданный сюрприз: лечебница предъявила мне огромный счет за содержание и лечение мужа. Я все время думала, что эта лечебница — большевицкое учреждение, так как до приезда мужа здесь лежал больной большевик.

Я уплатила. Все деньги, данные организацией на лечение мужа ушли на покрытие счетов лечебницы. У меня осталось лишь несколько десятков рублей. А впереди ничего нет. Нужно снова искать денег. В поисках их, я случайно столкнулась на улице с одним из офицеров, членов нашей нелегальной организации. Он был в штатском, усы сбриты. Трудно его узнать в

таким виде. Но я сейчас же узнала, вернее почувствовала. Он сделал мне знак, чтобы я шла за ним. В одном из безлюдных переулков мы остановились, и он сказал мне:

— К вам не зашли, потому что исполнительное бюро арестовано, и квартира опечатана. Нам удалось узнать причину провала: адрес бюро был найден при обыске у одного из наших курьеров, переходивших границу Совдепии. Курьер расстрелян. Адрес бюро был расшифрован, и бюро арестовано. Четверо наших расстреляны этой ночью. Сегодня ночью я уезжаю. Прощайте!

Все надежды на побег погибли. Денег на лечение не достала, а через десять дней — новый срок платежа.

— Неудача? — спросил меня муж, когда я вернулась.

Я рассказала ему про встречу с офицером, про мои поиски денег: один уехал, другой не может получить из банка, и наконец, наши иностранные деньги, которые муж привез, возвращаясь из заграницы и которые у меня хранились на черный день, никто не хотел разменять. Все боялись держать у себя «валюту».

— Я потребую перевезти меня снова в тюрьму, — сказал муж.

Я начала убеждать, что с этим торопиться нечего, а нужно ждать большевицкого праздника, годовщины октябрьского переворота. По случаю этого праздника большевики готовят амнистию. Может быть, он подойдет под нее. Муж молчал, продолжая работать над архивом.

Большевики объявили амнистию. Огромные афиши висят на заборах и углах улиц. Об этом мне сообщила одна из нянь лечебницы, которая трогательно привязана к нам.

Накинув платок, я побежала на улицу. Быстро прочла, но в глазах у меня замелькало, и я ничего не поняла. Прочла второй раз... третий... Нет никакого сомнения, мой муж подходит под I пункт: он привлечен по литературному делу, и его держат более шести месяцев, не предъявляя обвинения! Я быстро списала на клочок бумаги весь текст первого пункта и бегу к мужу.

— Ты подходишь под амнистию. Я иду в Следственную Комиссию! Я не хочу, чтобы ты пробыл здесь лишний час!

В Следственной Комиссии Верховного Трибунала ко мне выходит секретарь г-жи Розмирович, щеголеватый молодой человек, типа бульварных «жиголо», с идеальным пробором на голове.

— По какому делу? — осведомился он.

— На основании амнистии пункта I, я прошу освободить моего мужа в экстренном порядке.

Через несколько минут меня зовут в кабинет г-жи Розмирович.

— Почему вы просите освободить вашего мужа в экстренном порядке? — спрашивает она.

— Потому что через два дня истекает срок платы в лечебнице, и у меня нет средств платить. Плата эта непосильна для нас, поэтому для меня важен каждый день.

— Раз у вас нет средств платить за лечебницу, мы переведем его в Кремль.

Как, в Кремль? Да ведь он подпадает под амнистию!

Нет, он не подлежит ей. Для вашего мужа нет амнистии.

Вы хотите перевести моего мужа в Кремль, потому что у меня нет средств содержать его в лечебнице? Вы караете меня за недостаток средств! Вы, которая называете себя коммунисткой! Это вы — пролетарско-социалистическое правительство караете людей за безденежье!

Я потеряла всю свою сдержанность, чувствуя, что последняя надежда на освобождение мужа исчезает.

Г-жа Розмирович сидела спокойно передо мной в кресле и, поглаживая медленно руки, говорила нараспев:

— Напрасно вы волнуетесь! Он попадет в еще лучшие условия. Мы переведем его в Кремль, поместим его во дворец.

При слове «дворец», она с трудом скрыла злую усмешку.

— Но ведь нет и месяца, как вы прислали мне бумагу, где предлагали мне перевести моего мужа за город, повидимому, учитывая тяжелое состояние его здоровья.

Но ведь вы нам тогда ответили отказом, если я не ошибаюсь.

Дело в предложении, а не в моем ответе. Санатория за городом и Кремль! Где же связь? Ведь Кремль не санатория!

— Лучше санатории! В Кремле — дворец, а дворец всегда останется дворцом, — насмешливо ответила она.

Нет, это ужасно, когда женщина выступает в роли палача. Какими простодушными показались мне царские жандармы, которые меня столько раз допрашивали и которых скорее я изводила, чем они меня. Те ссылались на законы и параграфы... А эта садистка, — на что?

— Почему вы сами не исполняете своих же декретов, хотя бы этого декрета об амнистии? Пункт первый точно написан для моего мужа, — возвращаюсь я к начальному вопросу беседы.

— Будьте любезны сообщить нам, будете ли вы в дальнейшем платить в лечебницу или нет? — сказала, не отвечая на мой вопрос, г-жа Розмирович, и поднялась с кресла.

— Я вам дам ответ завтра.

Муж мой уже не спрашивал о результатах моего посещения Следственной Комиссии. Он просто попросил у меня чернил и бумаги. Написал заявление, где указал, что дело его подходит под амнистию, но если большевики сами толкуют свой декрет иначе, то пусть переводят его в тюрьму, потому что у его семьи нет средств платить за лечебницу.

Мне не верилось, что они переведут его в Кремль или в тюрьму. Я была уверена, что амнистия все-таки будет применена к нему. Но на всякий случай после отправки заявления мужа, я приготовила ему белье, еду и немного денег.

В день окончания расчетов с лечебницей, к подъезду подъехал автомобиль. Вышел офицер с бумагой о переводе мужа в Бутырскую тюремную больницу. Я помогла мужу подняться с постели, одеться. Мое сердце разрывалось от боли, я не могла ничего сказать. Муж вышел, опираясь на мою руку, сел в автомобиль, офицер рядом с ним.

— Я поеду проводить до тюрьмы.

Офицер ничего не ответил. Я села. Всю дорогу мы молчали, слезы бежали из моих глаз. Проехали Пречистенку, Никитский бульвар, Никитскую, Садовую. Скоро тюрьма, опять отнимут его у меня. Вот ворота. Запираются за ним двери, — на сколько времени? Надолго ли? Мы въехали в ворота. Остановились у конторы. Офицер сдал бумаги и удалился. Пришел дежурный, принес казенную арестантскую одежду и шапочку.

— Успокойся, прошу тебя! Прощай, моя хорошая!

Муж поцеловал мою руку, и его повели в палату тюремной больницы.

Сына своего я перевезла домой. Дома пусто, холодно, голодно. Я предложила ему пойти обедать в советскую столовую на Новинском бульваре. Меня всегда охватывает ужас, когда я вхожу туда: за столом, покрытом грязной клеенкой, сидят истощенные голодные люди — рабочие, барышни, дамы, служащие, женщины в платках, офицеры в поношенных шинелях без погон. Все жадно едят, вилки, ножей нет. Суп едят ложками, рыбу, точно дикари, рвут руками. Меню почти всегда одно и то же: суп и маленькая сухая вобла, вываренная в супе. Хлеба не полагается. Иногда к рыбе дают кислую капусту. Такой обед стоит 5-6 рублей. Все частные рестораны и столовые закрыты, и потому волей-неволей идешь сюда. Как мы ни были голодны, мы не могли доесть рыбы, — она была несвежая. Вдруг к нам быстро подходит какая-то старуха, прилично одетая, и спрашивает:

— Вы кончили обедать?

Получив утвердительный ответ, она схватила остатки нашей рыбы и стала жадно есть.

Мама, мне страшно, — сказал сын шопотом.

— Да, милый, и мне тоже. Идем скорее!

Я уже не хожу так быстро по улицам, мне больше не надо торопиться к мужу, в лечебницу, и я только теперь замечаю, как изменилась Москва. Все частные магазины закрыты, окна и двери заколочены. Особенно как-то жутко ходить по большим улицам, как Тверская, — точно ураган пронесся, движение прекратилось, извозчик историческая редкость, на улицах часто по два, по три дня валяются трупы палых лошадей с вырезанными из них кусками мяса. Из огромной сети трамваев, которыми перерезана вся Москва, действуют лишь две линии: бульварное кольцо А, и Садовое Б. Автомобили все реквизированы большевиками, и только они нарушают покой улиц своим шипением. Но по ночам от 12-3 утра автомобильные гонки стали обычным явлением. Это «советские» со своими дамами, закутанными в меха, забавляются, пугая сонных жителей своим криком, хохотом и визгом.

Когда национализировали «для народа» меховые магази-

ны, то первыми явились туда жены коммунистов и позабирали все, что приличествует для нуворишей революции. В то время, когда представители коммунистической партии так старательно следят за туалетами своих жен, «плебеи» без различия партий, получают на целый дом, в котором до 70-100 жителей, по два «талона», дающих право на две пары сапог. Одеть в российские морозы пятьдесят пар ног в две пары — занятие трудное, и в результате в Москве сейчас сильно свирепствуют болезни в особенности «испанка», которая косит людей.

Получила записку от мужа, просит, чтобы я принесла еды побольше — не для него, а для других заключенных: кругом одни скелеты. Пишет, что в соседней палате лежат проворовавшиеся большевицкие чиновники; «передачи» им приносят огромные, и они все съедают одни, торопятся, чтобы кто-нибудь не попросил. — «Если бы ты знала, как это омерзительно!» — заканчивает он свои записки.

Как я провожу теперь время? Встаю с зарей, иду на вокзал за продуктами, иногда удается достать бутылочку молока. Троплюсь домой напоить сына чаем и отправить в гимназию. Затем жарю на щепках котлеты из конины, варю на керосинке картофель и бегу передать это в тюремную больницу. Чтобы передать сверток, ждешь около стены часа два-три. К трем часам возвращается из школы сын, нужно его покормить, но он у меня стал неприхотлив, ест черный хлеб с соломой, вареную морковь без масла и сыт. После «обеда» говорим об отце, — без всяких надежд на будущее, а вечером, когда он садится учить уроки, я иду делать «уколы», перевязки — теперь это мое средство к существованию — и все пешком, пешком!...

Сегодня очень холодно. Мороз. Падает снег, а мы стоим у ворот тюрьмы, ждем очереди для передачи провизии или пропуска на свидание. Нас много, мы вытянулись длинной лентой вдоль тюремной стены и ждем. Ждем без конца, пока нас впустят в тюремную контору. Но туда впускают по 6-8 человек, и мы очень медленно продвигаемся к двери. Я гляжу на ожидающих. Тут и рабочие, и интеллигенты.

За что ваш сидит? — спрашиваю я худошавого рабочего.

— Мой брат-то? Да он эс-эр, за несочувствие большевикам.

— Давно?

— Уже третий месяц.

Допрашивали?

Нет еще.

А ваш? — обратилась я к пожилой даме.

Мой сын офицер, арестован на вокзале, сидит четвертый месяц. Допроса нет.

А вот и старушка пришла, моя знакомая незнакомка. Мы всегда с ней встречаемся, и она всегда со своим неизменным вышитым кулечком. Навещает сына. Хотел он спирт на муку обменять.

— На вокзале это было, — рассказывала она как-то своей соседке, — а красные и арестовали. «Ты, говорит, спекулянт». Спирт не вернули, а его арестовали. Вот заболел в тюрьме, простудился, перевели в больницу.

Ждем мы все у тюремной стены, ждем, когда увидим дорогих нам людей. Наконец, мы в помещении тюрьмы. Наши вызваны. У меня личное свидание, я увижу без решетки. Вот идет мой муж, он в арестантском халате. Мы целуемся. В этот момент он быстро шепчет, куда и к кому мне надо пойти после свидания, чтобы сообщить, кого из близких перевезли сюда, и так же быстро сует ворох записок, которые я положив в конверты, должна разнести по адресам. Мы не успели поговорить о самих себе, как раздается голос:

— Свидание окончено!

Уже! Как быстро прошли те пять минут, из-за которых мы зябли три часа у ворот тюрьмы! Надо спешить домой. Может быть, сын уже пришел из гимназии, и опять избитый. Не вижу конца этим раздорам между оболышевиченными школьниками начальных училищ и гимназистами. Характер сына стал замечтно меняться. Эта вечная вражда детей между собой, вечное оглядывание назад: не нападет ли кто сзади? — делает ребенка недоверчивым и скрытным.

Епископ Варнава — ставленник Распутина — еще летом написал большевикам покаянное письмо, где он предлагал им свои услуги по организации церкви на большевицко-коммунистических началах. Православное духовенство возмутилось

этим письмом, потому что все прекрасно поняли, что Варнава не сочувствует большевикам и, предлагая им свои услуги, поступает не по убеждению, а ради выгоды изменяет православной церкви. Большевики, опубликовав это письмо, холодно отклонили его услуги. Прошло несколько месяцев и возмущение, поднявшееся вокруг Варнавы, стало затихать. О нем почти забыли. Потом мы прочли в газетах, что Варнава заболел и переведен в тюремную больницу при Бутырской тюрьме.

Вчера я была невольной свидетельницей исторической сцены: на свидании муж, разговаривая со мной тихо и спокойно, передавал по обыкновению свои поручения. Вдруг вижу, как меняется лицо моего мужа, сначала бледнеет, потом краснеет, он быстро поднялся с места и резко сказал:

— Прошу не подходить ко мне с вашим благословением после того, как вы предложили большевикам использовать ваши услуги для организации новой церкви, которая поддерживала бы их!

Я сидела, ничего не понимая. Я видела, как к моему мужу подошел удивительный по своей змеиной фигуре монах в мантии и клобуке, протянул ему руки, а в ответ раздалась отповедь мужа. Монах, как побитый, быстро повернулся и отошел.

— Это Варнава, — сказал, тяжело дыша, муж, когда сел опять со мной рядом.

В тюрьме и тюремных больницах свирепствует сыпной тиф. Теснота, грязь, голод не замедлили сказаться. В палате моего мужа уже было несколько случаев заболевания. На последнем свидании он еле держался на ногах, температура 39,0°.

Несмотря на это он пришел в легком халате. Итти пришлось через двор, а на улице метель, холод.

— Не заразился ли ты тифом?

— Нет, не бойся! У меня, вероятно, воспаление легкого начинается, меня душит кашель. Но начальство должно принять меры против тифозной эпидемии. Вчера я потребовал вызвать в тюрьму народного комиссара здравоохранения и просил его посмотреть, в каком состоянии находятся наши палаты, и те, где лежат больные тифом.

Прошу тебя, дай мне знать, если у тебя будет ухудшение.

Не надо говорить обо мне. Прошлой ночью из нашей

палаты увели на смертную казнь. У одного была высокая температура, вряд ли он сознавал, а другой, казачий офицер, не торопясь передел чистое белье, помолился Богу, попросался со всеми нами, так просто и мужественно... Он все время у меня перед глазами!...

Его прервал крик надзирателя: «Свидание кончено!»

На следующее утро я опять была в тюрьме, чтобы передать пищу и справиться о здоровье мужа. Служитель сообщил мне, что температура повышается, но что, «мол, просили кланяться и сказать, что все хорошо».

Прошел еще день. В среду, т.-е. на третий день после моего последнего свидания, я была опять в тюрьме. Это был день свиданий. Прождала в конторе более часа, а потом мне заявили, что свидания не будет, потому что врачи признали у мужа тиф, и он перенесен в тифозный изолятор. На следующее утро я справилась по телефону о его здоровье. Состояние тяжелое, без сознания, температура 41,2°.

Я бросилась в тюремную больницу, вызвала главного врача.

— Он плох, очень плох, не ручаюсь, что перенесет кризис.

Из тюрьмы я бегом бежала в Охотный ряд в санитарный отдел Городской Управы, где по утрам принимал Комиссар Здравоохранения доктор Н. А. Семашко, который когда-то лечил мою свекровь и мужа. Это было в Женеве.

— Мой муж умирает! Освободите его хоть теперь, отдайте его мне, я буду сама за ним ухаживать, а если умрет, то пусть умирает на моих руках, а не в тюрьме!

Семашко пошел в соседнюю комнату, позвонил по телефону. Вероятно, он справлялся у тюремного врача. Вернувшись он сказал:

— Хорошо! Вы можете перевезти вашего мужа в больницу, какую вы выберете сами. Вы хотите в Солдатенковскую? Хорошо. Поезжайте сейчас в тюремную больницу, там уже будет телефонограмма о том, что вы можете взять мужа из тюрьмы.

— Разрешите мне за ним ухаживать в больнице.

— Нет, не могу! Вы можете заразиться и таким образом распространить эпидемию.

— Что я заболела, это неважно! Мой муж умирает, а вы

говорите, что я могу заразиться! Меры против заразы я все приму, я ведь фельдшерица, на эпидемиях бывала.

— Хорошо! — ответил он, — автомобиль для перевоза вы вызовете по этому номеру, — он протянул мне бумажку, — вызовите от моего имени. Вы все поняли, что я вам сказал? — пылливо взглянул он на меня. — Берегите эти две бумаги. На одной разрешение вам на пребывание в больнице при муже, другая с номером телефона.

— А в телефонограмме будет сказано, что это освобождение? Если мой муж выживет, неужели опять тюрьма?

— Нет! Это — освобождение!

Я поблагодарила и вышла из его кабинета.

Это первый из большевиков, который за эти восемь месяцев говорил со мной по-человечески. Как благодарна я ему!

В этот день был сильный мороз, но в беготне я ничего не чувствовала. В тюрьму я пришла около пяти часов. Меня позвали в кабинет главного врача.

— Телефонограмма получена. Хорошо делаете, что берете вашего мужа, — сказал он мне.

Я спросила о состоянии его здоровья.

— Состояние? Неважно, неважно! Увозите его скорее! Я пойду его сейчас провожаю.

Я осталась в кабинете одна. Слова доктора на меня произвели впечатление, будто он боялся, что мой муж умрет в тюремной больнице.

Доктор вернулся с обхода и собирался идти домой. Он тщательно мыл руки в сулеме и говорил мне:

— Ваш муж без сознания, не узнает никого, бредит немного.

Уходя, он сказал мне:

— Садитесь с ним в карету я вам запрещаю, она кишит насекомыми. Вы сядете рядом с шофером. Я отдал уже распоряжение.

Контора опустела, служащие ушли, остался лишь один сторож. Автомобиль все не приезжал. Я позвонила по телефону, данному мне Семашко. Ответили, что шофер уже выехал. Поздно вечером, часов около десяти, к воротам тюрьмы подъехал автомобиль. Раздались сигнальные звонки, один, другой, и автомобиль въехал в тюремный двор. Я вышла на двор.

Мороз все крепчал. Из внутреннего двора распахнулись ворота, и я увидела моего мужа. Боже мой! Мне кажется я никогда не в силах буду забыть: его несли на носилках в одном белье, без шапки, покрытого летним одеялом. В такой мороз! Он был без сознания, щеки пылали, глаза ярко блестели. Носилки его поставили прямо на пол в автомобильный фургон. Я бросилась внутрь фургона. Двери захлопнули, и я осталась с ним. Я накрыла его голову моей большой муфтой, а его самого моей широкой теплой шубой. Дорога была убийственная, автомобиль бросало из стороны в сторону. От одного из толчков муж застонал и сказал мне:

— Держи мне голову. Кровь сильно идет из раны. Это большевики меня ранили в голову. Держи же крепче!

— Держу, крепко держу!

Я держала его голову, которая пылала от высокой температуры.

Вот в каком состоянии они возвращают его мне.

Переезд в больницу казался бесконечным. Автомобиль остановился у конторы. Из конторы носилки мужа поставили на маленькие салазки и повезли в один из корпусов, предназначенных для тифозных больных. Я старательно укрывала его одеялами, взятыми из конторы.

— Да вы не беспокойтесь, — утешал меня веселый парень, который вез санки, — вашему супругу очень тепло, они так и пылают. Да и больному человеку куда же больше простудиться, раз он уж и так заболел.

В тифозном корпусе сестра приняла бумаги и начала записывать имя, фамилию, звание моего мужа. Все шло хорошо, пока я называла имя, годы, профессию. На вопрос сестры: звание, — я ответила, как значилось в паспорте: «потомственный дворянин».

При этих словах муж мой, который лежал молча, подозрительно взглянул на всех нас и сказал:

— Не потомственный дворянин, а член Государственной Думы от Петрограда. Так и запишите, — вдруг заволновался он.

Сестра стала успокаивать и уверила, что записала, как он хочет, но на самом деле «потомственный дворянин» красовался на скорбном листе. У большевиков официально сословные зва-

ния еще не были отменены и потому во многих учреждениях продолжали записывать и сословие.

После всех мучений мы, наконец, в чистой, маленькой отдельной палате, окружены милыми сестрами. Не вижу больше солдат со штыками.

Десять ночей я провела без сна, волнуясь в ожидании кризиса. Ночью, часов около трех утра, муж позвал меня:

— Таня!

Я подошла, думая, что он пришел в себя. Окликнула его. Ответа нет. Я взяла его руку. Она была холодна, как лед. Я поставила термометр. Температура 35°.

— Кризис!

Персонал спал. Дежурная сестра дремала. Я сама вприснула камфору. Пульс чуть слышен. Еще один шприц. К ногам положила грелку и стала растирать его тело щеткой с одеколоном. Я чувствовала, как оно постепенно оживало под моими руками. Он весь покрылся потом. Я позвала няню, мы переодели его в чистое белье и закутали одеялами. Теперь он спасен. Я села около него на стул и задремала.

— Что ты, как страж, сидишь около меня? — проговорил мне муж.

Я вскочила. Было уже светло. Муж сидел на постели, повидимому, плохо помня, что с ним было. Я не успела даже умыться, как вошел доктор. Взглянув на мужа, затем на температурный лист, он сказал:

— Поздравляю вас! Вы через смерть перешагнули!

Я дрожала от волнения. Когда ушел доктор, я поцеловала мужа и сказала:

— Ты теперь здоров! Но только благодаря этой болезни ты теперь свободен!

Я пошла в контору больницы и протелефонировала родителям, что кризис миновал, прося прислать портвейну, минеральной воды и камфоры, потому что камфора была в больнице в очень ограниченном количестве, а вина и минеральной воды не было совсем. Но в полдень разразился страшный буран. Метель свирепствовала целый день и только к утру другого дня успокоилась, оставив после себя горы снега, поломанные деревья и занесенные улицы.

На другой день я пошла к себе на городскую квартиру, зная, что принести мне камфору и вино некому, потому что все

будут заняты уборкой снега, который по декрету должны убирать жильцы домов. Больница, где лежал мой муж, находилась почти за городом, на Ходынском поле, и до дома я шла более двух часов. Подходя к дому, я увидела, что все наши были за работой; среди других жильцов, работали мама и мой сын. Он был по пояс в снегу и, раскрасневшись от работы, разгребал снег огромной лопатой.

— Мама идет! — закричал он.

— Ради Бога, не подходи ко мне! Я боюсь тебя заразить! Я поговорю только с бабушкой.

Мама передала мне вино и лекарство, и я двинулась в обратный путь.

Муж быстро поправляется, но он очень слаб и худ. Врач находит, что выздоровление идет хорошо; признак особенно хороший, это то, что у него появился аппетит. По утрам я оставляю мужа на попечение сестер милосердия и иду в город за провизией. Трамвай из-за снежных заносов не ходят до Петровского парка, и я буквально прыгаю с сугроба на сугроб. Это ужасно утомляет. Вчера, идя из больницы в город новым путем, через Пресню, я увидела огромный воз прекрасных березовых дров. Парень, который погонял лошадей, показался мне добродушным, и я решила с ним заговорить.

— Тяжело лошадам, — сказала я.

— Тяжело-то тяжело, да и ленива вот эта. Ну! Поворачивай, буржуй! — убеждал он лошадь, ударяя кнутом.

Куда дрова везете?

— На Тверскую, в Совдеп.

— Это как раз по дороге. Не продадите ли вы мне несколько полен?

Верхушку сниму. Сколько дашь?

А вы сколько хотите?

Сто рублей царскими.

Хорошо.

Теперь ты иди, не оглядываясь! Я поеду за тобой. Перед воротами, где живешь, я уроню несколько полен и въеду к тебе, будто увязать воз.

Я все исполнила, как сказал парень. Он оказался честнее, чем я думала. На дворе он набросал мне чуть не четверть своего огромного воза. Прощаясь, сказал:

— Тебе нужнее, а те, душегубы, и без этих поленьев не сдохнут!

Пока я складывала дрова в сарайчик, на дворе появилась жена председателя Николаева.

— Откуда дрова?

— Знакомый комиссар прислал, — не моргнув, ответила я.

Магическое слово «комиссар» сразу возымело свое действие, и Николаева исчезла так же быстро, как появилась.

Завтра я перевожу мужа домой. В больнице я тщательно вымылась в ванне, передела чистое белье, продезинфицировалась и пошла к родителям, у которых не бывала за все время болезни мужа. Все были дома. Отец передал мне деньги: одному нашему товарищу удалось разменять мою «валюту». Сын торжественно вручил мне плитку шоколада, которую он по случаю наступающего Рождества получил по детской продовольственной карточке.

Это передай папе от меня!

Может быть, хочешь кусочек себе оставить? — спросила я.

Нет, нет, ему нужнее! Я сыт!

«Сыт»! Я знаю, чем он сыт! Я при всем голоде не могу иногда есть этот колючий хлеб, морковь и «котлеты» из картофельной кожуры, жаренные на каком-то подозрительном масле, которое мы употребляем уже третий месяц. Что это за масло? Мы не можем решить. Лампадное или машинное? Нас уверяют, что «растительное». Пусть будет растительное!

Сейчас я одна в своей квартире. Она приведена в порядок, стерта пыль, вытряхнуты ковры, постелено чистое белье, затоплена печь. Я сожгла много дров, но комната нагревается слабо. За этот месяц в квартире никто не жил, и стены успели промерзнуть. Две комнаты, выходящие на двор, придется держать закрытыми, — топить нечем. Будем жить в одной, которая выходит на улицу. Она больше, веселее и теплее, потому что на солнечной стороне, и в ней два окна. На диване будет спать муж, а я с сыном на кровати. Жить можно, теперь многие люди и хуже живут. Чтобы придать комнате окончательно приветливый вид, я накрыла чайный стол единственной уцелевшей чистой скатертью. Только теперь чувствую, как я устала. От

усталости дрожат ноги и руки. Сегодня меня целый день знобит. Уж не заразилась ли я тифом? Не думаю! Это просто усталость сказывается: волнения, бессонные ночи, хождения пешком и ощущение постоянного голода. Последнюю ночь проведу в больнице, а завтра вечером будем опять все трое вместе. Страшно радоваться вперед!

(Окончание следует)

Т. Алексинская

ЭВГЕМЕРИЗМ В СТАРОСЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУРАХ

*Посвящаю уважаемому и дорогому отцу
Георгию Флоровскому ко дню его семиде-
сятипятилетия.*

Книга отца Георгия Флоровского «Пути русского богословия» является несомненно одним из основоположных трудов не только для истории русского богословия, как обещает заглавие книги, но и для «духовной истории» России, как бы широко мы задачи этой «духовной истории» ни понимали. В этой книге содержится неоценимый материал фактов и суждений по истории русской философии, русской литературы, общественной мысли и т. д. Конечно, и в работе такого богатого содержания есть страницы, нуждающиеся в расширении и дополнении. Это понимает и сам автор. В частности первая, «допетровская» часть книги могла бы быть обогащена новым материалом. Пожелаем, чтобы у автора было желание первую часть книги переработать и расширить. Я хотел бы в этой посвященной юбилюру статье указать на одну из проблем, почти что не нашедшую себе отражения в русской научной литературе. Эта проблема касается одной из темных проблем русской духовной истории — вопроса о существовании древнерусского язычества и о его преодолении. О древнерусском язычестве нам известно очень немного, скептики готовы даже сказать, что известны почти только имена языческих божеств, среди которых, впрочем, наряду с несомненными (Перун, Сварог, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Волос или Велес) называются и вызывавшие и вызывающие у исследователей сомнения (Мокошь, имя которой, впрочем, М. Фасмер убедительно связывает с корнем «мок», как в «мокрый», «мокнуть» и т. п., но и вовсе необъяснимый Симарьгл или Семарьгл, и весьма проблематичный Траян или Троян). Усилиями языковедов удалось более или менее правдоподобно объяснить функции божеств, а весьма

«оптимистические» и, как всегда, блестящие работы Романа Яacobсона, за которым пошли и некоторые ученые в Советском Союзе, предлагают даже известную систему древнерусского «Олимпа», но все же не разъясняют всех загадок, связанных с древнерусским язычеством. Препятствием к разрешению этих загадок являются в особенности очень неясные сообщения древнерусских проповедников, которые, естественно, вовсе не были заинтересованы в детальной информации о «дьявольском навождении» или «чертовщине» дохристианского «суеверия». Исследователи последнего полутора столетия очень часто довольно голословно утверждали, что и после христианизации Руси в ней господствовало «двоеверие», т.-е. одновременное поклонение и христианскому Богу и «упраздненным» языческим божествам. Элементы такого «двоеверия» искали и находили даже в народных верованиях последних десятилетий. Надо, однако, отметить, что к предлагаемому для обоснования этого представления о «двоеверии» материалу принадлежали почти исключительно сведения о народных представлениях о демонических существах, как домовый, леший, русалки и т. д., т.-е. материал, свидетельствующий не только о их «почитании», но также о страхе перед ними... Не заходя далеко в рассмотрение этого интересного материала, надо отметить, что с одной стороны во всех странах Западной Европы мы найдем достаточно параллелей «современным» (т.-е. относящимся к последним столетиям) суевериям восточных славян, а с другой стороны, мы не встречаем нигде в славянском новом материале имен языческих божеств, а домовые и лешие являются типичными представителями «низшей мифологии», сохранение которой ни в каком случае не может свидетельствовать о «двоеверии» в строгом смысле этого слова.¹

Однако, исследователи не обращали внимания (или недостаточно ими занимались) на свидетельства об отношении восточных славян к «упраздненным», ниспровергнутым божествам. Свидетельства эти дает нам древнерусская литература, т.-е. продукт творчества более или менее образованных кругов; свидетельства эти покоятся на византийской традиции, но пройти мимо них вряд ли позволительно. Они относятся к ряду столетий, — вплоть до 16-го и даже 17-го. И свидетельства эти говорят о том, что наряду с распространенными в церковных кругах представлениями о языческих божествах, как «бесах» (так

несколько раз в Летописи, — при сообщении о воздвигнутых Владимиром идолах и в рассказе о первых христианских мучениках-варягах в Киеве, так и в «Слове о законе и благодати» первого митрополита-«русина» Илариона, около 1050 года) существовало и иное представление, по которому почитание языческих богов было своего рода «недоразумением» — в них почитали древних правителей и «культурных деятелей» (прошу не удивляться этому обозначению!), считая их по ошибке (возможно, и не без влияния «дьявольского соблазна») божественными существами.

Такая точка зрения известна историкам религий и носит название **эвгемеризма**. Каким образом она проникла в древнеславянские литературы и так долго держалась в древнерусской?

Эвгемер (Euhemeros) греческий писатель родом из Мессены (неизвестно какого из двух городов этого имени: один находился в Сицилии, другой на Пелопоннесе) жил на переломе 4 и 3 столетия перед Р. Х. и изложил свои взгляды в романе “*Niera anagrafe*”, написанном в начале 3-го века до Р. Х. В этом, до нас не дошедшем, но известном из многочисленных ссылок и цитат из него произведении, Эвгемер рассказывает о будто бы найденных им на Крите надписях, подтверждающих его теорию. Роман был переведен на латинский язык Эннием и приобрел значительную популярность: ведь уже раньше «рационалистическая интерпретация» древних и для позднейших поколений мало привлекательных мифов (напр., о любовных похождениях Зевса) пользовалась этим приемом объяснения, правда, не веры в богов вообще, но по крайней мере в «соблазнительные» мифы о них. Так, уже Геродот рассказывает о похищении принцессы Европы не Зевсом, принявшим образ быка, но просто «критянами». Уже в античности эвгемеризм оценивался различно, то просто как легкомысленная болтовня романиста, то как заслуживающая внимания мысль о происхождении религии. Цитаты и выписки из Эвгемера сохранились в значительном числе, в частности у Диодора Сицилийского. Но, как кажется, особую популярность принесло ему использование его мыслей христианами писателями — отцами церкви и «апологетами» (его упоминают Климент Александрийский, Августин, Лактанций, Иустин, Тертуллиан и др.). Особое значение эвгемеризму придавал Лактанций, сохранивший нам ряд его высказываний и пользовавшийся его «теорией» в

полемике против античного политеизма. Эвгемеризм попал и в Византию, но там его роль еще недостаточно выяснена (об этом см. далее), да и на Запад. Оценка эвгемеризма в новой научной литературе различна: от утверждения, что эвгемеризм — попросту литературный мотив, — до мнения, что это одна из форм античного атеизма и — до признания за ним серьезного значения. К славянам он попал несомненно из Византии. Вероятно, уже раньше **греческий** эвгемеризм вошел в связь с **древнееврейскими** апокрифическими рассказами о возникновении политеизма и идолопоклонства. И апокрифические эвгемеристические мотивы стали известны славянам.

Как сказано, мы очень мало знаем о его роли в византийской литературе. До сих пор основная, основополагающая история византийской литературы Крумбаха (вышедшая еще в 1891 г.) упоминает эвгемеризм только в связи с поздними (13 века) комментариями к Гомеру, новейшая (для славистов, кстати, совершенно незаменимая) история византийской религиозной литературы мюнхенского проф. Г.-Г. Бекка (1959 г.) эвгемеризм вообще обходит молчанием. Лактанций, насколько мне известно, на греческий язык переведен не был. Славянам эвгемеризм известен еще с 10 века. Пересмотрим важнейшие славянские памятники, свидетельствующие о знакомстве с эвгемеризмом и о его распространении.

1

Наиболее старый славянский памятник, в котором мы встречаемся с эвгемеризмом — так наз. «Супрасльская рукопись» (в настоящее время разделенная на три части, находящиеся в различных библиотеках). Это собрание житий святых, память которых празднуется в марте (т.-е. «Четы-миней»), к житиям присоединен ряд переведенных с греческого проповедей. Греческие оригиналы всех произведений рукописи известны. «Супрасльская рукопись» возникла не ранее начала 11 века. Но ее перевод, по всей вероятности, на столетие старше и сделан, очевидно, в Болгарии в 10 веке. Начало рукописи (несколько листов) утрачено и первый текст нам встречающийся — история «умучения» св. Павла и Иулиании.² Оба предстоит перед римским судьей Аврелианом, который и требует от Павла обычной формы отречения от христианства — принесения жертвы языческим богам. Павел на это отвечает: «Этот Зевс (-Дий),

которого ты считаешь богом, был человеком, учеником дьявола, он изучил волшебное искусство и был прелюбодеем бóльшим всех иных мужей. Когда ему случалось увидеть красивых жен и дев, им овладевала похоть, он приближался к ним и соединялся с ними». «Благодаря своему волшебному искусству он мог превращаться то в быка, то в крылатую птицу, в орла или сороку, и благодаря такому превращению соблазнял благородных жен; иным он являлся в образе золота и обещал им богатство. Я не скажу всего, так как ты разгневаешься. И тот, кого ты называешь Аполлоном, не был ли он рожден от прелюбодейства, женой по имени Литоес (так!), родившей его в ассирийской пустыне между двух дубов; и он [Аполлон] совершал, подражая своему отцу, порочные дела. Также и Дионис, ваш особо [почитаемый] бог, — не родила ли его, как плод прелюбодейания, дочь Кадма Семела?». «Бог ли тот, кто рожден женою?» Аврелиан, правда, отвечает, что и христианский бог («ваш бог» — имя Христа не названо) также рожден женою — и автор «Умучения» забыл привести ответ на это замечание. Весь текст точный перевод греческого текста, который был впервые издан в 20-х годах нашего века проф. Р. Траутманном и д-р Р. Клостерманном. История возникновения греческого текста мне неизвестна. По своему характеру это — отчет о каком-то действительно имевшем место судебном процессе, закончившемся казнью обоих святых. Во всяком случае автор «Умучения» был знаком с «христианским эвгемеризмом», а читатели его произведения должны были из него познакомиться с этой теорией происхождения язычества.³

2

Одним из киевских памятников 11 века является так наз. «Летопись Нестора», переписанная в окончательной обработке в самом начале 12 века. Здесь в рассказе о крещении кн. Владимира мы находим, записанную под 986-м годом обширную проповедь греческого миссионера, «философа» (это имя обозначало в Византии профессора Константинопольской высшей школы, которой мы не можем отказать в имени Университета). Проповедь эта, весьма вероятно, вписана в летопись не при возникновении ее первой редакции (приблизительно около 1036/7 года), а позже, во всяком случае в конце 11 века, и есть не безосновательное предположение, что проповедь эта — бол-

гарское произведение 10 или 11 века. Автором ее вряд ли был действительный «философ»-богослов: в ней содержится в кратком изложении вся священная история Ветхого и Нового Заветов, не мало мест, заимствованных из памятников не церковной, а апокрифической литературы. Между ними есть по крайней мере намеки на эвгемеризм, правда, не только греческий, но и древнееврейский.⁴

Идолопоклонство возникло, по рассказу этой проповеди, после разделения, «смешения» языков при постройке Вавилонской башни. В проповеди читаем «Основателем идолопоклонства был Серух»; Библии имя Серуха известно; он упоминается в книге Бытия (11, 20-26) и в Евангелии от Луки (в родословии Христа, 3, 34-35) и считается прадедом Авраама. Проповедь в Летописи называет его дедом Авраама и продолжает рассказ о нем так: «Серух изготовлял статуи (в тексте стоит «кумиры», но из всего содержания ясно, что он вовсе не считал эти статуи изображениями божеств. Д. Ч.) в честь умерших людей, из которых некоторые были царями, иные богатырями, волшебниками и распутными женщинами». Отец Авраама, Фара, научившись у своего отца Серуха, стал также изготовлять статуи, однако, почитая их как изображения божеств. Авраам, «став разумным, посмотрел на небо, увидел звезды и небо и сказал [себе]: воистину тот есть Бог, кто создал небо и землю, а мой отец обманывает людей. И Авраам решил: испытаю богов моего отца. И сказал [отцу]: «Отец! зачем ты обманываешь людей, изготовляя деревянных идолов? Бог есть тот, кто сотворил небо и землю», и взяв огонь, зажег идолов». Этот рассказ основан не на Библии, а на апокрифах о жизни Авраама. Оттуда же взято и сообщение о том, что брат Авраама, Арон, желая спасти идолов, сгорел вместе с ними. О древнееврейском эвгемеризме, проглядывающем в этом рассказе, скажем ниже.

Далее в той же проповеди упоминается о идолопоклонстве израильтян после Соломона: они «начали поклоняться Ваалу, т.-е. богу войны Орѣю» (в других вариантах «Арѣю»), — упоминание этого греческого бога войны, Ареса, указывает на то, что здесь в основе лежит уже сочетание греческого и древнееврейского эвгемеризмов.

Значение этого места станет нам ясным из сопоставления с другим, более ясным местом из другой летописи, так наз. Ипатьевской.

В Ипатьевской летописи первую ее часть составляет текст так наз. «Летописи Нестора», только в несколько переработанном виде: эта обработка касается в первую очередь последних годов летописи, кончавшейся 1110 годом. В этой обработке несомненно сыграли роль пожелания или даже указания князя Владимира Мономаха (на Киевском троне с 1113-1125 г.) и, вероятно, его сына и преемника Мстислава (на том же троне 1125-1132 г.). Отец, Владимир, известен нам как писатель, Мстислав, сын Владимира и его первой жены Гиты, дочери англо-саксонского короля Гаральда, имел более или менее серьезные литературные и политические интересы. Очень вероятно, что по его побуждению в продолжение Несторовой летописи были под 1114 годом занесены сведения из истории Новгородского княжества, трон которого он занимал до смерти отца. Эти сведения могут восходить или к рассказам его самого или его новгородских сотрудников. Но за этими сведениями со ссылкой на «Хронограф» (о котором скажем ниже) следует «эвгемерическая страница». Ее содержание связано с предшествующим рассказом о падающих с неба предметах.

«После потопа и после разделения языков начал сначала царствовать Местром из рода Хамова, после него Иеремия, затем Феоста, которого египтяне называли Сварогом. В царствование Феосты в Египте упали с неба клещи и [после этого] египтяне начали ковать оружие, а до этого они сражались палицами и камнями. Тот же Феоста издал закон о том, чтобы женщины выходили замуж за одного мужа и жили праведно, а за прелюбодеяние [повелел] казнить; поэтому его и прозвали Сварогом. Прежде же жены сходились, как животные с кем хотели. Когда жена рождала ребенка, она отдавала его тому, кого любила: это твой ребенок. Мужчина же устраивал праздник и принимал ребенка. Феоста упразднил этот обычай и установил, чтобы мужчина имел одну жену, а женщина выходила замуж за одного мужа, а если кто нарушит этот закон, должен быть ввергнут в огненную печь. Поэтому египтяне прозвали его Сварогом и почитали его. После него царствовал его сын по имени Солнце, которого именуют Дажьбогом. [Он царствовал] 7470 дней, то-есть двадцать лет⁵ (...) Царь Солнце, сын Сварога, т.-е. Дажьбог, был сильным мужем. Услышав от кого-то из

египтян о богатой и красивой женщине и узнав, что кто-то желает с ней сойтись, искал [случая] схватить ее [с поличным], не желая нарушать закона своего отца Сварога. Он взял с собой несколько человек, знал время, в которое она прелюбодействует ночью, напал на нее, не застал с нею [ее] мужа, нашел ее лежащую с иным, с кем она хотела. Он подверг ее мученью и приказал водить ее в наказание по [египетской] земле, а прелюбодея обезглавил. И началась чистая жизнь по всей Египетской земле и начали его восхвалять». Этот рассказ обрывается словами «Не будем продолжать этого рассказа».

Эта страница, производящая впечатление некоторой беспомощности в изложении, заимствована из до нас не дошедшего компилятивного Хронографа, составленного на основе греческих «хроник». Из них заимствована и самая идея эвгемеризма, затем отождествление греческих божеств с египетскими правителями, а затем и со славянскими языческими божествами. Обращаясь к греческим источникам, мы найдем там, конечно, и Гермеса (-Иеремию), и Гефеста, отождествленного в нашем тексте со славянским Сварогом, и греческого Гелиоса-Солнце, являющегося здесь под именем славянского Дажьбога.

4

Откуда все это — сказать не трудно, так как летопись ссылается на «Хронограф». А что такое Хронографы нам хорошо известно: это компилятивные всемирные истории, составленные на основе «исторических» произведений — переводных греческих хроник и Библии. Правда, нам известны только позднейшие обработки Хронографов и изданы только некоторые позднейшие их рукописи. Но как раз источник цитированного места легко установить: это эвгемеризм византийских хроник, в частности, одной из них — хроники Малалы (греч. Malalas). Она была переведена по всем видимостям в Болгарии в 10 веке, в период расцвета древнеболгарской литературы. Это не «хроника», т.-е. не летопись, а популярное и к тому же легковесное и малоценное изложение всемирной (главным образом древнегреческой и византийской) истории. Греческий оригинал нам известен, хотя он и сохранился плохо: книга не высоко ценилась византийцами. Об авторе имеются только не вполне достоверные предположения. Содержание кончается 6 веком (точнее его

половиной), но, вероятно, оригинал доходил до 575-го года. Изданием славянского текста мы обязаны неутомимому издателю старорусских текстов, В. Истрину. В церковных вопросах Малала не всегда вполне правоверен. Книга, очевидно, предназначалась для широких кругов читателей и автор наряду с историческими фактами дает достаточно места мифологии, анекдотам и легендам. У восточных славян перевод хроники Малалы стал одним из основных составных элементов того типа Хронографа, который позже называли «Эллинским» (т.-е. греческим) или «Римским Хронографом». Конечно, в этом произведении оказалось, наряду с греческой мифологией, место и для библейских рассказов. И здесь оказалась почва для эвгемеризма.

Излагая в общих чертах греческую мифологию, Малала рассматривает греческих языческих богов, как по недоразумению и невежеству обожествленных героев древности. Имена греческих богов появляются у Малалы сначала, как имена планет. Мы знаем их теперь в латинских формах. Наши предки знали греческие имена планет: не Марса, а Ареса, не Венеру, а Афродиту и т. д. По Малале эти [греческие] имена были даны планетам третьим сыном Адама и Евы, Сифом. И имена планет (т.-е. греческих языческих богов), по рассказу Малалы, давались позже детям правителей и замечательных людей. Носившие имена планет были люди. Их позже стали считать богами, так как их почитали как основоположников «культурных ценностей» человечества: морали (как мы это видели в рассказе Ипатьевской летописи), письменности, земледелия, военного дела и т. д. Хронос (лат. Сатурн) был внуком библейского Ноя и получил свое имя от планеты Хроноса-Сатурна. И, как в греческой мифологии, Хронос, боясь, что его трон захватит, согласно предсказанию, его сын, стал пожирать своих детей, пока его жена не догадалась подсунуть ему камень вместо новорожденного Зевса (в древнерусских текстах Зевес, Зовес или Дий), который в свою очередь получил имя яркой планеты Юпитера-Зевса. Зевес был спасен и захватил трон отца. Его любовные приключения излагаются Малалой, как события человеческой жизни. К Эвгемеру восходит, вероятно, и сообщение о том, что могила Зевса сохранилась на о. Крите. Только как люди появляются в рассказе Малалы и другие боги: Гермес (Ермий или Иеремия) носил греческое имя планеты Меркурий и как «умный и ученый муж» изобрел («изобрёте») искусствоковки метал-

лов, в частности, золота. И как «ученый муж» он уже пророчествовал о Троице.

Отдельные элементы греческой мифологии перенесены в плоскость человеческой жизни: так, кузнец Гефест (лат. Вулкан) был хром потому, что его ногу повредил конь. Далее появляются «герои», которых и язычники считали только людьми: упоминается Персей — родоначальник Вавилонских царей и основатель поклонения огню; знает Малала и Дедала и Икара, но и их он сводит с неба на землю: Икар не низвергся с неба при смелом полете, а утонул при побеге с Крита, его отец Дедал был попросту казнен. Упоминаются и Геракл, и Эдип и иные греческие герои. Иногда в рассказы о них вплетаются христианские мотивы: так аргонавты получают от Пифии пророчество о Богоматери и записывают его на мраморной доске в построенном ими храме (м. пр., с изображением архангела Михаила). Так же точно очеловечены и божества, принимавшие участие в Троянской войне — женские божества — попросту волшебницы... Упоминаются, м. пр., и греческие философы (Платон и «Анаксимадр») и поэты. Но все это — уже не эвгемеристическая переработка мифов, а просто христианская «стилизация» рассказов о древнегреческой культуре и истории...⁶

Хронограф, из которого Ипатьевская летопись заимствовала свою «эвгемерическую страницу», в этом месте по всем видимостям использовал 2-ую книгу Малалы, и, вероятно, уже болгарский переводчик счел нужным пояснить имена языческих богов именами славянских: Гефеста (Феоста) и Гелиоса (Солнца) именами славянских Сварога и Дажьбога.

Нам известно существование Хронографов только с 13 века. Но автор эвгемерической страницы Ипатьевской летописи имел какой-то еще более старый текст и, как показывают исследования (В. Истрина и А. Шахматова), в этот текст входила кроме хроники Малалы и вторая известная на Руси византийская хроника.

Эта вторая греческая хроника, послужившая основой славянскому эвгемеризму, была сочинением «Георгия Мниха» (9 век), по прозвищу Амартола (греч. Hamartolos — грешник, прозвище — вариант «топоса скромности», вспомним писателя 16 в. «Ермолая Прегрешного»). Гораздо более «солидное» чем Малала произведение Георгия Мниха («Книги временныя и обрзныя») сохранилось в ряде самостоятельных восточнославян-

ских списков, начиная с 13-14 и до 16 веков, но было переведено несомненно уже в 11 веке, весьма вероятно, в Киеве при Ярославе Мудром или по «заказу» Ярослава в Константинополе (возможно, при участии представителей различных славянских народностей). И эта хроника — также не летопись, а всемирная история, гораздо более обстоятельная и основательная, написанная более «сухо» чем книга Малалы и переведенная также сухо и не без ошибок. Наряду с «русским» переводом имеются и сербские списки, пока не достаточно исследованные и не позволяющие делать заключения о существовании еще другого югославянского (сербского или болгарского) перевода. Амартол сохранился не только в отдельных списках, но и в цитатах и обширных извлечениях также вошедших в состав Хронографов («Эллинского и Римского») и в «Толковые Палеи» (т.-е. в комментированные обзоры истории Ветхого Завета). И Амартол издан В. Истриным. К сожалению, очень мало мы знаем об иллюстрациях, обильно украшавших самый старый список 13-14 в. Ряд списков, сохранявшихся еще в 19 в. (по некоторым сведениям было 16 списков), уже исчез. Греческий оригинал известен, в отличие от Малалы, целиком. Изложение доходит до 11 века; последние части, вероятно — работы какого-то продолжателя Георгия Мниха.

И Амартол был известен летописцам и из него заимствовано немало сведений в «Летописи Нестора». Вполне вероятно, что и они попали в летопись, как дополнения к первоначальному тексту только в конце 11 века, и, вероятно, заимствованы (хотя бы отчасти) из того же «Хронографа», что и выписка 1114 года.

И Амартол — эвгемерист, как и Малала. И здесь имена греческих богов встречаются первоначально как имена планет, данные изобретателем древнееврейской грамоты, Сифом. Более подробное, чем у Малалы, изложение вводит также имена божеств и героев, как древневосточных, египетских и греческих правителей и «изобретателей» (так старо это слово!). Мы не будем входить в подробности. Отсутствует (по крайней мере в использованных Истриным списках) отождествление имен языческих древних божеств с именами славянских. Картина в виду большего объема памятника более детализированная и более «пестрая»; как и у Малалы факты (или легенды) греческой истории переплетаются с историей древнего Востока. Изложе-

ние всего материала здесь для нас не представляет интереса. Существенно только одно — несомненно, что эвгемеризм Амартола имеет **общий** источник с эвгемеризмом Малалы. Разыскать этот источник — задача византинологов, которых этот вопрос пока не заинтересовал (я уже говорил выше о беглом упоминании о позднем эвгемеризме у Крумбахера и об умолчании о эвгемеризме у Бекка)... Имени Эвгемера в обеих хрониках не встречаем, но Малала в разных случаях ссылается на свои источники: «мудрого» Палефата» (это, очевидно, греч. писатель 4-3 века до Р. Х. Palaiphatos), на «Луканоса» (это, конечно, поздний греческий писатель Лукиан) и на Аполлония (автора «Аргонавтики»). Амартол о своих источниках или вдохновителях умалчивает.

5

От летописи (запись 1114 года была сделана несомненно в конце работы над текстом 11 века, — она по содержанию связана с рассказом о «чудесах» на северо-востоке Новгородского княжества, т.-е. со временем Владимира Мономаха и Мстислава Владимировича) мы можем сделать шаг ко времени на несколько десятилетий более позднему: к «Слову о полку Игореве», написанному между 1185 и 1187 годами. В этом замечательном памятнике мы встречаем имена нескольких языческих божеств. Употребление этих имен в тексте христианского времени могло бы быть наилучшим (и, пожалуй, единственным убедительным) свидетельством о действительном «двоеверии» того времени, а не о простых «суевериях», т.-е. о верованиях в языческих богов, а не «демонов» «низшей мифологии», **одно- временно** с верованием в христианского Бога. Но упоминания имен языческих божеств встречаются нам в «Слове» в таких контекстах, которые заставляют нас считать автора не «двоеверцем», а представителем **светского** эвгемеризма. Напомню эти места.

Прежде всего мы встречаемся с Бояном, «певцом» (-поэтом) 11 века (те места, в которых намечается на произведение Бояна, говорят о событиях 11 века). Боян — «вещий» (т.-е. пророк или ясновидящий), он — «соловей старого времени». И наконец автор «Слова» обращается к нему: «Или следовало так воспеть, Боян внук Велелеса» (Велесов внуке). Следует цитата, очевидно, подражание стилю Бояна: «Кони ржут за Сулою, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новгороде, стоят знамена в

Путивле». Велес нам известен из упоминания его в проповедях и легендах: он «скотий бог» («скот», однако, обозначало не только животных, но и всякие сокровища; поэтому мы и читаем о княжеской «скотнице» — казне); мы встречаем упоминания о его идолах (в Киеве и в Ростове [северном]). Аполлона встречаем у Амартола, как изобретателя («обрѣтатель») «мусийского» искусства. Очевидно, Велес был отождествлен с Аполлоном, поэтому «певца», поэта Бояна автор «Слова» считает «внуком Велеса».

Затем перед нами появляется Дажьбог; он предок русских вообще: в период усобиц при Олеге Святославиче (которому автор дает, вероятно, полученное им уже при его жизни — он умер в 1115 г. — прозвище «Гориславича»), в те времена «погибало достояние [жизнь] Дажьбожьего внука, в княжеских усобицах сократилась продолжительность жизни [вѣци] людей». Достояние обозначено здесь словом «жизнь» — обычное в то время значение этого слова. Войска князя Игоря, героя «Слова», были разбиты половцами: «упали знамена Игоря». Появляется Дева-Обида (я считаю это существо — образом «низшей мифологии») — она «встала в силах Дажьбожьего внука,... заплескала лебедиными крыльями на синем море, у Дона плеская прогнала обильные времена». Здесь «внук Дажьбога» — собирательное имя восточных славян, «русских»: они потеряли свое достояние во-времена княжеских усобиц, Дева-Обида появляется в их «силах», владениях в южной степи или даже на Азовском море, «у Дона», — ведь герой «Слова», князь Игорь, «искал» потерянного города и княжества Тмуторокань на Азовском море. Дажьбог в Летописи и в переводе Малалы какой-то древний восточный властелин, здесь о нем идет речь, как о каком-то доисторическом славянском князе — он (как в Летописи) бог-Солнце, Гелиос-Дажьбог — податель богатства.

Третья эвгемеристическая генеалогия «Слова» говорит о боге ветров — Стрибоге: уже в начале военных действий «ветры, внуки Стрибога веют стрелами на храбрые войска Игоря» и предвозвещают поражение, как и ряд дальнейших предзнаменований — «земля гудит, реки мутно текут, пыль покрывает поля...» Здесь, правда, кажется, что Стрибога автор «Слова» считает еще реальным божеством. Но вспомним, что до последнего времени (т.-е. в 20 веке) у украинского населения Карпат ветры считались реальными существами, волшебниками, против них

боролись специалисты-колдуны. «Внуки Стрибога», очевидно, для автора «Слова» — такие же современные ему волшебники, управляющие ветрами, как и их предок, Стрибог, известный нам уже из летописей; его кумир также стоял в Киеве, по сообщению летописца.⁷

Встречаем еще одного «предка» современников «Слова»: Игорь сам — «внук Трояна». Вопрос о Трояне не вполне выяснен. Если даже Троян — попросту римский император Траян, то воспоминания о нем могли проникнуть на Русь из упомянутых греческих хроник. У Амартола он, конечно, упоминается, как добродетельный правитель, «ненавидевший зло и любивший справедливость». Замечательно, что в его уста вложена фраза, напоминающая клятву оружием в договоре старого Игоря (10 век) с греками: Траян «обнажив оружие (очевидно — меч. Д. Ч.) перед вельможами» сказал: «если я буду хорошо управлять, пусть оно будет за меня, если же [буду управлять] плохо — пусть будет против меня». Восточная Европа — или по крайней мере ее часть «синее море у Дона» в «Слове» — «земля Трояна». Если автор «Слова» считал, что юг Восточной Европы принадлежал Римской Империи, то это, конечно, плохая география, но не лишенная глубокого смысла история! И тогда, конечно, князья Руси — наследники Траяна. Но не исключена и совершенно иная возможность интерпретации имени Трояна. Троян, м. б., был языческим божеством восточных славян — каменный идол славянского бога Трояна упоминается в известном «Хождении Богородицы по мукам» (памятник этот — перевод с греческого, но имена богов, упомянутые в переводе, славянские: «Троян, Хорс, Велес, Перун»; памятник этот далек от эвгемеризма — эти боги «злые бесы»). В таком случае обозначение Игоря как «внука Трояна» — не просто фантастическая генеалогия (позже династию Рюрика возводили к императору Августу), а также типичный эвгемеризм.

Наконец в «Слове» упомянуто еще одно языческое божество: Хорс (Хърсь). Правда Хорс упоминается не «эвгемерически»: полоцкий князь-волшебник (или даже оборотень, по предположению Р. Якобсона) Всеслав по ночам «рыскал волком», «из Киева до утрених петухов дорыскивал до Тьмуторакани» (на Азовском море), он «перерыскивал волком путь великому Хорсу». Хорс, по нашим сведениям, был богом солнца и здесь его имя упоминается, как синоним слова «Солнце» —

ночной путь Всеслава в представлении автора «Слова» скрещивался с ночным путем солнца. Кстати, это место о Всеславе — князе 11 века (1022-1101) очень вероятно, — цитата из произведения его современника Бояна, или по крайней мере подражание Бояну.

Поэтический эвгемеризм «Слова», конечно, примечательней тяжелой изложения Амртола и легкой болтовни Малалы, и конечно, ярче малоудачного пересказа в летописи.⁸

6

Нам не нужно здесь проследивать историю эвгемеризма в позднейшей русской литературе: Эллинский и Римский Хронографы принадлежали по меньшей мере до конца 16 века к основным памятникам древнерусской научной (по тогдашним понятиям) литературы. Менее значительную роль играли так наз. «Палеи» или «Толковые Палеи», т.-е. изложение Ветхого Завета со значительными сокращениями и некоторыми разъяснениями. В них, однако, вошел и иной эвгемерический материал — материал древнееврейского эвгемеризма. И новый тип Хронографов, так наз. «Иудейский Хронограф», в котором в основу была положена библейская история с дополнениями из иных источников, содержал, конечно, древнееврейский эвгемерический материал.

К сожалению, вся эта группа памятников не исследована до конца, а главное изданы только отдельные тексты: поздний, наново обработанный Хронограф, известный под названием «Хронограф 1512 года», второй Хронограф, скопированный с рукописи из собрания князя Вяземского, две весьма «случайно» выбранных для издания «Палеи» — рукописи 1407 и 1477 годов. Между тем, если даже не говорить о несколько загадочном «Хронографе», упоминающемся в летописи под 1114 годом (к нему же, возможно, восходит еще ряд цитат в галицко-волынской летописи 13 века), то несомненно, что Хронографы существовали уже в 13 веке. И «Палеи» вряд ли много моложе. А. Шахматов предполагал даже, что эти тексты комментированного Ветхого Завета были обработаны еще в 10 веке в Болгарии, — мнение это, правда, большинством специалистов отвергается. Для нас особо интересен, кроме «Эллинского» и «Римского Хронографов», уже упоминавшийся выше «Иудейский Хронограф».

В этих памятниках найдем уже нам отчасти известный материал эвгемеризма — мы, правда, приводили выше только примеры, между тем в Хронографах материал хроник Малалы и Амартола иногда изменен, иногда дополнен. В частности, в обработках Хронографа 16 в. появляются и некоторые западные источники, например, польская хроника Мартина Бельского. Здесь западные славяне являются, конечно, перед христианизацией идолопоклонниками, но без упоминания об эвгемерических предпосылках язычества. Наряду с этим, конечно, перед нами снова разворачивается вся эвгемерическая картина греческой мифологии и легенды: перед нами проходят и действительные правители и герои древней Греции, но они ничем не отличаются от божеств, которых встречаем в изобилии: Афины, Артемиду, Деметру, Посейдона, Афродиту, Асклепия, Аполлона и т. д.: они стоят рядом с Гомером, Солоном, Ликургом и, кроме того, с египетскими и древневосточными божествами и героями (встречаем, напр., Зороастра). Весь этот пестрый пантеон, конечно, вряд ли оставался в уме читателей, но у них сохранялось по крайней мере **общее впечатление** о происхождении идолопоклонства «по недоразумению».

Иные элементы обогатили так наз. «Иудейский Хронограф» (составленный в основном по историческим сведениям, взятым из Библии). Сведения о происхождении древнееврейского язычества здесь дополнены на основе древнееврейских апокрифических источников. Так, новое узнаем и о Серухе, представителе восьмого поколения после Ноя; он жил 200 лет и «первый начал делать статуи, так как он почитал мужей прошлого, как изобретателей (!) ценных предметов и как первых мудрецов; (....) многие [люди], рожденные после Серуха, не понимали его намерений и стали почитать безжизненные тела [идолов] и начали приносить им жертвы». Конечно, это наивное объяснение покоится на «порочном круге» доказательства: ведь представители нового поколения только в том случае могли принять какие-то скульптурные изображения за изображения божеств, если у них уже существовало: 1. представление о множественности божественных существ, 2. представление о том, что божественные существа имеют (или могут иметь) человеческий облик и, наконец, 3. знание о том, что где-то существует идолопоклонство и что изображениям божеств можно «приносить жертвы» (т.-е. эти изображения в какой-то степени воплощают

в себе божественные качества и силы). Конечно, в некоторых местах Хронографа как «помощники» при создании заблуждений идолопоклонства выступают «демоны», «бесы», а в других — сами идолы или языческие божества уже не просто продукт «бесовского соблазна», но сами являются «бесами».

Языческие боги в отдельных случаях выступают, как люди, герои или волшебники и в изложении новейшей истории. Так, при изображении царствования византийского императора Романа-Диогена (вторая половина 11 века) Хронограф упоминает как человека, участника войны с персами греческого бога войны — Ареса: «всюду появлялся боец («мужь гонитель») Арей, который омочая в крови и обагрывая свои руки хотел все моря переполнить кровью» (я вынужден дать здесь только приблизительный перевод этого трудного места).

В этих поздних редакциях памятников мы встречаем наряду со следами византийского эвгемеризма также следы древнееврейского. Кроме апокрифов об Аврааме, по всей вероятности, имела влияние и древнееврейская обработка ветхозаветной истории — «Книга юбилеев». Исследователи указывают также на следы еврейского эвгемеризма в «Книге Премудрости Соломоновой». Скульптурные изображения своих покойных любимых детей делали их родители, а «со временем стал господствовать безбожный обычай почитать эти статуи, как божества». Причины почитания были различны: «приказания властителей» (не указывалось, почему такие приказания давались), «суетность художников» (очевидно, их желание повысить ценность своих произведений), наконец — красота изображений...⁹ Несомненно невозможно считать единственным источником древнеславянского эвгемеризма только византийскую литературу. Ведь из каких-то иных источников эвгемеризм проник и в северные литературы: указаны следы эвгемеризма в исландской «Эдде», Саксон-Грамматик возводил веру в Одина к почитанию предков. Но эти явления интересны для нас только как параллели к славянскому эвгемеризму.

7

Во всяком случае мы встречаем эвгемеристическое понимание языческих верований в славянских литературах от 10 до 16 века: в 10 веке в житии Павла и Иулиании в «Супрасльской рукописи»; в том же веке в переводной хронике Малалы; в 11

веке в переводе хроники Амартола; в том же веке в проповеди «философа» в Летописи; в начале 12 в. (1114) в Ипатьевской летописи; несколько раньше в каком-то хронографе; в конце 12 в. (1186-7) в «Слове о полку Игореве»; не позже 15 века попал в Москву болгарский перевод хроники Манассе, также сохранивший элементы эвгемеризма; эти памятники, как и хроника Амартола переписывались до 17 века; очень важная обработка Хронографа произведена в 1512 г. Наконец с 13 века существовал и «Иудейский Хронограф». Мы знаем, что Хронографы и Палеи читались во всяком случае еще в 17 веке, а в кругах старообрядцев-начетчиков, да и православных читателей не только на севере еще и в 18 веке...

Успех эвгемерических мотивов у славян — по крайней мере в 10-12 столетиях, был, вероятно, связан и с несомненно существовавшей у славян традицией почитания предков. Что один только князь Игорь «Слова» — славянский правитель — упомянут как потомок (возможно божественного) предка Трояна, вероятно, только случайность, как и самое сохранение «Слова» от гибели несомненно многочисленных утраченных памятников... Богословы могут задать вопрос, не был ли эвгемеризм сознательно применявшимся мотивом христианской миссии и «пропаганды». Материала для ответа на этот вопрос мы не имеем, несмотря на значительное количество направленных против язычества «слов» духовных лиц и «христолюбцев» (является ли это обозначение, как некоторые исследователи предполагают, обозначением **светских** писателей, ратовавших за христианство, — вопрос нерешенный). Возможно, что истолкование некоторых мест этих писаний, сохранивших нам, между прочим, имена языческих божеств, может дать некоторые положительные или отрицательные (т.-е. установление, что эвгемеризм в этих сочинениях не играл роли) результаты. Во всяком случае существование славянского эвгемеризма несомненно, и влияние на древнерусских читателей исторической литературы он должен был оказывать. Работа — не одних только славянских — византинологов должна еще уяснить пути проникновения эвгемеристических воззрений в византийскую литературу и весьма существенное значение, которое они получили в византийских хрониках.

Гейдельберг, май 1968 г.

Дмитрий Чижевский

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Единственное из упомянутых выше имен божеств: «Перун» у великороссов, по свидетельству Даля, почти не употребительно в том смысле «молния, громовая стрела», который известен польскому языку и, возможно, под его влиянием белорусскому и украинскому, но и в них это слово редко. Встречаясь в русской поэзии от 18 до 20 века слово «перун, перуны» в смысле «молния», является, как кажется, продуктом поэтического словотворчества.

² «Умучение» — особый жанр агиографической (житийной) литературы: в «умучениях» рассказывается только о суде над святыми и о их казни.

³ Содержание этой статьи было предметом моего доклада на 2-м Конгрессе славянских историков в Зальцбурге в сентябре 1967 года. Поэтому я позволю себе здесь обойтись без детальных цитат из источников и из научной литературы: в протоколах Конгресса мой доклад появится с этим «научным аппаратом».

⁴ По всей вероятности, этот материал, если проповедь написана болгаринном или киевским летописцем, взят из византийского источника. Апокрифы или «Отреченные книги» — произведения, в которых излагаются сведения о лицах и событиях Ветхого и Нового Заветов, о которых слишком кратко или неясно говорится в Библии. Апокрифы не вошли в библейский канон, но некоторые из них охотно читались и православными читателями, чтение иных («богоотметных книг») было запрещено церковью.

⁵ Здесь следует рассказ о египетском лунном календаре, для нас не интересный.

⁶ После моего доклада на Зальцбургском конгрессе появилась (конечно, совершенно случайно) в «Археографическом Ежегоднике» за 1968 год статья З. Удальцовой о хронике Малалы. В этой статье упоминается и об истолковании язычества Малалой. Эвгемеризм авторше неизвестен. Она слишком сильно подчеркивает значение представлений о греческих божествах, как древних правителях, именно на Руси, забывая, что Малала — памятник переводный. О следах эвгемеризма в иных памятниках у нее нет и речи.

⁷ Можно бы было напомнить о недавнем докладе проф. Р. Гампе в Гейдельбергской Академии наук: автор (уже напечатанного) доклада указывал на весьма продолжительное почитание демонов ветров у греков, сохранившееся до нашего времени. Неудивительно, что с демонами ветров могли считаться на Руси еще в 12 веке.

⁸ Я указывал на эвгемеризм «Слова» в моей написанной по-немецки истории древнерусской литературы (Франкфурт, 1948, стр. 342), никто из славистов этого даже не заметил!

⁹ Материал о древнееврейском эвгемеризме собран в работах об апокрифах, например, в известной книге Е. Кауча о «ветхозаветных апокрифах».

П. Н. САВИЦКИЙ

(1895—1968)

13-го апреля 1968 года после продолжительной болезни скончался в Праге основоположник Евразийского направления русской исторической мысли Петр Николаевич Савицкий.

Петр Николаевич был человек необыкновенных дарований и разнообразных интересов — историк, географ, экономист, искусствовед, педагог. При его пламенной энергии он способен был к большим напряжениям воли. Память у него была феноменальная. Раз прочтя книгу (а читал он быстро), он мог цитировать, не заглядывая в нее вновь, целыми страницами. Силу его духа поддерживала его глубокая вера православного христианина.

Петр Николаевич родился в Чернигове в 1895 году и окончил черниговскую гимназию. Отец его, Николай Петрович Савицкий, был председателем Черниговской Губернской Земской Управы, а впоследствии членом Государственного Совета по выборам от черниговского земства. Вслед за гимназией Петр Николаевич окончил Политехнический Институт в Петербурге.

В 1920 году Петр Николаевич выехал в Болгарию, а через два года переселился в Прагу, где благодаря гостеприимству чехов создан в начале 1920-х годов русский культурный центр с русскими учебными заведениями, учеными обществами и книгоиздательствами. То были своего рода «Русские Афины», по выражению одного из его участников.

В Прагу приехали и родители Петра Николаевича. В Праге же он женился на Вере Ивановне Симоновой. Петр Николаевич стал приват-доцентом Русского Юридического Факультета, а позже был приглашен читать лекции по славяноведению в Пражском немецком университете. Кроме того, чешское правительство назначило его директором русской гимназии в Праге.

В Праге он погрузился в кипучую литературно-научную и идеологическую деятельность. В сотрудничестве с филологом

кн. Н. С. Трубецким, профессором Венского университета, часто тогда наезжавшим в Прагу, Савицкий выработал принципы «Евразийского» движения, в духе которого он написал несколько книг и статей и редактировал (вместе с Трубецким) серию «Евразийских сборников» и также «Евразийскую Хронику». К участию в этих изданиях Савицкий привлек ряд русских ученых разных специальностей, из которых некоторые восприняли (хотя бы с оговорками) евразийскую философию истории, а другие от нее довольно скоро отошли.

Основоположное значение имеют труды Петра Николаевича этого времени «Географические особенности России» и «Россия — особый географический мир» (1927), а также «Месторазвитие русской промышленности» (1932). Очень ценны его работы «Геополитические заметки по русской истории» (1927) и «О задачах кочевниковедения» (1928).

Сущность взглядов Савицкого самым сжатым образом можно выразить так: Россия не Европа и не Азия, а особый культурный мир, лежащий между Азией и Европой, исторически развивавшийся то во взаимодействии, то в борьбе и с Европой и с Азией.

Одним из главных факторов исторического процесса с точки зрения Савицкого является тесная связь жизни народа с его географической основой — его «месторазвитием» (термин, введенный в научный оборот Савицким).

Савицкий и Трубецкой признавали славянскую основу русского народа, равно как и значение Византии для развития древнерусской культуры. Наряду с этим они обратили большое внимание на роль других, в особенности восточных, народностей и племен, проживавших на обширной территории России — Евразии, преимущественно тюрко-татарских и монгольских. По мнению Савицкого, нельзя надлежащим образом понять ход русской истории без достаточного учета взаимоотношений между русским народом и миром кочевников.

Одним из самых значительных проявлений русской культуры Савицкий считал архитектуру и вообще искусство. Его первая печатная работа была посвящена каменному зодчеству Украины (1913). Понятно его возмущение систематическим уничтожением памятников старины и распродажей за границу сокровищ русских музеев, начавшимися после 1928 г. Об этом Савицкий написал в 1937 г. две книжки, проникнутые скорбью и

негодованием — «Разрушающие свою родину» и «Гибель и воссоздание неоценимых сокровищ» (обе появились в издании евразийцев). «Во втором десятилетии своего существования, — пишет Савицкий, — коммунистическая власть показала себя ожесточенным и ни перед чем не останавливающимся разрушителем ценнейших памятников культуры». Обе книжки основаны на данных, извлеченных из советских источников. В первой книжке дана общая картина разрушений по всей России. Во второй описывается разгром памятников старины, произведенный в Киеве в 1936 году, в том числе снос Михайловского монастыря, основанного в XI веке. В приложении ко второй книжке Савицкий поднял вопрос о необходимости прекращения дальнейшей вакханалии разрушений и образования «Комиссии зодческого восстановления».

Голос его не был услышан коммунистическими главарями, но по всей вероятности, дошел хотя бы до некоторых русских искусствоведов, которые и сами стремились поставить предел стихии разрушения, но были тогда бессильны это сделать. Добиться принятия сколько-нибудь действительных мер для повсеместной охраны памятников старины русским искусствоведам удалось лишь значительно позже.



Я познакомился с Петром Николаевичем вскоре после его приезда в Прагу. Знакомство скоро перешло в дружбу, все укреплявшуюся и продолжавшуюся до самой его кончины. В 1927 году я уехал в Соединенные Штаты и наша дружба поддерживалась частой перепиской. Два раза общение прерывалось обстоятельствами от нас независевшими.

Первый — длительный — перерыв начался во время второй мировой войны и оккупации Чехословакии немцами. Петр Николаевич был удален из Немецкого университета, но не отстранен от руководства русской гимназией. Держался он по отношению к немцам непримиримо и только чудом избежал Гестапо. Через несколько дней после того как в 1945 году в Прагу вошли советские войска Петр Николаевич был арестован агентами советской политической полиции и увезен в Россию. Жена его и два сына подростка, Николай и Иван, оставлены были в Праге. Вера Ивановна не растерялась. Она нашла себе хороший зара-

боток переводчицы с чешского на русский язык и сумела прекрасно воспитать сыновей.

После мытарств по советским тюрьмам Петр Николаевич был водворен в трудовой лагерь в Мордовской области. Для поддержания духовной бодрости П. Н. начал слагать в уме стихи. Записывать их приходилось в труднейших условиях тюрьмы и ссылки — на клочках бумаги, на книжных переплетах, на надорванных конвертах. Тут-то особенно пригодилась ему его необыкновенная память.

В 1960 году книжка этих стихов (под псевдонимом «П. Востоков») была издана в Париже Объединением Питомцев Политехнического Института. Среди этих стихотворений некоторые отражают личные чувства и переживания Петра Николаевича в заключении. Большинство стихов посвящено России, русским людям, русской истории — «Подвижники и страстотерпцы Руси», «Образы Руси древней», «Города древнерусские», «Строители и пионеры».

В 1956 году, в связи с «де-сталинизацией», Савицкий был досрочно освобожден из лагеря и возвращен в Прагу. Коммунистическая Чехия приняла его негостеприимно. Власти отказались дать ему какое-либо место по учено-педагогической части и таким образом использовать его таланты и знания. Ему пришлось заняться плохо-оплачиваемой непостоянной работой, главным образом, переводами с чешского языка на русский книжек и журнальных статей на исторические, литературные и экономические темы. В этой работе часто бывали перерывы. Жилось ему трудно.

В октябре 1960 года Петра Николаевича постиг тяжкий удар судьбы — скончалась от рака легких его горячо им любимая жена. До своей болезни она много помогала ему в его работах.

По возвращении в Прагу из советской ссылки Савицкий возобновил переписку со своими друзьями в Европе и Америке. Это обстоятельство не нравилось коммунистическим властям. Особенно их раздражало издание во Франции «Стихов Востокова». Раскрыть псевдоним чешским агентам, конечно, было трудно.

В мае 1961 года Савицкий был арестован и заключен в тюрьму. Заключение тяжело отразилось на его здоровье. Случилось так, что в следующем году впал в немилость министр вну-

тренних дел (по приказу которого Савицкий был арестован) и многие пострадавшие при нем лица были амнистированы. Включению Савицкого в число амнистированных, по всей вероятности, способствовало заступничество Бертрана Рёсселя и ряда других английских и американских ученых.

По выходе из тюрьмы Савицкий оказался в очень трудном материальном положении, да и здоровье его пошатнулось. После годового перерыва не сразу удалось ему получить какую бы то ни было работу. Первое время ему помогали политехники и другие его заграничные друзья. Понемногу он стал на ноги, хотя опять бывали перерывы в предложении работы.

Осенью 1967 года здоровье Петра Николаевича начало быстро сдавать. Обнаружилась тяжелая болезнь. Операция прошла неудачно; последовали разные мучительные исследования. Савицкий лежал то в госпитале, то дома, где часто некому было за ним ухаживать. Он переносил свои страдания с поразительным напряжением волн и силою духа. Продолжал свою работу для заработка. Продолжал живо интересоваться новыми книгами о России и русской культуре. Продолжал переписываться с друзьями.

Последнее время своей жизни он особенно интересовался древнерусским искусством, следил за текущей хроникой состояния памятников старины в России, печалился всякому сообщению о разрушении этих памятников и радовался хотя бы запоздалым стараниям советского правительства и русских искусствоведов спасти и восстановить то, что еще можно было спасти.

Сквозь весь свой тернистый жизненный путь Савицкий пронес стремление к высшим духовным ценностям, пылливость ума, творческое отношение к жизни, деятельный интерес к общению с людьми и горячую веру в Россию и русский народ.

Г. В. Вернадский

НАУЧНОЕ НАСЛЕДСТВО П. А. СОРОКИНА

10-го февраля с. г. скончался заслуженный профессор Харвардского университета, самого старого в Новом Свете и наиболее почитаемого в ученых и студенческих кругах. Скончался П. А. в собственном доме, окруженном садом, в котором покойный охотно работал. Незадолго перед смертью он праздновал с женой, специалисткой по биологии, золотую свадьбу. Родился П. А. в январе 1889 г. в крестьянской семье, при том в одном из самых глухих уголков Европейской России, в той части Вологодской губернии, которая ныне стала именоваться «автономной республикой Коми (зырян)». Редкая, завидная судьба! Она напоминает судьбу Ломоносова, который также родился на крайнем севере России, в Холмогорах, в Архангельской губернии, также в крестьянской семье. Об этом я уже писал в «Н. Ж.», кн. 79. В этой статье я не буду говорить о биографии Сорокина, я хочу вкратце обрисовать вклад Сорокина в ту науку, которой он посвятил жизнь, а именно в теоретическую социологию. Прежде всего П. А. дал этой науке определение, которое было принято чуть ли не всеми.

По его определению, социология есть наука об обществе, занимающаяся теми свойствами общества, которые проявляются во всех видах бытия и изменения общества, а также соотношением между отдельными видами, напр., политическим и экономическим. Это определение было навеяно трудами проф. Л. Петражицкого, взгляды которого Сорокин сохранил до самого конца своей научной деятельности. Петражицкий утверждал, что если сам объект изучения состоит из n видов, то необходимо построить $n + 1$ теорий, из которых n будут покрывать каждый из видов, и $n + 1$ -й теорию, которая их объединит. Это отнюдь не означает, что социология стоит выше наук об отдельных видах общественных явлений как учили некоторые ранние социологи. Социология не выше, напр., экономики

или криминологии (т.-е. науки о преступлениях и наказаниях). Все эти учения составляют некоторую систему, в которой части влияют на целое, а целое на каждую из них.

Итак, перед Сорокиным, как и перед другими социологами, стояла задача установить элементы, и следуя за Зиммелем, одним из выдающихся немецких социологов конца XIX века, Сорокин признал необходимым элементом каждого социального явления взаимодействие, которое он определил так: взаимодействие дано, если действие А значительно или ощутительно влияет на поведение Б; это последнее может влиять на важнейшие действия А, но это не обязательно. Взаимодействие может проявляться в действиях нескольких лиц, иными словами, привести к образованию целых цепей.

Если взаимодействие между несколькими лицами часто повторяется, то можно сказать, что эти лица образуют социальную группу, кратковременную или длительную. Отдельные группы обнаруживают тенденцию сливаться в более или менее прочные конгломераты, которые мы называем системами. Система — очень общее научное понятие, которое может быть приложено не только к развитым социальным группам, но и к идеям (напр., система римского права), но такие системы в социологии изучаются лишь в отдельных случаях.

Общества, из которых слагаются системы, могут быть организованы, неорганизованы или дезорганизованы. Каждое организованное общество несет какой-нибудь «центральный» смысл или ценность; эта последняя часто сводится к «идее». Центральное ядро непременно состоит из логически согласных предложений. Нормы, о которых тут говорит Сорокин, почти всегда начинаются «правовыми». Здесь опять чувствуется влияние Л. Петражицкого, крупного русско-польского ученого, которое осталось у Сорокина до самого конца.

Культура, понятие которому Сорокин отдал много труда, есть совокупность всего сотворенного или признанного данным обществом, на той или другой стадии его развития. Некоторые культурные системы независимы от признания их; простейшим примером может служить $2 \times 2 = 4$. Другие зависят от признания (напр., разные физические теории). Многие системы могут быть объективированы, т.-е. выражены в форме, понятной многим. Наконец, отдельные системы могут стать «социаль-

но-культурными», т.-е. действенными в человеческих взаимоотношениях.

Главным свойством социально-культурных систем является тенденция к объединению в системы высших рангов, в которых отражаются смыслы и ценности отдельных систем. Такие системы Сорокин называет «сверхсистемами», которые по необходимости связаны с теми или другими населенными. К сожалению, Сорокин не дает определения термину «население». Но он утверждает, что всякая сверхсистема может быть разложена на 5 следующих систем: язык, религия, искусство, этика, наука. Но «сверхсистема» не совпадает с совокупностью культурных ценностей принимаемых данным населением. Кроме систематизированных элементов наблюдаемых в данном населении, в культуре данного общества попадают пучки смыслов (идей) и ценностей, несогласимых с господствующей сверхсистемой. Так, например, в России начала 19-го века господствовала культура, которую можно было бы, по следам Уварова именовать православной и самодержавной, но уже тогда проявлялись ростки атеизма и вера в демократию.

Термин «система», как уже было сказано, применяется Сорокиным для обозначения целого, состоящего из более простых единиц, при том сохраняющих частичную автономию. Кстати, определения не всегда удавались Сорокину, как и другим ученым. Так, например, война определяется Сорокиным, как схватка двух сил, стремящихся победить одна другую. На этой почве трудно построить убедительную теорию войны. Да и сам Сорокин не пользовался в своей «Социальной и культурной динамике» таким определением.

Весьма значительно и убедительно сорокинское построение типов культуры. На основе внимательного изучения классической (т.-е. греко-римской) культуры и европейской культуры за два тысячелетия Сорокин пришел к выводу, что основных типов культуры только два — идейный и чувственный. Первый тип налицо, если носители данной культуры основывают свои воззрения на господствующих идеях, хотя бы весьма примитивных; второй — чувственный тип, если большинство носителей культуры обращает главное внимание на осязаемые чувствами предметы. Между этими двумя основными типами обнаруживаются два переходных типа. Один из них Сорокин назвал идеалистическим (лучше было бы назвать — гармоническим, чтобы

не вызвать смешение с идейным). Этот промежуточный тип, характеризуется, как сочетание двух основных типов, иными словами, слияние обоих элементов в целое, в котором признается значение и идей и чувственно осязаемых предметов. Образцами этого типа можно считать Золотой Век древней Греции (приблизительно с V по IV век до Р. Х.), а позже — Ренессанс. Другой промежуточный тип характеризуется присутствием элементов обоих основных типов, однако, противостоящих друг другу; таковым было состояние Европы в первые века по Р. Х., когда ростки христианства противостояли все еще сильному язычеству.

Сорокинские типы — не проявление какой-то страсти к классификации. Эти типы оказываются «адекватными», т.е. подходящими для формулировки основной теории культурной и социальной динамики. В 4-томном труде Сорокина, так озаглавленном, теория волнообразного изменения культур — от идейного типа к гармоническому, а иногда смешанному типу, и дальше к чувственному типу, а через некоторое время обратное движение к старому идейному типу, обыкновенно проходят через смешанный тип. Критики Сорокина утверждали, что он присоединяется к тем мыслителям, которые утверждают, что «история повторяется». Сорокин с полным основанием отвергает такое толкование своих мыслей. Повторяются лишь центральные темы культур, которые, однако, осуществляются в весьма разнообразных культурах, в зависимости от различных состояний таких ее элементов, как психика или религия. Сорокин заявляет, что он не ручается за справедливость своей теории в отношении культур, оставленных вне поля его зрения при построении своей теории. Но он полагает, что его теория «волнообразного движения культур», применима к культурам египетской, индийской, китайской, в которые он делает краткие экскурсии. Только по более тщательном изучении этих культур можно будет сказать, покрывает ли их его теория.

Но почему же движутся, т.е. изменяются культуры? Сорокин отвечает: культуры движутся имманентно, т.е. силами в них заложенными, а не посторонними факторами, на которых строили свои теории эволюционисты. Культуры изменяются, потому что такова их природа. Носители культуры стремятся развить заложенные в ней силы и доводят их до такого предела, что дальше идти некуда — при данном состоянии техники,

Н. С. ТИМАШЕВ

науки, религии и т. д. Тогда культура останавливается, а носители ее поневоле обращаются к другим принципам. Но их только два — идеи или материальные предметы; один из них представляется исчерпанным и приходится обращаться к другому.

На почве своей теории, Сорокин предсказывает, что культура наших дней близка к «чувственному» пределу, и что ей придется остановиться и начать двигаться в направлении к идейной культуре. Но так как движение «культур» медленно, то никто из ныне живущих людей не доживет до времени, когда можно будет сказать, оправдались ли эти его предсказания (как напр., оправдалось его предсказание, сделанное очень давно, что наше время будет богато войнами и революциями).

Стоит сказать несколько слов о мнении Сорокина о своей социологии. Он называет ее «интегральной», т.-е. пользующейся всеми источниками познания и наблюдения, и рациональными выводами из них и «интуицией», или сверхчувственным познанием, которое он отождествляет с верой, что сомнительно, т. к. вера предполагает признание какого-то авторитета, считающегося незыблемым (как христиане делают со Священным Писанием); Сорокин ничего подобного не делает.

В этой статье я кратко обрисовал то новое, что внес Сорокин в науку, которой он посвятил свою жизнь. Кроме того, Сорокин внес свои идеи, часто поправки, в разные отрасли социологии, напр., в учение о социальных классах и о передвижении людей из одного класса в другой.

Можно быть уверенным, что имя Сорокина прочно войдет в историю социологии. Вероятно, его имя будет поминаться наряду с основателями социологии О. Контом и Г. Спенсером и с ее главными двигателями после них, напр., Э. Дюркгеймом и Максом Вебером. Среди нынешних социологов нет ученого, столь же высокого ранга, как П. А. Сорокин.

Н. С. Тимашев

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

М. М. ТЕР-ПОГОСЬЯН

Есть люди, смерть которых кажется совершенно естественной и когда их хоронят, приходится чаще всего слышать слова о том, что «все там будем», — слова, которые столько раз повторялись, что давно потеряли свою убедительность. Но есть люди, мысль о смерти которых кажется непонятной и никакие логические доводы этого изменить не могут.

Одним из таких был Михаил Матвеевич Тер-Погосьян. Я не знал более неутомимого человека. В нем был такой запас жизненной силы, такая жажда деятельности, что главным его врагом было безличное и неутомимое время, то, что в сутках только двадцать четыре часа. Про него можно сказать, что он прожил бурную жизнь. Но жил он больше всего для других и меньше всего для себя.

Он родился в 1890-ом году и умер в декабре 1967-го года, семидесяти семи лет отроду. Но слово «возраст» к нему как-то не подходило, он жил вне этого понятия. Он был армянин, родом из Эривани, кончил юридический факультет Петербургского университета в 1912 г., но стать профессиональным адвокатом ему не было суждено. В 1914 г. он был в действующей армии, на фронте, затем, в 1917 г. в Петербурге, при Временном Правительстве, потом на Кавказе, где принимал участие в гражданской войне против большевиков, — и наконец в эмиграции, в Париже, где прожил большую часть своей жизни. В течение долгого времени и до своей смерти он был председателем общества «Быстрая помощь» и именно благодаря его хлопотам был расширен и улучшен старческий дом в Ганьи, возле Парижа, где нашли себе убежище многие пожилые русские интеллигенты, у которых не было средств к существованию.

Но это, так сказать, официальная сторона его жизни, как и то, что он принадлежал к той категории людей, которых называют общественными деятелями. Это, конечно, было его при-

званием и давало выход части его неисчерпаемой душевной энергии. Но определение «общественный деятель» было бы для него все-таки слишком узким.

Он был русским интеллигентом в самом лучшем значении этого слова. И он был в каком-то смысле одним из самых счастливых людей, каких я знал, потому что был органически чужд пессимизму, сомнениям, колебаниям. Как то, после разговора с Алдановым, которого он очень любил, как человека и писателя, он мне сказал:

— Вы знаете, я не понимаю, как у Марка Александровича хватает сил жить. Вы подумайте, — он ни во что не верит.

Сам Михаил Матвеевич верил во многое. Он верил, что люди лучше по природе, чем кажутся, что стремление к свободе непобедимо, что рано или поздно гуманизм и демократия восторжествуют повсюду. Человеческая низость во всех ее видах — угодничество, подхалимство, жадность к деньгам, оппортунизм, нечестность — все это было настолько чуждо ему, что ему были нужны необыкновенные усилия воображения, чтобы себе это представить.

После того, как союзные войска освободили Париж в 1944 году, французские власти занялись вопросом о тех русских эмигрантах, которые во время оккупации сотрудничали с немцами. Они обратились к Маклакову с просьбой помочь им выяснить, насколько того или иного эмигранта следовало считать виновным в очень неблагоприятном, мягко говоря, поведении. Маклаков ответил, что у него на это нет времени и посоветовал обратиться к его близкому другу, Тер-Погосьяну. И Михаил Матвеевич стал, таким образом, чем-то вроде арбитра в этих вопросах. И вот, в числе тех, кто рисковал попасть в тюрьму и под суд за сотрудничество с оккупационными властями, был один третьестепенный литератор, которого до войны нигде не печатали — его книги выходили, кажется, только в Китае на русском языке. Когда в Париже открылась газета «Парижский вестник», которую субсидировали немцы, там стали появляться статьи этого человека под такими заглавиями, как «налет англо-американских бандитов на завод Рено» и другие, в том же роде. В «Парижском вестнике» он сотрудничал до конца оккупации. Когда союзные войска заняли Париж, он заперся у себя в квартире и боялся выходить. И вот, Михаила Матвеевича спросили, как по его мнению следует поступить с этим человеком: — аресто-

вать? судить? — Оставьте его в покое, — сказал Тер-Погосьян. — Он не отвечает за свои поступки. Никакое наказание, которому вы его могли бы подвергнуть, не сравнится по своей жестокости с тем, как поступила с ним судьба — более беспощадно, чем любое человеческое правосудие: она сделала его неудачником. И благодаря заступничеству М. М. этого человека не тронули и он, вероятно, до конца своих дней не знал, кому был обязан тем, что его не посадили в тюрьму.

Во время войны и оккупации М. М. был больше занят, чем когда бы то ни было. Чаше всего в эти времена у него и у его жены, Анны Александровны, не было своего угла, хотя у них была квартира в четыре комнаты возле Porte de St-Cloud. Вся эта квартира была занята людьми, которые скрывались от немцев, чаще всего евреями.

Люди, мало знавшие М. М., считали его общественным и политическим деятелем и были склонны думать, что его интересы ограничивались только этой областью. Но нет ничего более ошибочного, чем это мнение. Я присутствовал на нескольких его лекциях, которых я был единственным слушателем. Это случалось тогда, когда я приходил к нему вечером и мы сидели вдвоем и разговаривали. Помню, как он полтора часа говорил об итальянской живописи, которой был знатоком. В другой раз М. М. со своим всегдашним увлечением говорил о Тейар де Шардэне. В третий раз речь шла о декабристах — и этот исторический период он знал так же хорошо, как двадцатые годы нашего столетия. В том, что его интересовало, у него была непогрешимая память — он помнил наизусть стихи Вячеслава Иванова, Белого, Блока, Мандельштама. Я думал о его неутомимой общественной деятельности и недоумевал: когда же у него было время для всего остального? Когда он успел все это узнать, прочесть, запомнить?

Он был болен уже давно — болезнь вызывала у него тоже чрезвычайно своеобразную реакцию. Он никогда не жаловался и не жалел себя, как это часто у больных. Болезнь его раздражала — не потому, что он испытывал страдания, а оттого, что она мешала ему жить так, как он хотел: утром ехать в министерство по делам, потом обедать с друзьями, потом отправляться за город и вечером идти на собрание, где он должен был выступать. — Вы подумайте, что из-за какой-то глупейшей

аорты я должен сидеть дома. Что может быть более унижительного?

Он принадлежал к числу людей, которые никогда не говорят о своих личных чувствах и переживаниях. Но после того, как его жена скорпостижно умерла, его друзья боялись, что он покончит с собой — и на него было жалко и страшно смотреть. Казалось, что жизнь потеряла для него всякий смысл. Это состояние продолжалось много месяцев и только потом он постепенно стал приходить в себя. Но таким, каким он был прежде, он уже не стал больше никогда. Всегда было впечатление, что он видит рядом с собой тень, которая заслоняет от него солнце.

Но и это не изменило его отношения к людям. Он бывал часто очень резок и непримирим в своих суждениях. Но когда те, о ком он так отзывался, обращались к нему за помощью, он им не отказывал, и когда ему как-то сказали об этом, он ответил:

— Я не могу дать этому человеку то, чего он не заслуживает, элементарного уважения к нему. Но помочь ему легче, чем подать ему руку. Вы никогда не замечали, как подлецы, которые знают, что они подлецы и знают, что другие их презирают, — как они могут быть несчастны?

У него было развито чувство юмора. В кругу друзей, рассказывая однажды о своем детстве в Эривани, он сказал, что там в те времена был учитель музыки, необычайно одаренный музыкант. И когда его спрашивали, какое музыкальное достижение он может себе поставить в заслугу, он говорил: — Я? Да вы знаете, чего я добился? Я даже Тер-Погосьяна научил играть на скрипке гамму.

— Меня иногда одолевает маниловщина, — сказал мне как-то М. М. — Когда это со мной случается, я представляю себе идиллическое государство, где правительство состояло бы исключительно из порядочных и умных людей, где все депутаты парламента культурны и честны и где не нужен уголовный кодекс потому, что нет уголовных преступников. Как это было бы замечательно! — Потом он сделал паузу и прибавил: — Но жить в таком государстве... я думаю, тоска была бы смертная. Как вы знаете, нет ничего скучнее, чем сплошная добродетель.

У него был глубокий интерес к истории и удивительная сила воображения. Когда он вспоминал, например, об убийстве

Павла Первого, он говорил об этом с таким неподдельным волнением, точно он сам был участником этого заговора. Он до конца не мог примириться с тем, что Римская Империя должна была погибнуть под натиском варваров. Иногда, в середине разговора об эмигрантских делах, он вдруг останавливался в раздумье и умолкал.

— Вы что, Михаил Матвеевич?

— Я не понимаю одной вещи. Я просто отказываюсь ее понимать. Не понимаю, хоть убейте.

— Чего именно?

— Я не понимаю, как Наполеон отказался бросить в бой старую гвардию во время Бородинского сражения.

Его интересовало все — Шекспир и аграрная реформа в России, Тинторетто и какой-нибудь роман Симонова, Моцарт и Чайковский, пьесы Кальдерона и очередная постановка «Грозы» Островского. Он очень хорошо знал сравнительную ценность этих вещей, но это все его интересовало.

Меня не было в Париже, когда он умер и известие о его смерти, — хотя я давно знал, что он тяжело болен, — показалось мне неправдоподобным, не хотелось верить. Он был воплощением необыкновенной жизненной силы и связать смерть с представлением о нем было трудно. Но встреч с ним больше не будет. Останется только воспоминание о нем и неизгладимая, постоянная благодарность этому человеку за его самоотверженную жизнь и за то, что нельзя назвать иначе, как несравненной душевной силой.

Г. Газданов

БИБЛИОГРАФИЯ

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. *На берегах Невы*. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1967 (491 стр.).

Ирину Владимировну Одоевцеву не приходится «рекламировать». Читатели хорошо знают ее, как талантливого поэта и искусного прозаика. Ее сборники стихов — «Двор чудес», «Десять лет», «Контрапункт», «Одиночество» (к сожалению, по требованию автора из-за неправильной верстки стихотворений этот сборник был уничтожен). Ее проза — «Ангел смерти», «Оставь надежду навсегда» и др. Творчество Одоевцевой достаточно оценено русской критикой. В свое время даже сам всеильный наркомвоен Лев Троцкий ее стихи отметил «и в гроб сходя благословил». Сейчас перед нами увесистый (в 500 стр.!) том воспоминаний Одоевцевой — «На берегах Невы». В предисловии к этой интереснейшей книге Одоевцева пишет: «Я ни за что не стала бы описывать свое «детство, отрочество и юность», своих родителей и — как полагается в таких воспоминаниях, несколько поколений своих предков — все это никому не нужно». Думаю, что Одоевцева права, такие воспоминания очень редко бывают ценны. Она взяла гораздо более интересную тему только литературных воспоминаний о жизни (и, конечно, о творчестве) петербургских поэтов в страшные 1918-1921 годы.

У прозаика Одоевцевой редкий природный дар: если вы раскрыли ее книгу, вы от нее не оторветесь пока не дочитаете до конца. Проза Одоевцевой всегда заразительна, увлекательна, легка. Такова и отчетная книга, тем более, что действующие в ней лица — Гумилев, Мандельштам, Сологуб, Кузмин, Ахматова, А. Белый, Г. Иванов и др. — всё люди литературно-интересные. Под пером Одоевцевой все они живы и характеристики их ярки. Всякий, кто будет писать, например, о Гумилеве или Мандельштаме, никак не сможет обойти «На берегах Невы». И не только из-за меткости и интересности характеристик поэтов, но и потому, что «свидетель истории» Ирина Одоевцева дает множество неизвестных дотоле фактов, которые и могла дать только она, почти последняя из петербургской «стаи славных».

Больше всего в этой книге рассказано о Н. С. Гумилеве. Это естественно, ибо Одоевцева, ученица Гумилева, очень близко его знала. Мы видим Гумилева и в студии поэзии — в роли мэтра, и в полуго-

лодном тогда «Доме Искусств» (описанном многими — Ходасевичем, Шкловским, Форш и др.) и у себя дома, в частной жизни. С большим тактом Одоевцева касается отношений Гумилева и Ахматовой. Вот описание панихиды по расстрелянном Гумилеве (которого, кстати сказать, по слухам допрашивал небезызвестный литератор и чекист, следовательно, Осип Брик, друг Маяковского): — «Панихида по Гумилеву в часовне на Невском. О панихиде нигде не объявляли. И все-таки часовня переполнена. Женщин гораздо больше чем мужчин. Хорошенькая, заплаканная Аня (вторая жена Гумилева, рожд. Энгельгард. *Р. Г.*) беспомощно всхлипывает, прижимая платок к губам и не переставая шепчет: «Коля, Коля, Коля, ах, Коля!» Ее поддерживают под руки, ее окружают. Ахматова стоит у стены. Одна. Молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлиplyвающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она — Ахматова».

Очень хороши портреты Кузмина, Мандельштама, Сологуба, легкая зарисовка Александра Блока. Все сделано мастерски. Вот, например, Мандельштам в какой-то отдаленной комнате «Дома Искусств», читающий свои известные стихи «Я слово позабыл, что я хотел сказать»: — «Я стою перед ним очарованная, заколдованная. Я чувствую смутный страх, как перед чем-то сверхъестественным. Только он умеет так читать свои стихи. Только в его чтении они становятся высшим воплощением поэзии — «Богом в святых мечтах земли». И теперь, вспоминая его чтение, мне всегда приходят на память его же строки о бедуине, поющем ночью в пустыне... Да, когда Мандельштам пел свои стихи, всё действительно исчезало. Ничего не оставалось кроме звезд и певца. Кроме Мандельштама и его стихов».

Интересен в зарисовке Одоевцевой литературный вечер в «Союзе поэтов», где с чтением своих стихов выступали Блок («Под насыпью, во рву некошенном») и Кузмин. И столь же хорошо — прощание Одоевцевой с Сологубом перед ее отъездом на Запад. Да вообще, «не счесть алмазов» в этой талантливой, увлекательной книге, которая, я думаю, будет оценена не только в русском зарубежье, но будет особенно ценна для советского читателя и писателя, как последние страницы о последних поэтах «Серебряного Века».

«На берегах Невы» издана прекрасно, среди иллюстраций есть редкие фотографии, обложка работы Ю. Анненкова, как всегда, искусна. Полагаю, что и второй том литературных воспоминаний Одоевцевой «На берегах Сены», о писателях и поэтах русского зарубежья, будет столь же интересен и увлекателен. Его И. Одоевцева, кажется, заканчивает.

Роман Гуль

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА. *Грасский дневник*. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1967 (315 стр.).

Г. Н. Кузнецова написала превосходную книгу. Всякий, кто будет когда-нибудь писать о И. А. Бунине (т.-е «исследовать его жизнь и творчество») не сможет обойти эту талантливую книгу, рассказывающую о самом большом отрезке жизни Бунина — о Бунине в эмиграции. А в эмиграции, как известно, Бунин написал многие из своих лучших вещей.

«Грасский дневник» читается с большим удовольствием и интересом. Во-первых, потому что книга написана хорошим «бунинским» языком. А во-вторых, потому что по ее страницам проходят кроме «хозяина» Ивана Алексеевича и Веры Николаевны многие видные представители русского искусства и литературы за рубежом: Рахманинов, Мережковский, Гиппиус, Алданов, Степун, Шестов, Фондаминский, Зайцев, Сорин, Ильин и др. Но, конечно, основная ценность книги — в ее главном действующем лице — в И. А. Бунине. Он дан и как человек, и как художник, с характерными для него чертами (приятными и неприятными), с его рассказами, шутками-прибаутками. Мы видим Бунина необычайного рассказчика, чьи рассказы за «чайным столом» в записях Г. Кузнецовой иногда воспринимаются как отрывки художественного произведения (напр., хотя бы рассказ о провинциальном русском публичном доме и мн. др.).

Для биографов Бунина и исследователей его творчества ценны будут страницы о том, как Бунин писал свои вещи, как «страдал» над ними, как часто бывал в них неуверен, как ему бывала нужна поддержка со стороны благорасположенного читателя. Интересны, конечно, и отзывы Бунина о литературе и об отдельных писателях, которых он любил или не любил.

Признаюсь, я не принадлежу к числу идолопоклонников Бунина. Конечно, он был замечательный писатель, особенно, как автор коротких (и очень коротких) вещей. Многие из них незабываемы. Но что касается больших его полотен, то вряд ли они останутся в памяти и в сердце многих читателей. На эту тему, в книге Г. Кузнецовой очень хорошо говорит сам Бунин в разговоре с Адамовичем: «И. А. сказал, что ему кажется, что надо писать совсем маленькие сжатые рассказы в несколько строк и что, в сущности, у всех самых больших писателей есть только хорошие места, а между ними — вода». Думаю, что в этой мысли Бунина — большая правда. Так вот и в его «Жизни Арсеньева», например, — много замечательных отдельных страниц и десятков страниц, много тонких и изумительных описаний. Но в целом эта вещь вряд ли удачна: дочитать ее до конца, по правде сказать, трудновато.

Бунин не был прирожденным романистом, как, например, Досто-

евский. И будучи человеком страстным, пристрастным, нетерпимым, может быть, отчасти поэтому так и не любил Достоевского. Вот интересная запись Г. Кузнецовой о том, что говорил, читая «Бесов» Достоевского, Бунин: — «Нет, плохо! Раздражает! — Что же вы хотите сказать, что Достоевский плохой писатель?, закричал З. — Да, я хочу сказать, что Достоевский плохой писатель...» Сила мысли Достоевского, его способность проникновения в глубины человеческих душ были чужды и несвойственны Бунину. Поэтому-то, думаю, Достоевский и «раздражал» его. А вот жена его, Вера Николаевна, говорила — как пишет Г. Кузнецова — «что Достоевский объяснил ей многое и в самом Иване Алексеевиче и в жизни всего нашего дома».

Очень реалистичен в этой книге портрет Бунина-человека. Прекрасны описания Бунина-рассказчика и спорщика, и даже Бунина-актера (Бунин бесподобно представлял многих людей в лицах). «Он большой актер в жизни», пишет Г. Кузнецова и приводит этому интересные примеры. Думаю, это верно, в Бунине так же как в Алексее Толстом и в Максиме Горьком было что-то художнически-актерское: все они были разного амплуа и разного тона, но все трое любили «поактерствовать», что, конечно, не могло быть свойственно ни Достоевскому, ни Льву Толстому, ни ненавистному для Бунина Александру Блоку, например.

«Грасский дневник» — очень интересная книга и всяким прочтется с увлечением. При чем все написано Г. Кузнецовой с большим благородством. Ни на одной странице вы не увидите «Бунина в пантуфлях», на что так падки всевозможные вульгарные воспоминатели о больших писателях.

Мы знали Галину Николаевну Кузнецову, как автора талантливых стихов и рассказов. «Грасский дневник» только закрепляет это мнение о даровании этого писателя.

Роман Гуль

Г. О. ВИНОКУР. *Маяковский — новатор языка*. Перепечатка московского издания 1943 года. Вильгельм Финк Ферлаг. Мюнхен. 1967.

Одна из самых благодарных задач, действительно несущая читателям прямое и неопровержимое благо — это переиздание трудов, ставших библиографической редкостью. Дело это, хоть не спеша, потихоньку, но делается — и в Советском Союзе, и за рубежом. Так, в 1966 году в Москве переиздано блестящее исследование «посмертно реабилитированного» А. Лежнева — «Проза Пушкина». За рубежом большую работу в этом направлении делает Вильгельм Финк Ферлаг в Мюнхене, Джонсон Репринт Корпорэйшен в Нью Йорке, отдельные

американские университеты, кн. дело В. Камкина и др. Недавно, на радость словесникам, вышла в Мюнхене, в изд-ве Финк Ферлаг, под редакцией Дм. Чижевского, работа безвременно умершего в 1947 году филолога и литературоведа Г. Винокура о языке Маяковского.

Вступлением к книге служит статья-справка (на немецком языке) Д. Чижевского о Винокуре. Из нее мы узнаем, что в 1959 году в Москве был издан том избранных трудов Винокура; однако, ныне предлагаемая читателю работа о Маяковском не была включена в него «по не совсем понятным соображениям», как пишет Чижевский: потому ли, что ее сочли чересчур формалистической, или потому, что Винокур рассматривает творчество Маяковского, как **единое целое**, не отделяя певца коммунизма от раннего новатора языка, как это старается сделать официальная критика (вольный перевод-пересказ мой. О. А.).

Как бы там ни было, благодаря Д. Чижевскому книга Винокура издана, и эта книга, — с ее высоким уровнем специализации, — проглатывается как увлекательный роман. Может быть, так изящно и точно писали у нас только молодые «формалисты» начала века. По чувству меры, по благородной сухой точности стиля книга Винокура напоминает книги французских эссеистов — Реми-де-Гурмона, Эмиля Фаге.

Первую часть книги Винокура можно охарактеризовать как усилия отмежевать раннего Маяковского от футуристов-заумников. Казалось бы, это задача рискованная: отмежевать от футуристов одного из зачинателей русского футуризма. Между тем Винокур своей ясной логикой, легко разрешает эту задачу. Он доказывает, что новотворки Маяковского всегда мотивированы, всегда оправданы определенным художественным заданием, что «Маяковскому всегда оставалась чуждой... теория самоценного или «самовитого» слова», которая привела Бурлюка, Крученых, Хлебникова к пресловутой заумной речи: — «Художник... как Адам, дает всему свои имена... Поэтому я называю лилю: еуы» (Крученых, «Декларация слова как такового», 1913).

С неумолимой логичностью Винокур утверждает: «Заумный язык не есть борьба формы со смыслом, а наоборот, борьба смысла с формой,... варварский бунт содержания против той материальной структуры, в которой оно.... должно воплощаться». Система заумной речи, по мнению Винокура, приводит «к законченной философии варварства», а «пропаганда «самовитого» слова.... есть проявление презрения к слову». «Бобэоби», «смехистелинно», «железевут», — говорит Винокур, — ...все это — не создание новых слов, а разрушение слова, как средства выражения мысли, т.-е. чистый нигилизм, в который неизбежно впадал Хлебников, несмотря на подлинность и чистоту своего поэтического дара».

Из всего этого «обвинительного акта» должен быть по всей справедливости исключен Маяковский, который, по слову Винокура, «был человеком достаточно трезвым, земным и социальным, чтобы не стать

жертвой заумного соблазна. Новаторство Маяковского есть новаторство не беспредметное... Он ищет новых языковых норм не потому, что его собственный язык представляется ему самодовлеющей ценностью, а потому, что обычный язык не удовлетворяет его как стилистическое средство. Необычные слова и конструкции Маяковского стилистически осмысленны.

Утвердив, т. обр., смысловую вескость поэзии Маяковского, Винокур переходит к анализу новаторских приемов поэта, в число которых входят такие, как превращения наречий в склоняемые существительные: — «Мы мир обложим сплошным долом»... (от слова долой); «...Закисшие в блохастом грязеньке...»; широкое использование притяжательных прилагательных: «губы вещицы», «от налогов наркомфинных...»; новаторское оперирование степенями сравнения: «романнее...», «чем дальше, тем ночнее»; применение уничижительных и увеличительных суффиксов: — «Шумики, шумы и шумищи...» — «Адище города окна разбили / На крохотные сосущие светом адки...» — «...И миллион миллионов маленьких грязных любят...»; прямая игра слов, напр., «однаобразный пейзаж»; отыменные глаголы-новотворки, как «иззахолустничаться», «взмонументят»... и другие приемы, все множество которых невозможно охватить в беглой заметке.

В заключительной главе своей книги Винокур «стягивает» данные своих наблюдений в общую линию характеристики языка Маяковского, называя его поэзию «стихией громкого устного слова», указывая на свойственную ей форму беседы автора с читателем, подчеркивая ее двупланность (публичная речь — и речь фамильярная), ее риторичность, ее разговорную интонацию («все это написано для голоса, а не для глаз»), ее городскую повседневность («bas langage»). Новаторство языка Маяковского, — говорит Винокур, — имеет целью преодоление автоматического характера языковых связей, обновление выветрившейся формы слова, приближение к языку городской массы, языку улицы, и претворение фамильярно-бытовой речи в собственно поэтическую ценность.

«Улица корчится безъязыкая —
Ей нечем кричать и разговаривать»,

сказал поэт еще в начале своего пути, и в этих словах надо искать цель и смысл его языкового новаторства.

Ольга Анстей

МИХАИЛ КАНТОР. *Стихи*. Париж. 1968.

Больше полстолетия тому назад Блок в предисловии к «Земле в снегу» писал о своих стихах, что они «мало словесны». Определение это вспомнилось мне при чтении недавно вышедшей, маленькой книжки стихов Михаила Кантора. Трудно представить себе стихи менее «словесные», чем те, которые в ней собраны. Трудно представить себе стихи менее согласованные с распространенными в наше время взглядами на слово, как на сущность, основу, начало и конец всякого поэтического творчества: стихи — менее «хлебниковские», если назвать имя, которое сразу сделает ясным, о чем именно речь.

Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое. Надо быть совсем слепым и наивным приверженцем господствующих теперь теорий, чтобы придать единственно-решающее значение приемам и внешним чертам творчества. Стихи хороши тогда, когда в них отчетливо отражен человек, и хотя, конечно, каждому из нас случается более или менее рассеянно восхититься прелестью звуков или причудливостью образов, последний, окончательный суд над стихами сводится к вопросу: обогащены ли мы встречей с человеком, с душой, с совестью, с умом, раньше нам неведомыми? Можно бы сказать и иначе, оправдывая обе творческие манеры, и хлебниковскую, и антихлебниковскую: к вопросу, соответствует ли понятие «что» понятию «как», крепка или призрачна их связь? Суд над стихами и при таком подходе останется по существу прежним. Не будь это так, пришлось бы признать, что все люди одинаковы и что поэзия бывает хороша или дурна лишь в зависимости от выбранного метода и от безлично-виртуозного его использования.

Стихи Михаила Кантора — нечто вроде исповеди человека, который сделал над собой усилие, чтобы кое-что, — но только кое-что, — о себе рассказать. Усилие заметно в самом стиле, в складе стихов, в боязни произнести лишнее, чуть-чуть слишком громкое слово. «Нет, нет, я такой же, как и все другие», как бы говорит автор, противореча себе при этом в каждой строке и удивляя читателя приоткрывающимся ему странным, печальным внутренним миром. Кто его учитель? Не Блок, конечно, упомянутый мною только в связи с «малословностью» стихов, не Анненский, гораздо более прихотливый, двоящийся, гибкий, а скорей всего Боратынский, этот вечный укор всякой поэтической «убогой роскоши», вечный пример пренебрежения к слишком легким творческим надеждам и мечтаниям. «Как нашел я друга в поколении, читателя в потомстве я найду», склонен был бы, вероятно, повторить Кантор заключительные строчки стихотворения Боратынского, — кстати, одного из чистейших, чудеснейших, когда-либо на русском языке написанных. Найдет ли их, этих читателей и он? Перелистывая книгу Кантора, думаю, что сомнений быть не может: найдет, не очень многочисленных, но зато очень верных.

Он приглашает их разделить не радость, а горечь, не иллюзии, а темную достоверность бытия. Иллюзии, разумеется, возможны, он это знает, он не прочь поощрить их, но поощрить с таким насмешливым притворством и даже скрытым высокомерием, как будто только и хочет бесследно их рассеять.

Как? Разве ты не знал, что все это обман:
Над призрачной землей прозрачный призрак неба,
И гордый человек, и бедная амеба, —
Все только наваждение и дурман?

Как? Разве ты не знал... Ты плачешь, друг мой, что ты?
Я только пошутил. Припомни посмотри:
Благоуханье роз... вечерний пыл зари...
Классических поэтов бессмертные красоты...

Поэт отнюдь не «пошутил», вопреки своему утверждению, и обращена его книга к тем, кто это понимает. Что же, можно бы спросить, значит стихи эти в конце концов — одна из вариаций на модную тему абсурдности существования? Нет, ни в коем случае. В стихах Кантора есть, наоборот, что-то стоическое. Их следует, их стоит прочесть не для того, чтобы в сотый раз почувствовать бессмысленное стремление «вернуть Богу билет на право входа в мир», а чтобы укрепиться в сознании, что мир мог бы, пожалуй, быть иным, менее жестким, менее безучастным — и что в сущности зависит это только от нас самих.

Георгий Адамович

ГЛЕБ ГЛИНКА. *В тени*. Избранная лирика. Нью-Йорк, 1968.

Нелегко передать содержание лирических стихов. К тому же, темы лирики повторяются: любовь, смерть, а в двадцатом веке поэты все чаще говорят и о самой поэзии, так что пришлось даже выдумать специальный термин — метапоэзия (стихи о стихах). В сборнике Глеба Глинки слышатся все эти мотивы, с добавлением неизбежного для всех эмигрантских поэтов — мотива изгнания.

В России Глинка издал несколько книг, а Чеховское изд-во выпустило его сборник, посвященный литературной группе «Перевал». Сравнительно недавно его стихотворения начали регулярно появляться в «Новом Журнале» и многих поразили новизной, мастерством. Сборник «В тени» включает стихи 1923-28 г.г. и 1953-68 г.г. Следовательно, целую четверть века Глинка стихов не писал или же не желал их опубликовывать. «Молодые стихи» его хорошо сделаны (он учился

версификации у Брюсова). Запоминается строчка: «А мысль русаком из оврага...» Но все поздние стихи лучше, значительнее, оригинальнее, если их сравнивать с ранними.

По вкусам своим Глинка скорее консервативен: может быть, называется брюсовская выучка. Он отдает предпочтение точным рифмам и метрам, испытанным временем и опытом. Но никак нельзя сказать, что пишет он «по старинке». В его поэзии есть четкость: рисунок резкий, а тон суховатый, иногда жесткий, даже «жестокий». Вот замечательные стихи о поэте-«самоеде», который занимается беспощадным самоанализом. Он «кусал себя навзрыд» и

Как шоколада плитку
Сломал себя и съел...

Здесь странное, горестное «ехидство», жертвой которого чаще всего является лирический герой Глинки. Саможалости у него нет или почти нет. Наблюдения его тоже «злые» и — меткие:

Остроноса, утла, лыса
На тропинку вышла крыса...

Глинка знает одну из сокровенных тайн поэзии: всякая дрянь, мелочь, какие-нибудь лопухи, лебеда (как у Ахматовой), всякое уродство, всякая нечисть, как в данном случае крыса, живут в стихах другой, преображенной жизнью, хотя здесь и не порывается связь с действительностью: эта крыса похожа, реалистична, но подана она «музыкально». У Глинки немало интересных замечаний о «процессе творчества»: «Как перчатку наизнанку / Выворачивай себя.... Знай: слова играют в прятки». Хороши некоторые его архаизмы: например, эти барочные, шипящие стихи, написанные на языке нашего недооцененного Осмнадцатого столетия:

Тщеславие вотще;
Без крыл вотще паренье.

Еще удачнее простонародные мотивы или мотивчики:

Небоскреб там, или хата,
Темза, Волга, иль Гудзон?
Вспоминаю, как когда-то,
Где-то... Может — просто сон.

Все же говорю, икая:
— Слушай брат, пора домой...
«У портнихи мастерская,
«У портного о-ё-ёй!»

Чиннов, Моршен тоже умеют выщевивать поэтические соки из звучных пословиц, поговорок, разговорных восклицаний. Но Глинка сам по себе, и если его уже с кем-то сравнивать, то он скорее свойственник блестящего и тоже «злого» Ходасевича или ядовитого фантазера, сюрреалиста Одарченко.

У Ходасевича:

Разве мама любила такого,
Желтосерого, полуседого...

У Глинки:

Я — это тень от былого,
Дикого, нежного, злого...

А пароходик (в стихотворении «Беспечность») не приплыл ли к Глинке с острова Одарченко. Однако, никакого подражания нет. Повторяю — Глинка сам по себе — с ему одному присущими интонациями, с причудливой игрой слов, понятий:

Соба одна, соба без «ка»,
Какая же она?

Стихи об этой «собе» тоже ехидные, но и с лирическим вздохом. Кое-кто скажет: Глинка все видит в черном свете, какой он пессимист, возрождает в Нью Йорке 60-х г.г. парижскую ноту 30-х г.г. Это неверно: я уже сказал, четкость его, подобранность, а также и особенная лирическая злость скорее сродни Ходасевичу. К тому же, не все у него черное, хотя и нет ничего розового. Книга посвящена жене и сыну, и это посвящение раскрывается в прекрасных стихах:

Не знает любовь повторений
И множественного числа.

Достается в его стихах нашей эпохе. Обвинения Глинки оправданы, но мне кажется, что все эти упреки-попреки XX-му веку, атомной науке, хотя и «заслуженные», но очень уж знакомые, однообразные, все те же самые во всей современной литературе Запада, в газетных фельетонах или же в великолепных филиппиках Ивана Елагина. Заметим: «Испепеленные» Глинки по ритму, да и по языку, перекликаются с некоторыми елагинскими стихами.

В целом сборник «В тени», несомненно, вклад в современную русскую поэзию. Книга хорошо оформлена, обложка, рисунки, виньетки и портрет автора — работы талантливого графика М. Булеева.

Ю. Иваск

Ю. ТЕРАПИАНО. *«Маздеизм»*. Париж. 1968.

У каждой книги своя судьба, говорили римляне. И это верно и по сегодня. Книги, как и люди, появляются на свет под счастливой или несчастливой звездой. Гадать о их судьбе трудно. Все же по некоторым признакам можно судить о их возможном будущем. Бывают книги опаздывающие или, наоборот, опережающие свое время — и тем и другим не везет. Но бывают книги, появляющиеся «в нужный день и час». *«Маздеизм»* Ю. Терапиано принадлежит, по-моему, именно к таким книгам.

Сейчас, как никогда, ощущается потребность противопоставления духовного материальному. Наша эпоха больна скептицизмом, страхом, отчаянием. Маздеизм несет «благую весть» — в нем подняты вопросы о «самом главном» — о «настоящем человеке», о роли его в мире, о цели жизни, о соотношении добра и зла, о смерти. «Я пришел из другого мира, не в земном мире началось мое бытие, прежде этого я был явлен в мире духовном; мое первоначальное состояние иное чем на земле. Я принадлежу Богу (Агура-Мазде), а не духу зла (Ариману). Я — человек». (*«Книга Советов Зароастра»*).

«Маздеизм» настаивает на необходимости стремиться не только к непрестанному самосовершенствованию, но и к преображению мира.

Подобно друидам на Западе, маздеисты в Персии и Индии веками хранили в тайне методы развития в человеке высших духовных способностей и древние ритуалы. И только в начале нашего столетия, в связи с наступлением эры Водолея, у них появилась возможность говорить обо всем открыто, так как, по их расчетам, уже начинается сближение религии и науки, братство всех религий и стремление создать единое, всечеловеческое общество. В короткой заметке я, к сожалению, не могу останавливаться на всех интересных сторонах этого учения. В книге Ю. Терапиано все интересно — привожу, как пример, предание маздеистов о приходе магов (священники маздеизма назывались мебеды-маги) в Вифлеем. Зароастр предрек пришествие Иисуса Христа и указал точно время и место Рождества. Поэтому-то маги и могли притти в Иудею поклониться Младенцу Христу.

«Записи мои, — говорит Ю. Терапиано, — не претендуют, конечно, ни на какую научную документацию. Это лишь разговор об отдельных вопросах, далеко не всех. Но если духовные вибрации маздеизма найдут отклик хотя бы у немногих читателей я буду считать, что записи мои достигли цели».

Отклик эта книга нашла. И даже гораздо больший, чем скромно предполагал автор.

Ирина Одоевцева

ЯКОВ БЕРГЕР. *Ксантиппа вечности*. Стихи. Тель Авив. 1968 (стр. 152).

Чего только нет в стихах Якова Бергера! Если составить именной указатель, то индекс был бы очень пестрый. При этом, сложные ходы ассоциаций у Бергера — самые причудливые и преимущественно звуковые: чтобы Аввакумом из вселенского вакуума... от Луки — лики?... Изольда — изо льда.... о, Таисия, таись Таисия... финикийская фениксптица...

Повидимому, Бергер стремится извлечь из речевого материала радий чистой поэзии, его пленяют сочетания лишь отдаленно связанные с общепринятыми надоевшими смыслами и значениями слов. Того же добивался Малларме, но он не сводил чистую поэзию к звукоподражанию, как многие русские футуристы или же к верленовской мелодичности (что прекрасно разъяснил В. В. Вейдле в книге «Умирание искусства»). Малларме, прежде всего, стремился «строить» стихотворения, лишенные «от начала до конца будничного, логического смысла». Иногда это ему удавалось: некоторые его стихи поистине чудесны, но чаще всего вместо музыки получалась у него мозаика.

Что удастся Бергеру? Его звуковые повторы часто утомляют, уж очень они капризные, необидительные:

и человек был сердцем робок
как робот...

Слышатся эти **робо-робо**, но роботы не робки (и не дерзки), они бездушны, и незачем им робеть в чистой поэзии! Дважды автор упоминает об Афонских горах. Афонские монастыри расположены на узком полуострове: всюду лесистые холмы, а гора только одна! Опять таки спрашиваем: нужно ли менять географию в поэтических фантазиях?

В современной поэзии, и уже сравнительно давно (лет сто — начиная, скажем, с Рембо!) **все позволено!** Но иногда убеждаешься, что в модернистической анархии больше однообразия и скуки, чем в обыкновенном будничном мире, хотя из этого и не следует, что нужно «писать по старинке», ибо реакционная стилизация отрицает творчество.

Между тем, лирика — все та же. Рембо, как и Парни, Ронсар, Вийон, питались теми же родниками поэзии — это любовь, смерть, Бог, одиночество, и истинный поэт все тот же тургеневский «человек со вздохом». Это знает и экспериментирующий Яков Бергер. Лет пять тому назад в «Нов. Журнале» поразили и запомнились его легкие вздыхающие стихи: «Стюардессы летят, стюардессы, / Чуть подрагивающие на крыле...» Кажется, в первой его книге (*Весна в Ч...*) таких удач было больше. Но все же их можно найти и во втором сборнике.

нареки ему имя Лоамми
охраня от кривых дорог
приголубь за горами-долами
от томлений его и тревог...

Пусть не все здесь ясно для людей здравомыслящих, но это поэзия, говорящая уму и сердцу. Есть в книге «рассказы», которых «чистые» поэты обычно избегают:

— Мы работали, Даша, до поры до времени
знаешь, Даша, с детьми дипи
в полуразрушенном уже войною Бремене
знаешь, капля камень дробит...

Вместе с тем, это, конечно, не только повествование, а и поэзия (здесь «передается настроение», здесь слышится вздох, здесь говорит любовь).

Эпиграф к одному из циклов стихов: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов...» Истинно так! А все же автора иногда прельщают нечистые духи, соблазняющие благозвучными переливаниями из пустого в порожнее. Все же, поискам, опытам Бергера нельзя не сочувствовать: он пробует свои силы и нельзя сомневаться в том, что ему отпущены немалые дары, и поэтические, и духовные. Современные русские поэты (по обе стороны железного занавеса) скорее консервативны и, хорошо, что Бергер, как и некоторые ленинградцы, иногда рискует в своих экспериментах. Якову Бергеру есть что сказать, но мне кажется, он только смутно угадывает что ему на самом деле нужно и плутает по дебрям Библии или Упанишад, но критикам следует судить по лучшему:

ты только теперь ощущаешь ошущью — эту тайную
музыку сострадания,
и как ты осунулся за эти месяцы, и постарел.

Здесь говорит истинный дух и здесь все свое: и мелодическая тоника, и длинные (дактилические рифмы), и разговорный перебой в синтаксической конструкции (в третьем стихе). Вообще — Бергер оригинален, хотя некоторые его «короткие» метры с опущенными глаголами напоминают Цветаеву: ни холопства ни панства / ни цыган ни цынки / ни кнута и ни пьянства / ни кромешной ни зги. Читатель заметит, что кое-где автор опускает запятые, которые и прежде многие поэты не долюбливали (а Стефан Георге признавал только точку). Чтению стихов это не мешает.

Будем ждать третьей книги Якова Бергера, — в которой наверное будет меньше страниц и больше испытанных истинным духом стихов.

Ю. Иваск

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ. *Моя литературная судьба*. Автобиография. Славянская серия. Стр. 107. Johnson Reprint Corporation, New York. 1965.

Эта автобиографическая заметка К. Н. Леонтьева была впервые опубликована в «Литературном Наследстве», в 1935 г. Очерк посвящен С. П. Хитровой, с которой Леонтьев часто встречался в Константинополе, в начале 70-х г.г. Позднее ей посвящал стихи влюбленный Вл. Соловьев. Леонтьев был с ней в приятельских отношениях. Он дает очень смелую, забавную, но и парадоксально-лестную характеристику этой замечательной женщины: в ней «изумительно соединены лейб-гусарский юнкер и английская лэди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное *косноязычие* и ясный, твердый ум...» В этой автобиографии мелькают Катков, князь Черкасский, И. Аксаков, старый Погодин, с которыми Леонтьев встречался в Москве в 1874-75 г.г. Включены литературные отзывы, например об Анне Карениной. Всюду слышится голос рассказчика, который не заботится о связности изложения и, неожиданно, от 70-х г.г. перескакивает к воспоминаниям о Крымской войне, о детстве в калужском имении. Вообще Леонтьеву всегда удавались эти переходы от беседы к болтовне, эта особенная *смесь* глубоких продуманных мыслей и случайных ярких впечатлений. Это его стиль, отмеченный живостью восприятия, быстротой соображения и увлекательным остроумием. Позднее леонтьевскую стилистику развил Розанов в «Опавших листьях», а до него мастером такой беседы был кн. П. А. Вяземский, автор «Записной книжки», которую он называл своей домашней Россиадой или же «плевальником»... Книга читается с увлечением и лишний раз доказывает, что Леонтьев был замечательный писатель. Очень интересны примечания С. Н. Дурылина к «Литературной Судьбе», с выдержками из ненапечатанных произведений Леонтьева. Вступительная статья П. Мещерякова, разумеется, написана согласно партийной линии: для него Леонтьев реакционер и даже фашист.

Ю. Иваск

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. *Южный дом*. Изд. автора. Мюнхен. 1968 (48 стр.).

Валерий Перелешин — один из самых видных русских зарубежных поэтов, живших в Харбине. Его стихи были помещены еще в антологии Г. Адамовича и М. Кантора «Якорь». Изредка доходили до нас журналы, сборники «манджурцев», но, к сожалению, настоящего контакта с ними не было и их мало знали. «Южный дом» — пятая книга стихов Перелешина, первая, «В пути», была издана в 1937 г. В. Перелешин давно уже переводит с китайского и составил еще неопубликованную им антологию классической поэзии Китая. Очень удачен его перевод с английского поэмы С. Т. Кольриджа «Сказание старого моряка» (1941 г.).

Родной Перелешину Китай одушевляет многие его стихи: «Я люблю тебя, трепетный лотос Востока, Юйсе!» Или: «Красное имя под именем — странное имя: / Сколько в Китае затейных и умных имен!» К сожалению, мы мало знаем об изумительном искусстве этого великого народа.

В своей поэзии Перелешин отталкивается от Гумилева. Некоторые его стихи могли бы прозвучать в ранних гумилевских сборниках: Испания, корсары, корабли... Идеал Перелешина: чеканные стихи с добротными рифмами, это тот акмеизм, который заслужил бы высшее одобрение мэтра в Цехе Поэтов.

Перелешин, несомненно, мастер, о чем свидетельствует такое замечательное стихотворение, как «Издаleка». Плавнo катятся эти торжественные анапесты, то убыстряемые опущением метрических ударений, то замедляемые опущением одного слога:

Босоное солнце, зачем-то вскочившее рано,
Пробежит на неряшливый берег и на острова,
И откинутся прочь длинноносые девы тумана,
Над рекою брезгливо подняв свои рукава.

Кое-кто скажет, многие стихи Перелешина могли бы быть датированы 1913 г. Но некоторая «старинность» его поэзии не «преступление». К тому же, если приглядеться, прислушаться, то читатель заметит, что у Перелешина всегда есть своя интонация, свои слова. Может быть, выражение «окно полно луной» — китайский образ, хотя и вполне обрусевший.... А вот и другие удачи: жизнь, как у всех — небольшая, незлая, негромкая... Много выражено в этой строфе:

Но жадного равно манили,
И рай, и радости земли,
И отвергал я слово «или»
Во имя радостного «и»!

Лучшее стихотворение в сборнике, по-моему, «Сочельник»: оно запоминается и ему могло бы быть место в избранной антологии русской поэзии. Выписываю эту строфу:

Я подойду и скажу тебе ласково: — Мама,
Хочешь, со мной поделись предрассветною
скукою.
Или, позволь мне, я «Тристиями» Мандельштама
Глухо скандируя, сердце твое убаюкаю?

Это уже не 1913 г. и вообще датировка здесь несущественна: все чудесно. Кое-где автора еще соблазняет красивая риторика (Последний бард свободы), но все же стихи — строго отобраны. Можно только пожалеть, что Перелешин так долго не печатался, пребывая где-то «в нетях». Надеемся, что он не раз еще порадует нас прекрасными стихами.

Ю. Иваск

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- КНИГА О РУССКОМ ЕВРЕЙСТВЕ. 1917-67. Под ред. Я. Фрумкина, Г. Аронсона и А. Гольденвейзера. Изд. Союза русских евреев. Нью Йорк. 1968 (467 стр.).
- НАТАЛИЯ ЛОГУНОВА. *Оленька Белл*. Роман. Изд-во «Сеятель». Буэнос-Айрес. 1968 (441 стр.).
- КОНСТАНТИН КРОЛЬ. *Звон вечерний*. Стихи. Сан Франциско. 1967 (108 стр.).
- КОНСТАНТИН КРОЛЬ. *Преломленные отражения*. Стихи. Сан Франциско. 1958 (126 стр.).
- В. ПЕТРОВ. *Российская духовная миссия в Китае*. Изд. Камкина. Вашингтон. 1968 (96 стр.).
- ВОЛЬНАЯ МЫСЛЬ. Февраль, 1968. Сан Франциско (192 стр.).
- Б. ДВИНОВ. *От легальности к подполью (1921-1922)*. The Hoover Institution. Stanford, California. 1968 (200 p.).
- ЯКОВ БЕРГЕР. *Ксантиппа вечности*. Стихи. Тель Авив. 1968 (151 стр.).
- СМЕРТЬ ЦЕЗАРЯ. Неизвестный ранний русский перевод трагедии Вольтера. Фотограф. изд. с рукописи. Вступ. статья Ганса Юргенса цум Винкель. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1968.
- ЭЛЛА БОБРОВА. *Ирина Истомина*. Повесть в стихах. «Современник». Торонто. 1967 (86 стр.).
- ЕВГ. ЗАМЯТИН. *Лица*. Междун. Литературн. Содружество. 1967 (322 стр.).

- П. Н. ПАГАНУЦЦИ. *Лермонтов* (автобиограф. черты в творчестве поэта). Монреаль. 1967 (256 стр.).
- НАТ. ЕЛЬНИЦКАЯ и ИВ. ЕЛЬНИЦКИЙ. 12 новелл. Повесть. Очерк. Стихи. Изд. «ЭОС». Лос-Анжелос. 1968 (200 стр.).
- ЮРИЙ ГЕРЦОГ. *Начало эпопеи*. Поэма-хроника. Изд. Вольной Мысли. Вашингтон. 1968 (94 стр.).
- ВЛ. ДУКЕЛЬСКИЙ. *Поездка куда-то*. Стихи. Мюнхен. 1968 (58 стр.).
- ALMUT SCHULZE. Tjutčevs Kurzlyrik. Forum Slavicum N. 25. W. Fink Verlag Muenchen. 1968 (S. 98).
- ВЛ. КОРВИН-ПИОТРОВСКИЙ. *Поздний гость*. Т. I. Стихи. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1968 (234 стр.).
- СТРАННИК. *Упразднение месяца*. Лирич. поэма. Изд. «Нового Журнала». Нью Йорк. 1968.
- IU. M. LOTMAN. *Lektsii po struktural'noi poetike*. Vvedenie, Teoriia Stikha. Introduction by Th. G. Winner. Brown University Literary Reprint. Providence. 1968 (p. 191).
- ANNA АНМАТОВА. *Marie Under. Requiem*. Перевод на эстонский. Вступ. статья А. Раннита и эпилог Ф. Мориака. Международное Литературное Содружество. 1967 (77 стр.).
- ARTURO CAPASSO. *Quadreni per Flavienka*. Guanda Editore. Парма. 1964.
- ALBERT PARRY. *America Learns Russian*. Syracuse University Press. Syracuse. N.Y. 1967 (205 p.).
- SOVIETICA. 1917-1967 *Scrittori Sovietici*. Edizioni Scientifiche Italiane. Napoli. Ottobre, 1967.
- KONSTANTIN MOCHULSKY. *Dostoevsky. His Life and Work*. Translated by Michael A. Minihan. Princeton University Press. Princeton, 1967 (687 p.).
- ROBERT A. MAGUIRE. *Red Virgin Soil*. Soviet Literature in the 1920's. Princeton University Press. Princeton, N.J., 1968 (482 p.).
- ROBERT K. MASSIE. *Nicholas and Alexandra*. Atheneum. New York, 1967 (584 p.).
- SVEN LINNER. *Dostoevskij on Realism*. Almqvist & Wiksell. Stockholm. 1967 (210 p.).
- MAXIM GORKY. *Untimely Thoughts*. Essays on Revolution, Culture and the Bolsheviks, 1917-1918. Translated by H. Ermolaev. Paul S. Eriksson, Inc. New York. 1968 (302 pages).
- HELEN MICHAILOFF. *New Russian Self Taught*. Funk & Wagnalls. New York. 1967 (372 p.).
- VL. NABOKOV. *King, Queen, Knave*. A Novel. Translated by D. Nabokov. McGraw Hill Book Company. New York. 1968.
- X. GASIOROWSKA. *Women in Soviet Fiction*. 1917-1964. The University of Wisconsin Press. Madison. 1968.
- ROBERT F. BYRNES. *Pobedonostsev. His Life and Thought*. Indiana University Press. Bloomington. 1968 (496 p.).

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД ИЗДАНИЯ

...

В 1968 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

...

Подписная цена 10 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 3 долл.

Во Франции — 10 франков

...

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway

New York, N. Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня.
